
Лауреат Премии
генерал-губернатора
и финалист
Букеровской премии
Робертсон Дэвис
Мятежные
ангелы
PREMIUM

Мятежные ангелы
Робертсон Дэвис

Аннотация
Робертсон Дэвис. Мятежные ангелы
Второй рай I
1
2
3
Новый Обри I
1
2
3
4
Второй рай II
1
2
3
Новый Обри II
1
2
3
Второй рай III
1
2

Новый Обри III

1
2
3
4

Второй рай IV

1
2
3
4
5
6

Новый Обри IV

1
2
3
4

Второй рай V

1
2
3
4

Новый Обри V

1
2
3

4
5
6
Второй рай VI
1
2
3
4
5
Новый Обри VI
1
2
3

Аннотация

Робертсон Дэвис — крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной литературы. Он попадал в шорт-лист Букера, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Его ставшая началом «канадского прорыва» в мировой литературе «Депфордская трилогия» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») уже хорошо известна российскому читателю, а теперь настал черед и «Корнишской трилогии». Открывают ее «Мятежные ангелы».

Наследство богатого мецената и коллекционера Фрэнсиса Корниша притягивает самых разномастных, если не сказать непримиримых персонажей: Симона Даркура — добросердечного священника и ученого; Клемента Холлиера — профессора, знатока темных аспектов средневековой психологии; Парлабейна — монаха-расстригу и скандалиста; Артура Корниша — молодого бизнесмена,

который назначен исполнителем завещания; а также Марию Магдалину Феотоки — красавицу-аспирантку, имеющую над ними странную власть. Уж не приворожила ли она их своими чарами? Недаром говорят, что все цыганки — колдуньи…

Робертсон Дэвис
Мятежные ангелы

Второй рай I

1

— Парлабейн вернулся.

— Что?

— Вы не слыхали? Парлабейн вернулся.

— О боже!

Я спешила по длинному коридору, продираясь сквозь болтовню студентов и сплетни преподавателей, и вновь услышала то же в разговоре двух сотрудников колледжа.

— Вы, наверно, не знаете про Парлабейна?

— Нет. Что я должен знать?

— Он вернулся.

— Сюда?

— Ну да. В колледж.

— Не насовсем, я надеюсь?

— Кто знает? С Парлабейном никогда не скажешь.

То, что надо. Мне будет что сообщить Холлиеру, когда мы встретимся после почти четырехмесячной разлуки. В нашу последнюю встречу он стал моим любовником, — во всяком случае, мне лестно было так думать. Несомненно, он стал предметом моей мучительной любви. Все летние каникулы я не находила себе места, маялась и

надеялась на открытку из Европы, из неведомых краев, где скитался Холлиер. Но он не из тех, кто посылает открытки. И не из тех, кто много говорит о своих чувствах. Но и на него порой находит. В тот день, в начале мая, когда он рассказал мне о своем последнем открытии, а я — охваченная жаждой служить ему, завоевать его благодарность и, может быть, даже любовь — совершила непростительное и выдала ему тайну *бомари,* он, кажется, взмыл на крыльях чувства и именно тогда заключил меня в объятия, уложил на этот ужасный диван у себя в кабинете и овладел мною под скрип пружин, в путанице одежды, в страхе, что нас кто-нибудь застанет…

На этом мы расстались: он — смущенный, я — исполненная изумления и преданности, а сейчас мне предстояло снова его увидеть. Мне нужна была вступительная реплика.

Так — два этажа вверх по винтовой лестнице, а потолки в колледже Святого Иоанна такие высокие, что это больше похоже на три этажа. Почему я спешила? Из желания поскорей его увидеть? Конечно, я хотела этого, но и страшилась. Как приветствовать своего профессора, своего научного руководителя, которого ты любишь, который имел тебя на старом диване, на ответную

любовь которого ты надеешься? Я начала думать о себе во втором лице — верный признак, что мой английский костенеет, становится чересчур ходульным. Я встала, запыхавшись, на лестничной площадке, где единственная дверь вела в его комнаты, а на двери висело старое рукописное объявление: «Профессор Холлиер у себя. Стучите и входите». Я повиновалась и узрела его за столом, подобного Данте (будь у Данте получше с передними зубами) или, быть может, Савонароле (будь Савонарола красивее). Запинаясь — у меня слегка кружилась голова, — я выпалила свою новость:

— Парлабейн вернулся!

На такой эффект я даже не рассчитывала. Он выпрямился в кресле, и хоть челюсть у него не отвисла, но мышцы ее заметно ослабли, а на лице появилась та сосредоточенность, которую я в нем любила даже больше улыбки (улыбка ему не очень шла).

— Вы сказали, что Парлабейн вернулся?

— Да, об этом говорят в коридорах.

— Боже, какой ужас!

— Почему ужас? Кто такой Парлабейн?

— Боюсь, вы и сами скоро узнаете. Хорошо отдохнули за лето? Как успехи в работе?

Ни намека на приключение на диване, который стоял тут же и казался мне самой важной вещью в комнате. Лишь сухие профессорские вопросы о работе. Конечно, ему плевать, как я отдохнула. Его интересует только моя работа — крохотная, ничтожная составная частица его собственной. Он даже не предложил мне сесть, а я не так воспитана, чтобы без приглашения садиться в присутствии преподавателя. Так что я начала рассказывать про свою работу; через несколько минут он заметил, что я стою, и махнул рукой в сторону стула. Мой отчет его удовлетворил.

— Я устроил так, чтобы в этом году вы работали тут. Конечно, у вас где-то есть свой закуток, но тут вы сможете разложить книги, бумаги, оставлять вещи на ночь. Я очистил для вас вот этот стол. Мне нужно, чтобы вы были рядом.

Я затрепетала. Трепещут ли еще девушки в наше время, когда их любовники выражают желание, чтобы они были рядом? Я — да. Но тут…

— Знаете зачем?

Я покраснела. Я хотела бы не краснеть, но в двадцать три года я все еще краснею. Я не смогла выговорить ни слова.

— Не знаете, конечно. Откуда вам. Но я скажу, и вы будете прыгать от счастья. Сегодня утром

умер Корниш.

О, отчаянье неразделенных чувств! Диван и то, что он означает, совсем ни при чем.

— Я, кажется, не знаю, кто это.

— Фрэнсис Корниш, несомненно, самый крупный… был самым крупным покровителем, ценителем и знатоком искусства, когда-либо жившим в Канаде. Он был невероятно богат и не жалел денег на картины. Они все отойдут Национальной галерее; я знаю, потому что я исполнитель его завещания. Он также был весьма знающим коллекционером книг, и они отойдут университетской библиотеке. Но он был также и не очень знающим коллекционером рукописей; он сам не ведал своих богатств, его так завораживали картины, что времени на прочее у него уже не оставалось. Рукописи тоже отойдут университетской библиотеке. И одна из них ляжет в фундамент вашей научной карьеры, что и мне, надеюсь, тоже будет полезно. Как только мы заполучим эту рукопись, вы приступите к серьезной работе — работе, которая должна будет поднять вас на несколько ступеней академической лестницы. Эта рукопись ляжет в основу вашей диссертации. И это будет не какой-нибудь плесневелый, засаленный обрывок, с какими

приходится иметь дело большинству студентов. Она может стать бомбой, небольшой сенсацией в исследованиях эпохи Возрождения.

Я не знала, что сказать. Мне хотелось воскликнуть: неужели я опять всего лишь ваша студентка, после того что произошло на этом диване? Как вы можете быть таким бесчувственным, профессором до мозга костей? Но я знала, что он ожидает услышать, и произнесла нужные слова:

— Замечательно! Просто потрясающе! А что это за рукопись?

— Я еще не знаю — знаю только, что она по вашей части. Вам понадобятся все ваши языки — французский, латынь, греческий и, может быть, придется еще подтянуть древнееврейский.

— Но что же это? То есть, если вы не знаете, что это за рукопись, почему она вас так интересует?

— Я могу только сказать, что она совершенно особенная и может произвести эффект… разорвавшейся бомбы. Но мне надо до обеда переделать много дел, так что поговорим потом. А вы за это утро перенесите сюда свои вещи и повесьте на дверь записку, что вы тут работаете. Рад был вас снова увидеть.

С этими словами он зашаркал старыми шле-

панцами по ступенькам, ведущим в большую внутреннюю комнату: она служила ему личным кабинетом, и там же за ширмой стояла его раскладушка. Я это знала, потому что однажды, в его отсутствие, заглянула туда. Он выглядит как тысячелетний старик, подумала я, но все эти академические волшебники — оборотни: если работа пойдет хорошо, через два часа он выпорхнет из этой двери, выглядя на тридцать вместо своих законных сорока пяти. Но сейчас он изображал Дряхлого Ученого Старца.

«Рад был вас снова увидеть»! Ни поцелуя, ни улыбки, даже руку не пожал! Разочарование пропитывало меня, словно яд.

Но у меня впереди много времени, и я буду работать во внешней комнате у Холлиера, постоянно у него на глазах. Время творит чудеса.

Я уже достаточно заразилась вирусом научного любопытства, чтобы ощущать и другую надежду, отчасти скрасившую мое разочарование. Что же это за рукопись, о которой он так ничего и не сказал?

2

После обеда, когда я раскладывала на столе во внешней комнате свои бумаги и прочие вещи, в дверь тихо постучали и вошел человек, который не мог быть никем, кроме Парлабейна. Всех остальных в колледже Святого Иоанна, кто ходил в таком виде, я знала. Он был в сутане или одеянии вроде монашеского, слегка похожем на маскарадный костюм, что выдавало в нем англиканина, а не католика. Но это не был ни один из преподавателей богословия нашего колледжа.

— Я брат Джон, или доктор Парлабейн, если вам так удобнее; профессор Холлиер у себя?

— Я не знаю, когда он вернется, но точно не раньше чем через час. Передать ему, что вы заходили?

— Дорогая, из ваших слов следует, что вы ожидаете моего немедленного ухода. Но я не тороплюсь. Давайте поболтаем. Кто вы?

— Я аспирант профессора Холлиера.

— И работаете в этой комнате?

— Да, с сегодняшнего дня.

— Значит, вы не простая аспирантка, раз вас допустили работать в такой близости к великому

человеку. Ибо он — поистине великий человек. Да, мой старый однокашник Клемент Холлиер стал поистине великим человеком средь тех, кто понимает, что он делает. Я полагаю, вы принадлежите к их числу?

— Я его аспирант, как я уже сказала.

— Но вас, несомненно, как-нибудь зовут, дорогая.

— Мисс Феотоки.

— О, какое имя! Бриллиант среди имен! Цветок во рту! Мисс Феотоки. Но, конечно, это еще не всё?

— Если уж вы так настаиваете, меня зовут Мария Магдалина Феотоки.

— Все лучше и лучше! Но какой контраст! Феотоки[1] — с отчетливым ударением на первое «о» — в сочетании с именем грешницы, из коей Господь наш изгнал семь бесов. Вы не канадка, я полагаю?

— Канадка.

— Ну конечно. Я забыл, что любая фамилия может оказаться канадской. Но вы, видимо, не так давно приехали в Канаду.

— Я тут родилась.

---

[1] Примечания и комментарии: 1

Феотоки — богородичный(ая), от *греч.* Theotokos — Богородица.

— Но ваши родители, надо полагать, нет. Откуда же они приехали?

— Из Англии.

— А до Англии?

— А почему вы спрашиваете?

— Потому что я неизлечимо любопытен. А вы возбуждаете любопытство, дорогая. Очень красивые девушки — а вы, несомненно, знаете, что вы очень красивы, — возбуждают любопытство, но в моем случае, могу вас уверить, это любопытство благодушное, отеческое. Вы не можете быть «прекрасной английской розой». Вы нечто более загадочное. Это имя — Феотоки — означает «родительница Бога», так ведь? Вы не англичанка — нет, конечно нет. А посему я задаю вопрос в духе доброго христианского любопытства: где жили ваши родители до Англии?

— В Венгрии.

— Ага, вот оно! И несомненно, ваши почтенные родители имели мудрость унести оттуда ноги из-за беспорядков. Я не прав?

— Правы.

— Откровенность за откровенность. А имена — чрезвычайно важная вещь. Так что я вам расскажу, откуда взялась моя фамилия: она гугенотская, и я полагаю, что когда-то, очень давно,

кто-то из моих предков умел красиво говорить и таким образом заслужил это прозвище.[2] Через несколько поколений жизни в Ирландии оно превратилось в фамилию Парлабейн, а теперь, после еще нескольких поколений в Канаде, эта фамилия стала не менее канадской, чем ваша, дорогая. Думаю, глупо было бы полагать, что после пятисот поколений, прожитых где-то в другом месте, мы за один миг — за одну жизнь — становимся полностью канадцами, твердолобыми, деловитыми североамериканцами. Мария Магдалина Феотоки, я полагаю, что мы с вами станем очень добрыми друзьями.

— Да… Извините, мне нужно работать. Профессор Холлиер еще не скоро вернется.

— По счастливому стечению обстоятельств я располагаю нужным количеством времени. Я подожду. С вашего позволения, я устроюсь на этом старом обшарпанном диване, которым вы не пользуетесь. Что за развалина! Клем никогда не замечал, что его окружает. В этой комнате он весь. И это, конечно, приводит меня в восторг. Я счастлив вновь припасть к лону старого доброго

---

[2] Примечания и комментарии: 2

…кто-то из моих предков умел красиво говорить и таким образом заслужил это прозвище. — Парлабейн выводит свою фамилию от французского «парле бьен» (parler bien) — «хорошо говорить».

«Душка».

— Должна вас предупредить: декан не любит, когда наш колледж называют «Душком».

— Он такой серьезный человек! Будьте уверены, я никогда не совершу этой ошибки в его присутствии. Но, Молли — я буду звать вас Молли, это уменьшительное от Марии, — как, во имя присносущного Бога, декан может ожидать, что колледж Святого Иоанна и Святого Духа не будут называть «Душком»? Мне нравится название «Душок». Оно ласкательное, а я очень ласковый.

Он уже растянулся на столь памятном мне диване, и стало ясно, что избавления не жди, так что я замолчала и погрузилась в работу.

Но до чего прав Парлабейн! Действительно, в этой комнате весь Холлиер. И весь «Душок» тоже. «Душку» примерно сто сорок лет; он был построен в эпоху, когда университетская готика пожаром пылала в груди архитекторов. Архитектор «Душка» знал свое дело, так что здание нельзя назвать безобразным, но в нем множество странных закоулков и ничем не оправданных архитектурных излишеств. Вот и эти комнаты, в которых жил Холлиер, были расположены неудобно, как-то поперек здания. Чтобы попасть сюда, нужно было подняться на два этажа по винтовой лестнице;

это были единственные комнаты на площадке, если не считать коридора, ведущего на хоры часовни, к органу. Внешняя комната, в которой я работала, была большая, с двумя арочными готическими окнами, а вторая, в которой спал Холлиер, располагалась на три ступеньки выше и как бы за углом. Чтобы вымыть руки или воспользоваться уборной, нужно было спуститься на целый высокий этаж, а если Холлиер хотел принять ванну, ему приходилось тащиться в другое крыло здания — в овеянных веками традициях Оксфорда и Кембриджа. Архитектура была настолько готической, насколько этого можно было достичь в девятнадцатом веке. Но Холлиер, начисто лишенный чувства соразмерности, обставил комнаты древним хламом из дома своей матери: все, что стояло на ножках, шаталось, мягкая мебель была неприятно засалена, из нее там и сям лезла набивка. На стенах висели фотографии — студенческие группы ранних лет Холлиера в «Душке». Кроме книг, лишь одна вещь в комнате смотрелась уместно: огромная алхимическая реторта, из тех, что напоминают скульптуру пеликана работы художника-абстракциониста. Реторта стояла на шкафу; ее много лет назад подарил Холлиеру кто-то, не ведавший о его

равнодушии к вещам. По нормальным меркам в комнатах Холлиера царил страшный хаос, но в них была определенная соразмерность, даже своего рода гармония. Стоило перестать ужасаться беспорядку, запущенности и, не побоюсь этого слова, грязи, и в комнатах проступала странная красота, как и в самом Холлиере.

Парлабейн пролежал на диване почти два часа и, кажется, все это время не сводил с меня глаз. Мне нужно было уйти по своим делам, но я не собиралась оставлять его тут одного, так что я придумала себе работу и стала размышлять о Парлабейне. Как это он выведал обо мне так много за такое короткое время? Как ему удалось называть меня «дорогая» и ни разу не получить отпора? Да еще «Молли»! Он ломился к цели, как чугунный шар, но этот шар был покрыт слоем чего-то мягкого, маслянистого, и это обезоруживало собеседника. Я начала понимать, почему люди так расстраивались, узнав о возвращении Парлабейна.

Наконец явился Холлиер.

— Клем! Милый, дорогой Клем! Как я счастлив тебя видеть!

— Джон… Я слышал, что ты вернулся.

— Да, а как весь «Душок» счастлив меня видеть!

Мне оказали поистине теплый прием — я все утро счищал с рясы изморозь. Но вот я здесь, в обществе старого друга и очаровательной Молли, которая тоже станет мне дорогим другом.

— Ты уже познакомился с мисс Феотоки?

— Дражайшая Молли! Мы с ней отлично поболтали по душам.

— Ну что ж, Джон, давай зайдем ко мне и поговорим. Мисс Ф., я уверен, что вам нужно идти по делам.

«Мисс Ф.» — так он зовет меня в неофициальных разговорах; нечто среднее между официальным обращением и обращением по имени, которым он никогда не пользуется.

Они поднялись по ступенькам во внутреннюю комнату, а я поспешила вниз по винтовой лестнице, нутром чувствуя, что дело очень плохо. У меня впереди вовсе не тот чудесный семестр, которого я ждала и жаждала.

3

Я люблю приходить на работу рано; это значит быть за столом в полдесятого, потому что академические работники вроде нас начинают работу поздно и работают допоздна. Я открыла дверь внешней комнаты Холлиера, и меня окатила волна запаха. Так пахнет в комнате с закрытыми окнами, где спят не очень чистые мужчины, — немного похоже на вонь из клетки льва в зоопарке. На диване растянулся крепко спящий Парлабейн. Он был почти полностью одет, только плотную монашескую рясу снял и укрылся ею вместо одеяла. Он со звериной чуткостью мгновенно услышал мое приближение, открыл глаза и зевнул.

— Доброе утро, дражайшая Молли.

— Вы что, всю ночь тут пробыли?

— Великий человек разрешил мне приклонить голову тут, пока в «Душке» не найдется для меня комната. Я забыл заранее предупредить казначея о своем прибытии. А теперь мне нужно помолиться и побриться — по-монашески, в холодной воде, без мыла, разве что в туалете оно найдется. Эти лишения смиряют меня.

Он натянул и зашнуровал пару больших черных ботинок, а потом достал из рюкзака, засунутого за диван, грязный мешок — видимо, с принадлежностями для мытья. Затем он вышел, бормоча что-то себе под нос — надо полагать, молитвы, — а я открыла окна и хорошенько проветрила комнату.

Я проработала, наверное, часа два, разложила бумаги и книги в нужном порядке на большом столе, воткнула в розетку шнур портативной пишущей машинки, когда Парлабейн вернулся, волоча большой, покрытый оспинами кожаный чемодан, который выглядел так, словно его купили на распродаже в бюро находок.

— Дорогая, не обращайте на меня внимания. Я буду вести себя тихо, как мышка. Только запихну свой сундук — не находите ли вы, что слово «сундук» больше всего подходит к такому старому чемодану? — вот сюда, в угол, чтобы не болтался у вас под ногами.

Он так и сделал, а затем снова устроился на диване и принялся читать, беззвучно шевеля губами, небольшую толстую черную книжечку. Надо полагать, снова молитвы.

— Простите, доктор Парлабейн, вы собираетесь пробыть тут все утро?

— Все утро, и весь день, и весь вечер. Казначей пока не нашел мне жилья, хоть и был так добр, что разрешил мне есть в общем зале. Если, конечно, это доброта — мои воспоминания о том, как кормят в «Душке», внушают некоторые сомнения.

— Но я работаю в этой комнате!

— Для меня будет огромной честью разделить ее с вами.

— Но это невозможно! Как я буду работать в вашем присутствии?

— Служение науке требует уединения. О, как я вас понимаю! Но любовь к ближнему, дражайшая Молли! Не забывайте о любви к ближнему! Куда же я пойду?

— Я поговорю с профессором Холлиером!

— Я бы на вашем месте сначала хорошенько подумал. Да, возможно, что он велит мне уйти. Но есть некоторая вероятность — и притом немалая, — что он велит уйти вам, в ваш закуток, или как там называются эти чуланчики, отведенные аспирантам. Мы с профессором Холлиером очень старые друзья. Еще с тех пор, когда вас и на свете не было, дорогая.

Я так разозлилась, что не нашла ответа. Поэтому я сбежала и околачивалась в библиотеке, пока

не прошло время обеда. Потом вернулась, решив попробовать еще раз. Парлабейн лежал на диване и читал бумаги из папки, взятой с моего стола.

— Добро пожаловать, милейшая Молли! Я знал, что вы вернетесь. Вы ведь не можете долго гневаться. С таким прекрасным именем — Мария, Матерь Божия, — вы, несомненно, само понимание и всепрощение. Но скажите мне, зачем вы так пристально изучаете этого монаха-расстригу, Франсуа Рабле? Видите, я заглянул в ваши бумаги. Рабле вовсе не тот человек, которого я ожидал бы встретить в вашей компании.

— Рабле — одна из величайших недопонятых фигур эпохи Реформации. Я специализируюсь в том числе и на нем.

Как я себя ненавидела за то, что объясняюсь! Но у Парлабейна был чудовищный дар — он умел заставить меня оправдываться.

— Ах, так называемая Реформация. Столько шуму из-за таких мелочей! Действительно ли Рабле был из этих гадких, сварливых реформаторов? Неужели он был заодно с этим несносным Лютером?

— Он был заодно с этим в высшей степени почтенным Эразмом.

— Понимаю. Но все же он был скабрезен. И глу-

боко презирал женщин, если я правильно помню, хотя прошли годы с тех пор, как я читал его неуклюжий, грубо сплетенный роман о великанах. Но нам с вами нельзя ссориться; мы должны жить в братской любви. Со времени нашего последнего разговора я повидал нашего дорогого Клема, и он разрешил мне остаться тут. Я бы на вашем месте не стал его из-за этого дергать. Его ум, кажется, занят великими вещами.

Значит, он победил! Мне нельзя было уходить. Он добрался до Холлиера первым. Он улыбнулся мне с видом довольного кота:

— Вы должны понять, дорогая, что мой случай — особый. Поистине, всю жизнь я был особым случаем. Но я нашел решение всех наших проблем. Взгляните на эту комнату! Несомненно, это комната средневекового ученого. Вон тот предмет на шкафу — алхимическая принадлежность, даже я это понимаю. Эта комната подобна келье алхимика в каком-нибудь тихом средневековом университете. И она полностью укомплектована! Вот сам великий ученый, Клемент Холлиер. А вот вы — необходимая принадлежность любого алхимика, его *soror mystica,* или подруга по научным занятиям, выражаясь современным языком. Но чего же тут не хватает? Разумеется,

нужен еще *famulus,* доверенный слуга ученого, его преданный ученик и безропотный прислужник. В этом крохотном уголке Средневековья я беру на себя роль фамулюса. Вы будете поражены, увидев, сколько от меня пользы. Видите, я уже переставил все книги в шкафу, упорядочив их по алфавиту.

Черт! Я ведь сама хотела это сделать. Холлиер никогда не может ничего найти, такой у него беспорядок. Мне хотелось заплакать. Но я не собиралась плакать перед Парлабейном. Он, однако, не умолкал:

— Надо полагать, в этой комнате убирают раз в неделю? И Холлиер так запугал уборщицу, что она не смеет ничего тронуть или передвинуть? Я буду убирать тут каждый день, чтобы комната была чистая, как… ну, не как свежевыпавший снег, конечно, но более или менее чистая, в той степени, какая терпима для ученого. Чрезмерная чистота — враг творчества, полета мысли. И еще я буду убираться для вас, дражайшая Молли. Я буду уважать вас, как должен *famulus* уважать *soror mystica* своего господина.

— Достаточно уважать, чтобы не рыться в моих бумагах?

— Возможно, не до такой степени. Я люблю

знать, что происходит вокруг. Но что бы я ни нашел, дорогая, я вас не выдам. Если бы я выбалтывал все, что знаю, я бы никогда ничего не достиг.

Чего же это он достиг? Монах-оборванец, оправа очков починена изолентой! Но я тут же сама ответила на свой вопрос: он пролез в мой особый мир и уже отобрал у меня большую его часть. Я вызывающе взглянула Парлабейну в глаза, но он лучше меня умел играть в эту игру, и скоро я опять неслась вниз по винтовой лестнице, злая, обиженная, растерянная.

Черт! Черт! Черт!

Новый Обри I

1

Осень — наиболее созвучное мне время года; университет — наиболее созвучное обиталище. По опыту всех лет, когда я был студентом, а позже — преподавателем, я заметил, что в первый день учебного семестра всегда бывает хорошая погода. Шагая по кленовой аллее, ведущей к университетскому книжному магазину, я был, по-видимому, счастлив — настолько, насколько я вообще способен быть счастливым, а я по натуре склонен к счастью, или же к воодушевленному труду, что для меня одно и то же.

Встретил Эллермана и одного из немногих по-настоящему неприятных мне людей — Эркхарта Макварища. С тех пор как я видел Эллермана в прошлый раз, по его лицу стало гораздо заметнее, что у него рак.

— Вы на пенсии, однако начался семестр — и вы тут как тут, на прежнем пастбище, — сказал я. — Я думал, вы упорхнули куда-нибудь на греческие острова и там наслаждаетесь свободой.

Эллерман тоскливо улыбнулся, а Маквариш издал сиплый звук, обычно заменяющий ему смех.

— Вы же знаете — уж кому и знать, как не вам,

отец Даркур, что пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья — валяться в грязи.[3]

И он снова засипел, в восторге от собственного остроумия.

Как это похоже на Макварища: сказать гадость бедняге Эллерману, который, что очевидно, смертельно болен, и мне — за то, что я священник. Макварищ считает, что ни один человек в здравом уме не имеет права быть священником.

— Я решил посмотреть, как выглядит университетский городок, когда меня в нем больше нет, — объяснил Эллерман. — А если правду сказать, мне захотелось посмотреть на юные лица. Я всю жизнь на них смотрел, вот и привык.

— Это серьезная слабость, — сказал Эрки Макварищ. — Никогда не позволяйте себе подсесть на чужую молодость. От зеленых яблок, того и гляди, понос прохватит.

Желание созерцать молодых — с умирающими это бывает, я часто такое вижу. Женщины любят смотреть на младенцев и все такое. Бедный Эллерман. Но он продолжал:

— Не только молодежь, Эрки. Людей постарше тоже. Знаете, университет — удивительно

---

[3] Примечания и комментарии: 3

…пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья — валяться в грязи. — Второе послание апостола Петра, 2: 22.

прекрасное сообщество. Здесь кого только не встретишь, и все выражают свое «я» гораздо свободней, чем если бы они были бизнесменами, адвокатами и тому подобное. По-хорошему об этом надо бы написать книгу. Я всегда хотел сам ею заняться, но я теперь вышел из игры.

— Уже пишут, — сказал Макварииш. — Вы что, забыли? Университет поручил Дойль написать его историю. Дойль на три года освободили от всех остальных обязанностей, дали ей бюджет, секретарей, ассистентов, чего только пожелала ее жадная душа историка. Выйдут три неподъемных тома унылого мусора, но кого это волнует? Главное, что у университета будет история.

— Нет, не будет; я совсем не о том говорил, — сказал Эллерман. — Я имел в виду рассказ о том и сем, прихотливо меняющий течение, с деталями и подробностями, которые никто никогда не подумает записать, но которые составляют самую ткань жизни. Что люди говорили неофициально, что делали, когда были не на параде, всяческие сплетни и слухи, без необходимости что-либо доказывать.

— Нечто вроде «Кратких жизнеописаний»

Обри,[4] — сказал я бездумно, желая лишь сделать приятное Эллерману, который так плохо выглядел.

Он отреагировал неожиданно энергично. Чуть не подпрыгнул на месте.

— Да! Именно, совершенно верно! Нужен кто-то вроде Джона Обри, который слушает все, любопытствует обо всем, записывает торопливыми каракулями, не заботясь о стиле. Сорока научного мира, хватающая никем не оцененные безделицы. Да, этому университету нужен Обри. О, будь я только на десять лет моложе!

Бедняга, подумал я, он цепляется за жизнь, которая от него ускользает, и думает найти ее в пьянящей влаге сплетен.

— Чего же вы ждете, Даркур? — спросил Маквариш. — Эллерман же именно вас описал, до черточки. Сорока от научного мира; никаких комплексов по поводу стиля. Вы именно то, что надо. Вы сидите вороном у себя в башне и видите сверху весь университет. Эллерман только что придал смысл вашему существованию.

---

[4] Примечания и комментарии: 4

Нечто вроде «Кратких жизнеописаний» Обри… — Джон Обри (1626–1697) — английский писатель и коллекционер, автор книги «Краткие жизнеописания», сборника занимательных биографий великих англичан.

Макварiш всегда напоминает мне девушку из сказки — ту, которая с каждым словом роняла изо рта жабу. Я не знаю другого человека, который умел бы вставить в обычный разговор столько гадостей. И еще он умел заставить невинных бедняг вроде Эллермана поверить, что это — остроумие. Эллерман засмеялся.

— Даркур, а ведь и правда! Считайте, что ваша судьба решилась! Новый Обри — вот кем вы должны стать.

— Можете начать с нашего Из-Дерьма-Конфетку, — сказал Макварiш. — Он, без сомнения, самая странная рыба даже в нашем странном пруду.

— Не знаю, о ком вы.

— Да знаете! Профессор Озия Фроутс.

— Я никогда не слышал, чтобы его так называли.

— Еще услышите, Даркур, еще услышите. Потому что именно этим он занимается, и на это ему дают большие гранты, а теперь, когда за расходами университета начали следить, возможно, кое у кого возникнут кое-какие вопросы по этому поводу. А после него… о, их десятки, выбирай на вкус. Но вам следует как можно скорее заняться Фрэнсисом Корнишем. Вы слыхали, что он умер

прошлой ночью?

— Очень жаль это слышать, — сказал Эллерман, которому сейчас особенно неприятно было слышать о смерти, все равно чьей. — Какие коллекции!

— Скопления — так, пожалуй, будет вернее. Огромные залежи; думаю, в последние годы он и сам не знал, что у него есть. Но я узнаю. Я исполнитель по его завещанию.

Эллерман воодушевился.

— Книги, картины, рукописи, — сказал он, блестя глазами. — Надо думать, университет получит большое наследство?

— Я не знаю, пока не увижу завещания. Но очень возможно. И наверняка это будет конфетка. Конфетка, — сказал Маквариш. Он произнес это слово с большим смаком.

— Вы исполнитель завещания? Единственный? — спросил Эллерман. — Надеюсь, я еще успею увидеть, чем все кончится.

Бедняга, он догадывался, что это маловероятно.

— Насколько я знаю — единственный. Мы были очень близки. Я буду рад заняться его вещами, — ответил Маквариш, и они пошли своей дорогой.

День уже не казался мне таким прекрасным.

Неужели Корниш составил новое завещание? Многие годы я был уверен, что его душеприказчик — я.

2

Через несколько дней я уже знал больше. Я был одним из трех священников, отпевавших Корниша на шикарной погребальной службе, которая состоялась в красивой часовне «Душка». Корниш был выдающимся выпускником колледжа Святого Иоанна и Святого Духа; он не был прихожанином ни одного прихода; колледж ожидал получить от него богатое наследство. Три веские причины, чтобы сделать все по высшему разряду.

Корниш мне нравился. Нас роднила страсть к старинной музыке, и мне случалось помогать ему советами при покупке нотных рукописей. Но не стану врать, что я был его близким другом. Корниш был эксцентричен, и я думаю, что его сексуальные пристрастия выбивались из общего ряда. Он водил дружбу с сомнительными личностями, в том числе с Эркхартом Макваришем. Мне было неприятно получить от адвокатов копию завещания и обнаружить, что Маквариш действительно назначен душеприказчиком наряду со мной и есть еще третий — Клемент Холлиер. Понятно, почему выбор пал на Холли-

ера: он великий ученый-медиевист с мировой репутацией в необычной области — палеопсихологии. По-видимому, это означает, что он долго рылся в старых книгах и рукописях и в результате получил неплохое представление о том, что на самом деле думали люди эпохи Возрождения о себе и мире вокруг себя. Я шапочно знаком с Холлиером еще с тех пор, как мы оба учились в «Душке». Мы киваем друг другу при встрече, но наши жизненные пути разошлись. Холлиер — удачная кандидатура, он сможет разобраться со многими вещами из Корнишева наследства. Но Маквариш? Он-то почему?

Как бы то ни было, Маквариш не сможет творить все, что его левая нога пожелает. Впрочем, мы с Холлиером тоже, потому что Корниш назначил нас не исполнителями, но консультантами и экспертами, чтобы мы разобрались с наследством и решили судьбу коллекции — картин, книг и рукописей. Настоящим исполнителем назначен племянник Корниша, Артур Корниш, молодой бизнесмен, по слухам — способный и богатый; мы должны действовать по его указаниям. Вот он сидит на скамье в первом ряду: спина прямая, во всем обличье ни грана скорби, сразу виден стопроцентный деловой человек, совершенно

непохожий на своего высокого, нескладного, близорукого дядюшку, которого мы сейчас хороним.

Я сидел на отведенной мне скамье в алтарной части и видел Макварища, который, тоже на скамье в первом ряду, исполнял все, что положено, — вставал, садился, опускался на колени и так далее, но каждым движением сигналил: «Меня нельзя даже заподозрить в том, что я проделываю все это всерьез. Я просто веду себя как подобает чрезвычайно воспитанному человеку среди суеверных дикарей». Декан «Душка» произнес краткую надгробную речь, представив Корниша венцом добродетелей. Во все время этой речи Макварищ ухмылялся — несомненно, издевательски, словно желая сказать, что знает о покойном немало пикантных подробностей. Не обязательно связанных с сексом. Корниш при жизни активно продавал и покупал картины, в том числе работы лучших канадских художников, и я мог бы назвать немало людей из числа присутствующих, кому он когда-то, по слухам, перешел дорогу как коллекционер. Зачем же они явились проводить его в последний путь? Меня посетила мысль совершенно не в духе любви к ближнему: может быть, они пришли убедиться, что Корниш действительно мертв? Великие

коллекционеры и великие знатоки искусства не обязательно хорошие люди. А вот благодетели обязательно должны быть хорошими людьми, в чьей добродетели нельзя даже усомниться; Корниш же оставил «Душку» немалое наследство, хотя официально колледж еще не был поставлен в известность. Но я намекнул декану, и теперь декан выражал свою благодарность единственным способом, доступным человеку в его положении, — долго и громко молился за покойного друга.

Совершенно средневековая сцена. Сколько науки, педагогических теорий, передовой мысли ни вливай в колледжи и университеты, все равно они в большой степени сохраняют дух Средних веков, из которых ведут свое происхождение. И то, что «Душок» — колледж относительно недавно основанного университета, расположенного в Новом Свете, на удивление мало что меняет.

С моего места прекрасно были видны лица собравшихся, старательно внимавших почтенному красноречию декана. На лицах читалась почти средневековая безмятежность. Если не считать всезнающей ухмылки Макварриша. Но я видел Холлиера, который не полез в первый ряд, хотя имел на это полное право: тонкое, красивое ли-

цо, от которого веяло чем-то ястребиным, было серьезным и торжественным. Недалеко от Холлиера сидела девушка, которая меня чрезвычайно интересовала: некая Мария Магдалина Феотоки, которая днем раньше явилась на мой семинар по греческому языку Нового Завета. Девушки, занятые такими вещами, обычно старше и явно более погружены в академическую жизнь, чем Мария. Она, без сомнения, очень красива, хотя такую красоту не всякий заметит и полюбит; я подозревал, что ровесников Марии ее внешность не привлекает. Спокойное лицо, приковывающее взгляд, — такое можно увидеть на иконе или мозаичном портрете. Лицо овальное; длинный, орлиный нос; ей надо следить, чтобы не остаться без зубов, иначе к старости и без того крючковатый нос сомкнется с подбородком; волосы совершенно черные, цвета воронова крыла, иссиня-черные, но не того ужасного оттенка, какой бывает у крашеных волос. Что ей понадобилось на похоронах Корниша? При взгляде на нее больше всего поражали глаза, потому что под и над радужкой слегка виднелся белок, и, когда она моргала — а казалось, что она моргает намного реже обычных людей, — не только верхнее веко опускалось, но и нижнее поднималось навстречу

ему, а такое не часто увидишь. На этот раз меня поразил взгляд Марии, застывший — возможно, в молитвенном экстазе. Она покрыла голову свободно ниспадающим платком в отличие от большинства присутствующих дам, которые, будучи современными женщинами, пренебрегли наставлениями святого Павла на этот счет. Что же она здесь делает?

Комическую нотку этим похоронам — а на многих похоронах присутствует комик — придавал Джон Парлабейн, который, как мне стало известно, пробрался в «Душок» и ныне обитал там. Парлабейн в монашеской рясе демонстрировал кривлянья и ломанья[5] в высочайших традициях высокой англиканской церкви. Я ничего не имею против — пред именем Иисуса должно преклониться всякое колено,[6] — но Парлабейн не ограничивался преклонением: он корчил гримасы, крестился скользящим движением, призванным демонстрировать давнюю привычку, и, будучи урожденным протестан-

[5] Примечания и комментарии: 5

…демонстрировал кривлянья и ломанья… — Даркур уподобляет Парлабейна Флибертиджиббету, бесу «кривлянья и ломанья». (У. Шекспир. Король Лир. Акт I, сц. 4. Пер. М. Кузмина.)

[6] Примечания и комментарии: 6

…пред именем Иисуса должно преклониться всякое колено… — Послание апостола Павла к филиппийцам, 2: 10.

том из какой-то не очень склонной к ритуалам деноминации, отвратительно переигрывал. Покрытое шрамами лицо — я помнил, как и когда появились эти шрамы, — сложилось в постную ухмылку, которая, по-видимому, должна была сочетать скорбь по ушедшему другу с радостью по поводу небесной славы, в коей этот друг сейчас обретается.

Я англиканин и священник, но иногда мне хочется, чтобы мои единоверцы хоть немного знали меру.

У меня, как у священника, была особая задача на этих похоронах. По поручению декана я произнес молитву на предание тела земле, и вслед за этим хор запел: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними».[7]

Итак, Фрэнсис Корниш почил от своих трудов, хотя не могу достоверно сказать, упокоился ли он в Господе. Несомненно, он возложил на меня определенные бремена, ибо его наследство было обширно и состояло не только в деньгах, но и

---

[7] Примечания и комментарии: 7

«И услышал я голос с неба… и дела их идут вслед за ними». — Откровение апостола Иоанна Богослова, 14: 13.

в дорогих сокровищах, и мне предстоит разбираться с этим наследством, и с Холлиером… и с Эркхартом Макваришем.

3

Три дня спустя мы трое сидели в кабинете Артура Корниша, в одном из банковских небоскребов в финансовом квартале города. Корниш объяснял нам, кто есть кто и что есть что. Он не был груб, просто мы не привыкли к такому стилю общения. Мы привыкли к собраниям, на которых деканы суетились, всячески стараясь, чтобы все оттенки мнений были услышаны, а потом душили любые действия пыльными, вялыми путами научной этики. Артур Корниш знал, что нужно сделать, и ожидал от нас быстрого и эффективного исполнения.

— Конечно, о деловой и финансовой стороне позабочусь я, — сказал он. — Вы, господа, должны проследить за тем, чтобы имущество дяди Фрэнка — предметы искусства и всякое такое — было распределено по назначению. Возможно, это будет большая работа. То, что подлежит отправке новым владельцам, следует вручить надежному перевозчику: я сообщу вам название выбранной мною транспортной фирмы. Она будет выполнять ваши указания, завизированные моей секретаршей, которая, в свою очередь, будет ока-

зывать вам всяческую помощь. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали это как можно скорее, потому что мы хотим утвердить завещание и раздать наследникам все, что им причитается. Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете действовать без промедления?

Профессора не любят, когда их подгоняют, особенно если это делает человек, которому нет еще и тридцати. Они умеют действовать быстро — во всяком случае, они так думают, — но не терпят, чтобы ими помыкали. Нам с Холлиером и Макваришем даже не понадобилось переглядываться: мы тут же сомкнули ряды против нахального юнца. Заговорил Холлиер:

— Первым делом мы должны выяснить, чем именно из «предметов искусства и всякого такого», как вы выразились, нам придется распорядиться.

— Я полагаю, что существует инвентарная опись.

Настал черед Маквариша:

— Вы хорошо знали своего дядю?

— Не особенно. Мы виделись время от времени.

— И вы никогда не бывали у него?

— В его доме? Нет, никогда. Меня не пригла-

шали.

Я решил, что нужно и мне вставить пару слов:

— Думаю, «дом» не совсем подходящее слово для описания жилища Фрэнсиса Корниша.

— Значит, у него в квартире.

— У него было три квартиры, — продолжал я. — Они занимают целый этаж принадлежавшего ему здания. И они от пола до потолка забиты предметами искусства… и всяким таким. Я не сказал «чересчур плотно заставлены» — я сказал «забиты».

Вновь заговорил Холлиер, продолжая ставить нахального мальчишку-богача на место:

— Если вы не знали своего дядюшку, то не можете и вообразить, насколько маловероятно, что у него была инвентарная опись; он был не из тех, кто делает описи.

— Понятно. Настоящее гнездо старого холостяка. Но я знаю, что могу на вас положиться: вы со всем разберетесь. Возьмите помощников, если нужно, и составьте каталог. Для утверждения завещания потребуется оценка имущества. Я полагаю, что вся коллекция стоит довольно много. Если понадобятся люди для бумажной работы — наймите их, и моя секретарша завизирует распоряжения по выплате денег.

Мы еще немного пообщались в том же духе и вышли — через комнату, где сидела визирующая секретарша (профессионально обаятельная женщина средних лет), мимо других секретарей, помоложе, строчащих с приглушенным треском на явно дорогих пишущих машинках, и мимо человека в форме, стерегущего врата, ибо эти огромные двери действительно больше напоминали ворота крепости.

— Я никогда не встречал ничего подобного, — сказал я в лифте, пока мы ехали вниз с шестнадцатого этажа.

— Я встречал, — сказал Маквариш. — Вы заметили, у него панели красного дерева? Шпон, я полагаю. Внешний лоск, под стать юному Корнишу.

— Нет, не шпон, — ответил Холлиер. — Я постучал. Цельное дерево. С этим молодым человеком надо вести себя очень осторожно.

Маквариш фыркнул:

— А картины на стенах видели? Корпоративщина. Выбраны дизайнером интерьеров. Далеко Артуру до дяди Фрэнка.

Я тоже заметил картины и знал, что Маквариш не прав. Но нам хотелось немного унизить главного душеприказчика, потому что мы его чуточку

побаивались.

4

Всю следующую неделю мы с Холлиером и Макваришем ежедневно после обеда встречались в трех квартирах Фрэнсиса Корниша. Визирующая секретарша выдала нам ключи. По прошествии пяти дней оказалось, что положение превосходит наши худшие ожидания, и мы даже не знали, с чего начать.

Корниш жил в одной из квартир, и она слегка напоминала человеческое обиталище, хотя гораздо больше походила на лавку чрезвычайно неопрятного торговца предметами искусства — каковой, собственно говоря, и служила Корнишу. Фрэнсис Корниш за свою жизнь многое сделал для того, чтобы открыть хороших канадских художников и помочь им пробиться к успеху. Он в основном покупал картины для себя, но иногда выступал в роли агента для художников, еще не достигших славы. Это означало, что он держал их картины у себя дома и, если получалось, продавал, причем всю выручку перечислял художнику, не оставляя себе никаких комиссионных. Точнее, в теории дело обстояло так. На практике он брал картину у молодого художника, засовывал

куда-нибудь и забывал или рассеянно одалживал какому-нибудь любителю искусства, а потом удивлялся и обижался, когда художник поднимал шум или грозил судом.

Корниш был напрочь лишен лукавства, но в нем не было также ни капли методичности. Считалось, что именно из-за этого он не вошел в семейный бизнес, заложенный когда-то его дедом. Дед начал с торговли лесом и балансовой древесиной,[8] при жизни Фрэнсисова отца дело сильно расширилось, а за последние двадцать пять лет фирма забросила лесоматериалы и превратилась в крупную инвестиционную компанию. Сейчас ее возглавлял Артур — четвертое поколение. Немалое богатство Фрэнсиса, частично происходившее от доверительного фонда, созданного его отцом, а частично унаследованное от матери, позволяло ему выступать в роли покровителя искусств, не думая о деньгах.

Фрэнсис редко продавал картины, взятые у художников, но, если становилось известно, что Корниш взял на продажу картины такого-то, другие, более вменяемые торговцы картинами обращали внимание на этого художника. Так

[8] Примечания и комментарии: 8

Балансовая древесина — круглый или колотый лесоматериал, используемый для производства целлюлозы.

странно проявлялось немалое влияние Корниша в мире торговцев предметами искусства. Его суждения были столь же безошибочны, сколь беспорядочны методы ведения дел.

Среди прочего нас беспокоила сваленная в первой квартире огромная масса картин, рисунков и литографий, а также скульптуры малых форм. Мы не знали, кому все это принадлежит, — Корнишу или самим художникам.

Мало того, квартира номер два была так забита картинами, что в дверь приходилось пролезать боком, а в комнаты, где едва хватало места одному человеку, — впихиваться силой. Здесь хранились картины иностранных художников. Должно быть, иные из этих картин Корниш в глаза не видел уже лет двадцать пять. Шаря в пыли, мы кое-как установили, что здесь представлены работы всех мало-мальски значительных художников за последние пятьдесят лет. Но сколько их всего и к какому периоду творчества художника относилась каждая картина, мы не могли определить: чтобы переместить одну картину, приходилось перемещать другие, и вскоре всякое передвижение по квартире становилось невозможным, а сам исследователь обнаруживал, что замурован на некотором расстоянии от выхода.

Холлиер нашел в ванной четыре больших свертка в коричневой бумаге, покрытые толстым слоем пыли. Холлиер смахнул пыль (будучи аллергиком, он ужасно страдал при этом) и обнаружил, что свертки надписаны прекрасным почерком Корниша: «Литографии П. Пикассо, открывать только чистыми руками».

Моей собственной пещерой Аладдина стала третья квартира, где хранились книги и рукописи. Точнее, я попытался застолбить ее, но Холлиер и Маквариш отстояли свое право подглядывать: удержать ученого от проникновения в такое место невозможно. Книги лежали кучами на столах и под столами — огромные фолианты, маленькие томики в одну двенадцатую листа, всевозможные книги от инкунабул до, по-видимому, полного собрания первых выпусков Эдгара Уоллеса.[9] Стопки книг, подобно дымовым трубам, высились на полу, и их ничего не стоило опрокинуть. Иллюстрированные книги, в которые достаточно было заглянуть, чтобы оценить их великую красоту: Корниш, видимо, купил их лет сорок назад, потому что сейчас таких уже

[9] Примечания и комментарии: 9

Эдгар Уоллес (1875–1932) — популярный английский писатель, драматург и сценарист; стоял у истоков такого жанра, как триллер. Умер в Голливуде, работая над сценарием «Кинг-Конга».

не найдешь ни за какие деньги. Карикатуры и рукописи, в том числе более-менее современные; одного Макса Бирбома[10] столько, что хватило бы на роскошную выставку: восхитительные, нигде не опубликованные шаржи на монархов и знаменитостей тысяча девятисотых и девятьсот десятых годов; я возжелал их всем сердцем. И еще порнография, на которую Маквариш накинулся с радостным хрюканьем.

Я мало что знаю о порнографии. Она меня не возбуждает. Но Маквариш, кажется, в ней прекрасно разбирался. Здесь была и классика жанра — ни много ни мало прекрасный экземпляр «Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино с оригинальными гравюрами Джулио Романо.[11] Я слыхал об этом чуде эротического искусства, и мы все хорошенько рассмотрели книгу. Мне скоро надоело: несмотря на то что иллюстрации

---

[10] Примечания и комментарии: 10

Макс Бирбом (1872–1956) — английский писатель, иллюстратор, художник-карикатурист; входил в круг Оскара Уайльда. Прославился сатирическим романом о жизни Оксфорда «Зулейка Добсон» (1911).

[11] Примечания и комментарии: 11

…«Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино с… гравюрами Джулио Романо. — Пьетро Аретино (1492–1556) — итальянский сатирик, публицист и драматург, «бич государей». «Сладострастные сонеты» (1525) — стихотворные подписи к порнографическим фрескам художника-маньериста Джулио Романо (1492–1546), ученика Рафаэля. Фрески были уничтожены, однако гравер Маркантонио Раймонди, тоже ученик Рафаэля, успел создать на их основе гравюры.

изображали способы совокупления (Маквариш упорно именовал их «позициями»), обнаженные люди были похожи на античные статуи и сохраняли такое мраморное спокойствие, что показались мне скучными. Их не оживляло ни единое чувство. С ними контрастировали японские гравюры, на которых яростные мужчины с пугающе увеличенными гениталиями в почти людоедской манере набрасывались на луноликих женщин. Холлиер глядел на них в мрачном спокойствии, но Маквариш так ухал и ерзал, что я испугался, как бы у него не случилось оргазма прямо тут, в пыли. Я никогда не думал, что взрослого человека может так возбудить неприличная картинка. Всю неделю Маквариш снова и снова требовал, чтобы мы вернулись в третью квартиру, лишний раз полюбоваться.

— Видите ли, я сам любитель таких вещей, — объяснил он. — Вот самый ценный экспонат моей коллекции.

Он вытащил из кармана табакерку, судя по работе — восемнадцатого века. С внутренней стороны крышки были изображены эмалевые Леда и лебедь. Стоило нажать кнопку, как лебедь вонзался Леде меж ног и та начинала дергаться в механическом экстазе. Мерзкая игрушка, поду-

мал я, но Эрки над ней трясся.

— Мы, холостяки, любим держать у себя такие вещи, — сказал он. — Вот вы, Даркур, чем увлекаетесь? У Холлиера, конечно, есть красавица Мария.

К моему вящему удивлению, Холлиер покраснел, но промолчал. У него — красавица Мария? Моя мисс Феотоки с семинара по новозаветному греческому? Мне это совершенно не понравилось.

На пятый день, то есть в пятницу, мы были даже дальше от цели — начать разбирать коллекцию, — чем в первый. Мы слонялись по трем квартирам, стараясь не показывать друг другу, что у нас нет ни намека на какой-либо план. Тут в замке первой квартиры повернулся ключ, и вошел Артур Корниш. Мы показали ему, в чем состоит наша проблема.

— Боже милостивый, — сказал он. — Я представления не имел.

— Мне кажется, тут никогда не убирали, — сказал Макварииш. — У вашего дяди Фрэнсиса были твердые убеждения на предмет уборщиц. Помню, он говорил: «Вы видели руины Акрополя? Пирамид? Стонхенджа? Колизея в Риме? Кто довел их до такого состояния? Глупцы говорят

— армии захватчиков, рука времени. Чушь! Это были уборщицы». Он говорил, что в метелки для пыли, которые используют уборщицы, всегда вставлены жесткие пуговицы, чтобы хлестать и царапать хрупкие предметы.

— Я знаю, он был эксцентричен, — сказал Артур.

— Когда люди говорят «эксцентричен», они имеют в виду что-то туманное, податливое. А ваш дядя был неудержим, особенно в том, что касалось произведений искусства.

Артур, похоже, не слушал: он вел раскопки. Другими словами нельзя было передать то, чем приходилось заниматься в этом невероятном и очень дорогостоящем хаосе.

Артур выудил из кучи небольшую акварель:

— Вот неплохая вещица. Я знаю, где это. Залив Джорджиан-Бей; в детстве я там жил подолгу. Наверное, ничего страшного, если я оставлю ее себе?

Он ужасно удивился, когда мы все на него накинулись. В последние пять дней мы постоянно натыкались на милые вещицы и думали, что вроде бы ничего страшного не будет, если мы оставим их себе, но каждый раз себя пересиливали.

Холлиер объяснил. Акварель подписана: это работа художника Вэрли. Купил ее Фрэнсис Корниш или взял у Вэрли, когда тот был на мели, надеясь продать и заработать для художника немного денег? Кто знает? Если Корниш не купил эту акварель, она сейчас стоит довольно много и входит в наследство умершего художника. Таких проблем возникают сотни, и как мы должны их решать?

Тут мы поняли, почему Артур Корниш, которому нет еще и тридцати, считается способным бизнесменом.

— Обо всех подписанных картинах запросите авторов, если они живы и если их удастся разыскать. Все остальное пойдет в Национальную галерею согласно завещанию. Мы не можем чрезмерно углубляться в вопросы владения. В завещании написано «все, чем я владею на момент моей смерти», и в той мере, в какой это касается нас, он владел всем содержимым этих квартир. Вам предстоит большая переписка: я пришлю хорошего секретаря.

Он ушел, с тоской взглянув на акварель работы Вэрли. Как легко возжелать чего-нибудь, когда владелец этой вещи мертв и она завещана безликому, бездушному общественному учреждению.

Второй рай II

1

С момента, когда Парлабейн обосновался во внешней комнате Холлиера, минуло десять дней. За это время я испытала по очереди целый спектр чувств: негодование, потому что он вторгся туда, где хотела обитать я сама; отвращение, потому что мне приходилось делить с ним пространство, которое он вскоре пропитал собственным изрядно крепким запахом; ярость из-за его манеры копаться в моих бумагах и даже у меня в портфеле, стоило мне выйти; раздражение по поводу его речи, в которой к жутковатой елейности клирика девятнадцатого века примешивались иногда довольно резкие фразы и даже непристойности; ощущение, что он надо мной смеется и играет со мной как кошка с мышкой; негодование женщины, с которой издевательски обращаются как с немощнейшим сосудом.[12] Я совершенно не могла работать и решила все высказать Холлиеру.

Поймать его было непросто, так как после по-

[12] Примечания и комментарии: 12

…издевательски обращаются как с немощнейшим сосудом. — Немощнейшим сосудом женщину называют в Первом послании апостола Петра, 3: 7.

лудня он исчезал: насколько я поняла, это было связано с делами Корниша. Я надеялась, что вскоре Холлиер снова упомянет ту таинственную рукопись, о которой говорил раньше. Но как-то я поймала его во внутреннем дворике, уговорила присесть на скамью и выложила свою обиду.

— Конечно, вам это неприятно, — сказал Холлиер. — Мне тоже. Но Парлабейн — мой старый друг, а старых друзей не бросают в беде. Мы вместе учились в школе — в Колборн-колледже, а потом в «Душке» — и научную карьеру начинали вместе. Я кое-что знаю о его семье; это далеко не радужная история. А теперь он на мели. Да, наверное, он сам в этом виноват. Но, понимаете, я всегда им восхищался, а я полагаю, вы не знаете, что это значит у мальчиков и юношей. Для них очень важно обожать какого-нибудь героя, а когда обожание проходит, было бы нечестно по отношению к самому себе забыть, что этот герой когда-то для тебя значил. Он всегда был первым, по всем предметам, а для меня было удачей оказаться на пятом месте. Он писал блестящие, легкие стихи; некоторые хранятся у меня до сих пор. Беседа с ним была наслаждением для всех нас; он был остроумен, а я, совершенно определенно, нет. Весь колледж ожидал от него

великих свершений, а слава о нем гремела далеко за пределами колледжа, во всем университете. Он окончил учебу с медалью от генерал-губернатора и всяческими другими отличиями и упорхнул в Принстон, на щедрую стипендию, дописывать докторскую. Но мы ему не завидовали, а только восхищались. Понимаете, он был совершенно особенный.

— Но что же случилось?

— Я не очень разбираюсь в том, что и почему случается с людьми. Когда он вернулся, «Душок» немедленно заграбастал его на кафедру философии; совершенно очевидно, что он был самым блестящим молодым философом в университете, а пожалуй что, и во всей Канаде. Но за эти годы он стал другим человеком. Его коньком была средневековая философия — в основном Фома Аквинский, — и средневековые схоластические диспуты были для него хлебом, водой и воздухом. Но он сделал нечто такое, чего, как правило, не допускают ученые-философы: позволил философии просочиться в собственную жизнь. Он смеха ради отстаивал самые нелепые точки зрения в спорах. Его специальностью была история скептицизма: невозможность подлинного знания… отсутствие уверенности в истине. Ему ничего не стоило вы-

ставить черное белым. Я полагаю, это повлияло и на его личную жизнь. Пошли скандалы, и в конце концов «Душок» решил, что для него это слишком, и по всеобщему согласию Парлабейн отчалил, оставив по себе недобрую славу.

— Похоже, у него слишком много ума и недостаточно характера.

— Мария, не фарисействуйте: это не пристало ни вашему возрасту, ни вашей красоте. Вы не знаете Парлабейна так, как я.

— Но он еще и монахом прикидывается!

— Он это делает, чтобы подразнить «Душок». Кроме того, он действительно был монахом. Его последняя попытка найти свое место в жизни.

— Вы хотите сказать, что он больше не монах?

— Может быть, формально он до сих пор монах, но он дезертировал, и попасть обратно ему будет не так легко. Я потерял его из виду, но несколько месяцев назад получил жалостное письмо: он писал, как несчастен в монастыре — где-то в срединных графствах Англии, — и просил помочь ему оттуда выбраться. И я послал ему денег. Разве я мог поступить иначе? Мне и в голову не пришло, что он явится сюда, тем более в этой хламиде. Но, наверное, у него просто нет другой одежды.

— И что, он тут так и останется?

— Казначей уже ропщет. Он не против гостей, которые остаются на одну-две ночи. Но он говорил со мной о Парлабейне и заявил, что не потерпит скваттеров в колледже, и он не разрешает Парлабейну питаться в столовой, пока не получит какой-нибудь гарантии, что тот уплатит по счету. Сами понимаете, платить Парлабейну нечем. Так что мне придется что-нибудь сделать.

— Надеюсь, вы не собираетесь взять его на свое иждивение.

— Вы надеетесь? А какое у вас право надеяться на что бы то ни было в этом роде?

Мне нечего было ответить. Я не ожидала, что Холлиер вдруг примет в разговоре со мной профессорский тон — после происшествия на диване, который теперь служил одром Парлабейну. Пришлось немного отступить.

— Извините. Но все же это и меня касается. Вы ведь сказали, что я буду работать у вас во внешней комнате. А как я могу работать, когда он там сидит и вяжет эти свои нескончаемые носки? И пялится на меня. Он меня просто до безумия доводит.

— Потерпите еще немного. Я помню и про вас, и про работу, которую вы должны для меня сделать. Постарайтесь понять Парлабейна.

На этом он встал, и разговор окончился. Он пошел прочь, а я подняла голову и увидела в окне комнаты Холлиера — очень высоко, ибо «Душок» весьма готичен в своем обличье, — Парлабейна, глядящего вниз, на нас. Конечно, он не мог слышать нашей беседы, но он смеялся и грозил мне пальцем, словно говоря: «Гадкая девчонка! Нехорошая!»

2

«Постарайтесь понять Парлабейна». Ну ладно. Я поднялась по лестнице и, не дав ему открыть рот, спросила:

— Доктор Парлабейн, вы не хотите сегодня со мной поужинать?

— Мария, для меня это большая честь. Но могу ли я спросить, чему обязан этим неожиданным приглашением? У меня такой голодный вид?

— Вы вчера утащили у меня из портфеля большую плитку шоколада. Я решила, что вы, может быть, недоедаете.

— И это так. Нынче, стоит мне появиться в обеденном зале, казначей встречает меня кислым лицом. Он подозревает, что мне нечем заплатить по счету, и он прав. Мы, монахи, скоро научаемся не стыдиться своей бедности.

— Встретимся внизу в половине седьмого.

Я повела его в популярный студенческий ресторан «Обжорка», специальностью которого были спагетти. Парлабейн начал с наваристого овощного бульона, потом съел гору спагетти с мясным соусом и выпил целую бутыль кьянти за вычетом одного бокала, который достался мне.

Потом сожрал большую порцию какого-то десерта из заварного крема со сливовым конфитюром и кокосовой стружкой, потом пропахал огромные борозды в большом куске горгонзолы, который принесли на стол целиком, а унесли в виде жалких остатков. Затем выпил две кружки капучино и заполировал рюмкой ликера «Стрега». Я даже рискнула раскошелиться на итальянскую сигару.

Парлабейн ел быстро и жадно, рыгал звучно и со смаком. За едой он разговаривал, демонстрируя содержимое набитого рта и донимая меня вопросами, требующими развернутых ответов.

— Мария, чем вы нынче занимаетесь? То есть в те моменты, когда не сверлите взглядом меня и невинные длинные монашеские носки, которые я вяжу; нам, монахам, приходится носить длинные носки, чтобы ветер, задравший рясу, не обнажил непристойное зрелище престарелой ноги.

— Я занимаюсь работой, которая в конечном итоге войдет в мою диссертацию.

— О благословенная научная степень, печать пожизненной принадлежности к интеллектуальной элите! Но в чем вы специализируетесь?

— Это непростой вопрос. Мою работу можно в общем и целом отнести к сравнительному лите-

ратуроведению, но в этом доме обителей много. Я работаю с профессором Холлиером, так что, скорее всего, моя диссертация будет посвящена чему-то близкому к его тематике.

— А его тематика, строго говоря, не относится к сравнительному литературоведению. Он роется в кухонных отбросах и мусорных кучах Средневековья. Напомните мне, на чем он сделал себе славу.

— Он детально исследовал процесс создания церковного календаря Дионисием Малым. О многом из этого писали и раньше, но именно Холлиер показал, как Дионисий приходил к своим выводам: народные верования и древние обычаи, лежавшие в основе его работы, и тому подобное. Именно это создало ему имя как палеопсихологу.

— Боже милостивый, это еще что такое? Новая разновидность мозгоклюев?

— Вы же знаете, что нет. Это специалист, который изучает мышление людей тех времен, когда оно было дикой смесью религии, народных поверий и неверно понятых обрывков античных трудов. В отличие от современного мышления, которое, будем откровенны, не что иное, как дикая смесь материализма, народных поверий и неверно понятых обрывков научных теорий.

Сравнительное литературоведение сюда тоже входит каким-то боком, потому что приходится знать кучу языков, но вообще это епархия Центра истории науки и технологии. Холлиер, как вы знаете, и там занимает должность.

— Нет, я об этом не знал.

— Ходят слухи, что скоро откроется Институт передовых исследований; там Холлиер будет очень важной персоной. Это произойдет, как только университет заполучит какие-нибудь деньги.

— Значит, наверное, не скоро. Наше по-отечески заботливое правительство в последнее время стало задумываться о больших расходах университетов. Это народные деньги, дорогая Мария, ни в коем случае не забывайте. А народ, непогрешимый и мудрый, должен получить то, что ему нужно, или то, что он считает нужным, потому что так ему сказали политики. А нужны ему люди, способные выполнять полезную работу, а вовсе не витающие в облаках типы вроде Клема Холлиера, желающие копаться в прошлом. Когда вы напишете свою диссертацию, какая польза от вас будет обществу?

— Это зависит от того, что вы называете обществом. Может быть, мне удастся пролить свет на

одно-два темных места в душе современного человека, раскопав душу человека средневекового.

— Милочка, за это вас любить не будут. Чужое невежество неприкосновенно. «Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет».[13] Вы знаете, кто это сказал?

— Оскар Уайльд, верно?

— Умничка. Наш милый покойный Оскар. Он вовсе не был дураком, когда переставал притворяться мыслителем и давал волю воображению. Но мне казалось, что вы изучаете Рабле.

— Да… просто мне нужна тема для диссертации, и Холлиер поручил мне исследовать формирование мышления Рабле.

— Но это ведь вовсе не ново?

— Холлиер надеется, что я найду какие-то новые подробности или новую точку зрения на давно известные вещи. Кандидатская диссертация не обязательно должна быть громом среди ясного неба.

— Нет, конечно. Мир не выдержал бы столько раскатов грома. Вы еще ничего не написали?

---

[13] Примечания и комментарии: 13

«Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет». — О. Уайльд. Как важно быть серьезным. Пер. И. Кашкина.

— Я готовлюсь. Мне нужно подтянуть греческий Нового Завета: Рабле придавал ему большое значение. В его время это был очень важный язык.

— Но, судя по вашей фамилии, вы наверняка знаете новогреческий?

— Нет, но древнегреческий знаю довольно хорошо. И еще французский, испанский, итальянский, немецкий и, конечно, латынь — золотую, серебряную[14] и то ужасное наречие, на котором говорили в Средние века.

— Я ослеплен вашим блеском. Откуда такие познания?

— Мой отец был полиглотом. Он родом из Польши и долго жил в Венгрии. Когда я была ребенком, он превратил изучение языков в игру. Я не скажу, что безупречно знаю все эти языки; я не очень хорошо пишу на них, но прилично читаю и говорю. Это не так трудно, если есть способности.

— Да, если есть способности.

— Стоит изучить два или три, и все остальные как будто сами укладываются на место. Люди

---

[14] Примечания и комментарии: 14

…и, конечно, латынь — золотую, серебряную… — Золотая и серебряная латынь — латинский язык периодов 83 г. до н. э. — 14 г. н. э. и 14–117 гг. н. э. соответственно. Эту градацию впервые ввел Вильгельм Зигмунд Тейффель, немецкий специалист по классической филологии.

боятся иностранных языков.

— Значит, языки вашего детства — польский и венгерский? Это все?

— Еще один или два. Это несущественно.

Я, конечно, не намерена была сообщать ему, какой несущественный язык использую дома во время скандалов. Я надеялась, что моя несдержанность в истории с *бомари* и Холлиером меня кое-чему научила. Я уже боялась, что стоит на секунду ослабить защиту — и Парлабейн вытащит из меня все. Его любопытство обладало особой силой, и он помыкал мною в разговоре как хотел, так что я вполне могла открыть больше, чем намеревалась. Может быть, перейдя в наступление, удастся избежать допроса? Ну-ка…

— Доктор Парлабейн, вы все время спрашиваете, но сами ничего не рассказываете. Что вы за человек? Вы родились в Канаде, верно?

— Пожалуйста, зовите меня «брат Джон»: я давно оставил академические суетные звания, когда низко пал в этом мире и открыл, что единственное мое спасение — в смирении. Да, я родился в Канаде. Я дитя этого великого города, этого великого университета и «Душка». Вы ведь знаете, почему наш колледж называют «Душком»?

— Потому что он носит имя святого Иоанна и

Святого Духа. «Душок» — это Святой Дух.

— Иногда это прозвище используют в оскорбительном смысле, а иногда, как я уже говорил, ласкательно. Но вы, конечно же, помните цитату? Евангелие от Марка, глава первая, стих восьмой: «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Так что колледж — воистину *alma mater,* матерь кормящая, питающая своих детей из одной груди млеком знаний, а из другой — млеком спасения души и доброго вероучения. Иными словами, водой, без коей невозможна жизнь, и Святым Духом, без коего невозможна жизнь добродетельная. Но мерзкие детишки так перепутали мамкины сиськи, что уже не разберут, где какая. Я открыл для себя спасение души и доброе вероучение лишь после того, как чрезвычайно низко пал в мире сем.

— Как же это случилось?

— Может быть, когда-нибудь я вам расскажу.

— Но не все же вам меня допрашивать, брат Джон. Мне рассказывали, что вы сделали блестящую карьеру ученого.

— И это так. О да, я блеснул метеором в научном мире, когда еще не знал ничего о человечестве и вовсе ничего — о себе.

— Это знание вас и погубило?

— Меня погубила неспособность сочетать эти два вида знаний.

Я решила обойтись с братом Джоном погрубее, — может быть, так удастся из него что-нибудь вытянуть, пробив его защиту.

— Слишком много ума и недостаточно характера?

Подействовало.

— Мария Магдалина Феотоки, это недостойно с вашей стороны! В устах какой-нибудь узколобой канадской девицы, сроду не видавшей ничего, кроме Торонто и залива Джорджиан-Бей, такое замечание могло бы сойти за проницательность. Но вам случалось испивать из лучших источников. Что вы имеете в виду под «характером»?

— Выдержку. Сильную волю, чтобы уравновесить книжные знания. Умение сложить два и два и получить четыре.

— И еще — умение пролезть на хорошую академическую ставку, а потом на постоянную профессорскую должность, потом стать полным профессором, ни разу не задумавшись, чего именно ты полон, а потом взмыть в небеса, и стать заслуженным профессором, и вынудить у декана повышение ставки, угрожая, что иначе уедешь в Гарвард… Нет, Мария, это не ваши слова. Это

сказал какой-то глупец из вашего прошлого. Отыщите его, загоните в угол и скажите ему вот что: этот превозносимый им «характер» ни шиша не стоит. На самом деле нас творит, ваяет и создает некто, кому лишь немногие осмеливаются взглянуть в лицо: это ребенок, которым ты когда-то был, давным-давно, до того как формальное образование запустило в тебя когти; нетерпеливый, жадный до всего ребенок, жаждущий любви и власти, не могущий насытиться ни тем ни другим; он ярится и буйствует у тебя в душе, пока ты не закроешь глаза и глупцы не скажут: «Правда, у него такой умиротворенный вид?» Именно эти запертые внутри ненасытные дети — причина всех войн, и всех ужасов, и всего искусства, и всей красоты, и всех открытий в мире, потому что они пытаются добраться до всего, что было для них недосягаемо, когда им еще не исполнилось и пяти лет.

Так, мне удалось его растрясти.

— И что, нашли вы этого ребенка? Малютку Джонни Парлабейна?

— Думаю, да. И это оказался весьма затюканный младенец. Но вы верите тому, что я сказал?

— Да, верю. Холлиер говорит то же самое, только другими словами. Он говорит, что люди нико-

гда не живут в том, что называется настоящим; сооружение, представляющее собой психику современного человека, шатается и кренится над пропастью шириной не менее десяти тысяч лет. А все знают, что дети — дикари.

— А вы встречали дикарей?

Еще бы! Но вот тут-то мне и следовало придержать язык. Поэтому я только кивнула.

— Так чем же на самом деле занимается Холлиер? Только не говорите опять «палеопсихологией». Расскажите мне словами, понятными простому философу.

— Философу? Если вам нужен философ, то Холлиер очень близок к Хайдеггеру. Он пытается воспроизвести образ мысли ранних мыслителей, и не только великих мыслителей, но и обычных людей, которые иногда занимали не совсем обычное положение, королей и священников — некоторых, потому что они оставили след в истории развития человеческого мышления, — через традиции, обычаи и народные поверья. Холлиер хочет знать об этом. Он хочет понять способы мышления древних людей, не критикуя их. Он глубоко погружен в Средние века, потому что они на самом деле расположены посредине — между далеким прошлым и современным

постренессансным мышлением. Он хочет встать на полпути, чтобы смотреть в обе стороны. Он ищет ископаемые идеи и на их основе пытается понять, как работала человеческая мысль.

Я заказала еще бутылку кьянти, и Парлабейн выпил ее почти всю, так как я не пью больше двух бокалов за вечер. Кроме этого, он осушил четыре рюмки «Стреги» и выкурил еще одну удушливую сигару, но я привыкла и к пьяницам, и к вони. Парлабейн заговорил громче, иногда произнося слова одновременно с рыганием и при этом повышая голос, видимо, чтобы заглушить внутренние помехи.

— Знаете, когда мы с Холлиером были студентами в «Душке», я бы и ломаного гроша не дал за его шанс подняться выше хорошего профессора на постоянной ставке. Он очень сильно вырос.

— Да, он один из тех заслуженных профессоров, по чьему адресу вы проехались. Совсем недавно ректор в интервью для прессы назвал его одним из украшений университета.

— Боже милостивый! Старину Клема! Воистину поздний расцвет. И еще, конечно, у него есть вы.

— Я его аспирантка. И довольно способная.

— Чушь! Вы его *soror mystica.* Это и ребенку видно. Во всяком случае, гениальный ребенок,

жадный до всего малютка Джонни Парлабейн увидел это раньше, чем взрослые успели продрать сонные глаза. Холлиер вас окружает. Поглощает. Вы им полностью окутаны.

— Не кричите. Люди смотрят.

Тут он действительно перешел на крик:

— «Не кричите, я вас прекрасно слышу. У меня в ухе телефон Морли — он полностью помещается в слуховом проходе и не виден снаружи. Конец глухоте!» Помните эту старую рекламу? Нет, конечно: вы слишком много знаете, но слишком молоды и потому ничего не помните. — Он передразнил фальцетом: — «Не кричите, люди смотрят!» Кого это колышет, глупая ты дырка? Да пускай себе смотрят! Ты его любишь. Хуже того, ты в нем полностью растворилась, а он и не знает. Как ему не стыдно, дураку!

Но он же знает! Разве я позволила бы ему овладеть мною на диване пять месяцев назад, если бы не была уверена, что он знает о моей любви? Нет, не надо об этом спрашивать. Я уже не так уверена в ответе.

Хозяин «Обжорки» обеспокоенно маячил неподалеку. Я умоляюще взглянула на него, и он помог мне поднять Парлабейна на ноги и подтолкнуть в сторону двери. Монах оказался силен как бык,

и вышла потасовка. Парлабейн запел очень громким и неожиданно мелодичным голосом:

Все кружится и летит,
Спит добро, и злоба спит,
Денег нету заплатить,
*Отчего ж мне д**о**лжным быть,*
Скоро-скоро смерть придет,
Всех сравняет в свой черед…[15]

Наконец мне удалось вытащить его на улицу, доволочь до парадной двери «Душка» и сдать ночному привратнику, своему старому приятелю.

Я шла к метро и думала: вот что выходит, когда пытаешься понять Парлабейна, — скандал в ресторане. Следует ли продолжать? Думаю, да.

Но меня опередили. На следующее утро в комнате Холлиера меня ждала записка и букет цветов — сальвий, совершенно очевидно нарванных на клумбе у резиденции декана. В записке говорилось:

«О дражайшее и самое всепонимающее из Творений!

Простите меня за вчерашнее. У меня

---

[15] Примечания и комментарии: 15
Джон Гейвуд, перевод Д. Никоновой.

слишком давно ни капли во рту не было. Пообещаю ли, что это больше не повторится? Увы, такое обещание было бы неискренним. Но я должен загладить вину. Так пригласите меня на обед еще раз, и поскорее, и я расскажу Вам историю своей жизни, которая, безусловно, стоит тех денег, что Вы заплатите за ужин.

Покорный раб, ползающий у Ваших ног,

П.».

3

Чтобы получить ученую степень, до начала работы над диссертацией надо пройти несколько курсов, имеющих отношение к твоей теме. Я уже почти набрала нужное количество курсов, но в этом году Холлиер предложил мне взять еще два — один по культуре европейского Ренессанса у профессора Эркхарта Макварища, а другой по греческому языку Нового Завета у профессора преподобного Симона Даркура. Маквариш читал скучно; материал был хорош, но Маквариш, как настоящий ученый, не считал возможным рассказывать интересно, чтобы его не обвинили в «популяризаторстве». Он был малорослый, с длинным красным носом, который он постоянно вытирал носовым платком, вытаскивая его из левого рукава. Как мне объяснили, это признак того, что он когда-то служил офицером в первоклассном полку Британской армии. На его лекции ходило человек двадцать.

Проф.-преп. был совсем другой. Священник, круглый как колобок и розовый как младенец, не читал лекцию, а проводил семинар, на котором все должны были высказываться или хотя

бы задавать вопросы. Нас было только пятеро: кроме меня, трос молодых людей и один мужчина средних лет, все — будущие священники. Двое из молодых людей были современные, расхристанные, длинноволосые, по-модному немытые; они собирались занять какие-то посты в евангелической церкви и в свободное время помогали проводить службы под рок-музыку, где их единомышленники танцами изгоняли из себя Зло и обнимались в слезах по окончании шоу. Мне кажется, эти двое занимались греческим, так как надеялись прочитать в оригинале Писания, что Иисус, помимо всего прочего, отлично танцевал и играл на гитаре. Третий молодой человек принадлежал к очень высокой англиканской церкви,[16] Даркура именовал не иначе как «святой отец» и ходил в темно-сером костюме, к которому, несомненно, скоро надеялся добавить священнический воротничок. Мужчина средних лет бросил работу страхового агента, чтобы стать священником, и трудился, как раб на галерах: у него была жена и двое детей, и ему нужно было как можно скорее рукоположиться. В целом

[16] Примечания и комментарии: 16

…молодой человек принадлежал к очень высокой англиканской церкви… — Высокая церковь — направление в англиканской церкви, организационно и обрядово более близкое к католичеству.

эта компания не очень вдохновляла. Предполагалось, что Господь призвал всех четверых к служению себе, но, возможно, лишь по рассеянности или в порядке инсценировки какого-то сложного еврейского анекдота.

К счастью, проф.-преп. оказался гораздо лучше, чем я ожидала.

— Чего вы ждете от этого семинара? — сразу спросил он. — Я не собираюсь учить вас языку; надо полагать, вы все знаете древнегреческий?

Я знала, но четверо мужчин, явно растерявшись, неохотно признались, что немного учили язык или что их поднатаскали на летних курсах.

— Если вы знаете греческий, то, надо полагать, знаете и латынь, — сказал проф.-преп., и слушатели ответили мрачным молчанием.

Но пал ли он духом? Нет!

— Давайте проверим ваши познания, — сказал он. — Я напишу на доске небольшой текст и через несколько минут попрошу вас его перевести.

Слушатели явно встревожились, и один из длинноволосых пробормотал, что забыл дома латинский словарь.

— Он вам не понадобится, — сказал Даркур. — Текст совсем простой.

Он написал: *«Conloqui et conridere et vicissim*

benevole obsequi, simul leger libros duciloquos, simul nugari et simul honestari». Сел и озарил нас улыбкой из-за стекол очков в форме полумесяца.

— Это девиз, основа того, чем мы будем заниматься весь предстоящий год на этом семинаре, дух нашей будущей совместной работы. А теперь давайте переведем. Кто хочет?

Последовала ужасная тишина, какая бывает, когда сразу несколько человек пытаются сделаться невидимыми.

— Говорить вместе, смеяться вместе, делать друг другу добро… — пробормотал аккуратный юноша и умолк.

Судя по виду волосатой парочки, они уже ненавидели Даркура.

— Сначала дамы, — сказал Даркур, улыбаясь мне.

И я ринулась вперед:

— «Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение».

Он заметно обрадовался:

— Восхитительно. А теперь пусть кто-нибудь другой скажет, откуда эта цитата. Ну же, вы все читали эту книгу, хотя бы в переводе. Вы должны

ее хорошо знать; автор должен стать вам близким другом.

Но все молчали, и я заподозрила, что никто не знает. Ну что, подумала я, сделать так, чтобы меня ненавидели? Впрочем, это так или иначе случится: меня всю жизнь ненавидели все соученики.

— Это из «Исповеди» Блаженного Августина,[17] — сказала я.

Волосатые юнцы посмотрели на меня с ненавистью, а гладкий — с тошнотворной завистью. Мужчина средних лет все тщательно записал; он собирался победить этот предмет или умереть; на нем лежал долг перед женой и детьми.

— Благодарю вас, мисс Феотоки. А вы, джентльмены, учитесь преодолевать свою робость, — сказал его преподобие — кажется, с легкой иронией. — Именно к этой цели мы будем стремиться: беседа и веселье — я надеюсь, вызванные чтением Нового Завета. Не могу сказать, что в этой книге много забавного, хотя и Христос однажды пошутил, играя словами, над новым именем Петра, которое сам же ему дал: «Ты — Петр, и на сем

---

[17] Примечания и комментарии: 17

«Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение». <…> Это из «Исповеди» Блаженного Августина… — Цитата из «Исповеди» Блаженного Августина дана в переводе М. Сергеенко.

камне я создам Церковь Мою». Конечно, имя Петр — по-гречески «петрас», «камень». Это можно было бы перевести как «Ты крут, и на сей круче я создам Церковь Мою», тогда каламбур отчасти удалось бы передать, но, наверное, не стоит этого делать. А то вдруг прихожане через две тысячи лет будут валиться под скамьи от смеха. Конечно, я полагаю, Христос называл Петра Кифой, то есть «камнем» по-арамейски, но этот каламбур наводит на мысль, что Господь наш знал греческий язык, хотя бы немного, а может быть, и неплохо знал. И вы должны знать греческий, если хотите служить Ему.

Мне показалось, что Даркур забавляется; он видел, что длинноволосым юнцам не по душе то, к чему он гнет, и нарочно дразнил их.

— Эти исследования могут много куда завести, — продолжал он, — и в том числе, конечно, в глубины Средневековья, когда греческий язык, который мы собираемся изучать, был едва известен в Европе и Церковь косо смотрела на всех, кто его знает. Но некоторые подозрительные люди его знали хотя бы отчасти — алхимики и прочий сброд, — и, кроме этого, традиция изучения древнегреческого сохранилась на Ближнем Востоке, где в это время греческий язык медленно

двигался по длинному пути к тому, что мы сейчас называем новогреческим. Очень забавно бывает следить, как языки дробятся и превращаются в совершенно другие. Так, латынь износилась до дыр, распавшись на вульгарные диалекты, такие как французский, испанский и итальянский, и глядь — люди вдруг обнаружили, что на этих упаднических жаргонах можно выражать совершенно новые понятия, о которых на латыни никто даже и не думал. Точно так же сейчас распадается английский язык — он становится мировым языком, который обязаны знать и на котором должны говорить все встречные и поперечные, но, если бы доктор Джонсон услышал, как они говорят, его бы кондрашка хватила.[18] «Королевский английский» можно считать покойником; даже американский английский, когда-то наглый выскочка на литературной сцене, уже отошел в пыльное прошлое по сравнению с тем, что можно услышать в Африке, — а именно там в наши дни происходит все самое интересное. Но я отвлека-

[18] Примечания и комментарии: 18

…но, если бы доктор Джонсон услышал, как они говорят, его бы кондрашка хватила. — Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Составитель первого толкового словаря английского языка. Джонсон не имел предшественников в подобного рода работе, и на момент публикации (1755) его словарь был первым в английской литературе, но до настоящего времени не потерял своей ценности.

юсь на болтовню — отвратительная привычка для преподавателя. Пожалуйста, если увидите, что я заговорился, призывайте меня к порядку. Итак, за работу. Могу ли я считать, что все вы знаете греческий алфавит и, следовательно, умеете считать до десяти по-гречески? Хорошо. Давайте начнем с изменений в этой области.

Я поняла, что проф.-преп. мне понравится. Он, похоже, считает, что обучение может быть увлекательным и что тяжелых на подъем людей нужно хорошенько встряхнуть. В этом он был похож на Рабле, которого даже образованные люди вроде Парлабейна как-то по-дурацки себе представляют. Рабле был блестяще образован, потому что ему нравилось учиться, а по-моему, это лучшая причина, чтобы учиться. Не единственная, но лучшая.

Я хотела знать много, но не для того, чтобы, как нынче говорят, стать специалистом и превозноситься над людьми, знающими меньше тебя о крохотном уголке маленького мирка, в котором ты обжился. Я надеялась на улов побогаче: мне нужна была — ни много ни мало — Мудрость. В современном университете, если попросишь знаний, тебе обеспечат их практически в любой форме, хотя, если потребовать чего-нибудь

вышедшего из моды, могут сказать, как в лавке: «Извините, на этот товар нет спроса, мы его не держим». Но попросить Мудрости с большой буквы — боже сохрани! Какой парад скромности, какие отговорки из уст мужчин и женщин, у которых в глазах сияет ум, как прожектор маяка. Ум — да, но Мудрости не наберется и на огонек свечи.

Это и приковало меня к Холлиеру: мне показалось, что я разглядела в нем Мудрость. А как говорил Парацельс[19] (с чьими трудами мне придется ознакомиться в ходе исследований Рабле), «Стремление к мудрости — обретение второго рая в сем мире».

И я искренне верила, что с Холлиером обрету второй рай, да и первый тоже.

---

[19] Примечания и комментарии: 19

Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) — знаменитый алхимик, врач и оккультист. Считается предтечей современной фармакологии; скрестил каббалистику с алхимией и магическими практиками.

Новый Обри II

1

Гуманно ли вообще назначать человека исполнителем завещания? Разумеется, это выражение доверия, но долг душеприказчика может превратиться в тяжкую повинность. Дела Корниша все больше затягивали нас с Холлиером, воруя время и силы у нашей собственной работы. В завещании была приписка, гласившая, что, когда распределение имущества будет закончено, все консультанты, они же помощники душеприказчика, могут взять себе «по одному предмету искусства, полюбившемуся им, при условии, что этот предмет не завещан кому-либо другому». Но это лишь усугубляло наши страдания, потому что мы постоянно натыкались на лакомые кусочки и тут же выясняли, что они уже кому-то предназначены. Кроме того, юристы Артура Корниша запретили нам выбирать и уносить что-либо, пока все предметы, завещанные разным лицам, не переданы по назначению. Мы были как бедные родственники на елке для богатых детей.

Богатых и вовсе не настолько благодарных, как следовало бы, по моему мнению. Крупные бенефициарии с удовольствием брали то, что им

нравилось, но дали понять, что некоторые вещи, предназначенные для них, им вовсе не нужны и лучше даже не настаивать.

Одним из таких получателей наследства была Национальная галерея. Корниш оставил ей десятки холстов, но при условии, что все картины канадских художников будут выставлены вместе в постоянной экспозиции под названием «Коллекция Корниша». Представители галереи заявили (в общем, разумно), что предпочитают выставлять картины в историческом контексте, поэтому Кригхоффы и другие более ранние картины из коллекции Корниша должны отправиться в экспозицию ранней канадской живописи; не может же галерея разбросать картины примитивистов по всем залам. Еще сотрудники галереи сказали, что, по их мнению, некоторые современные картины — не первый сорт, что бы там ни думал Корниш, и они просто не могут обещать, что поместят эти картины в постоянную экспозицию. Если Корниш собирался завещать галерее свою коллекцию, он мог бы обсудить это заранее или просто оставить денег на постройку нового крыла; но, даже если бы он это сделал, новое крыло все равно негде было бы строить, так как у галереи нет свободной земли. Они писали

письма — вежливые, но на грани — и часто намекали, что дарители бывают эгоцентричными тиранами и что любой, у кого нет ученой степени по искусствоведению, — дилетант.

Холлиеру это не понравилось. Он сильно чувствующий человек и предан своим друзьям, и он решил, что галерейщики оскорбляют память Корниша. Я же, со своим нудным умением видеть обе стороны вопроса, вовсе не был в этом уверен. Маквариш отнесся к ситуации легкомысленно, чем еще больше разозлил Холлиера, — как будто завещание и желания Корниша ничего не значили.

— Все дарители и благотворители — сумасшедшие, — сказал Маквариш. — Они хотят посмертной славы и посмертной благодарности. Любой колледж, любой факультет может порассказать такое, что вы заплачете. Как вам понравится семейка, которая создала фонд в миллион долларов и выделила доход с него на должность профессора по внутренним болезням, а через много лет отыграла назад, когда ей не понравился человек, назначенный на эту должность, — третий по счету? А тот старый козел, который подарил университетской библиотеке коллекцию книг по истории, помыкал всеми и

требовал, чтобы ему присвоили почетную степень, даже когда выяснилось, что книги на самом деле не его, а принадлежат фонду, которым он управляет? А старый Магаффи, который завещал кругленькую сумму на устройство Центра кельтских исследований при условии, что «кельтские исследования» будут означать «исследования Ирландии», а шотландцы, валлийцы и бретонцы могут пойти отсосать друг у друга в кустах? А тот урод, который дал деньги на курс лекций, но настоял, чтобы они начались при его жизни и чтобы, пока он не умер, за них платил университет! И вдруг через много лет он с ухмылкой заявляет ректору, что передумал, да и лекции-то ему не нравились! В девяти случаях из десяти благотворители тешат самих себя. Они сколотили состояние благодаря хитрости и смекалке — и именно эти качества мешают им расстаться с деньгами даже на смертном одре. Даже наш дорогой друг Корниш — прекрасный человек, как мы все знаем, — не может просто так разжать руки. Но кого это волнует? Если Национальная галерея не берет картину, отдайте ее галерее Онтарио, все равно ей отойдет куча всего. Кого по большому счету волнует лишняя тряпка, намазанная краской? Вы же читали завещание: определенные

картины отправляются по назначению, а всем, что останется, распоряжаются исполнители. То есть мы. Племянник ничего не узнает, и ему плевать. Наше дело — взрезать арбуз: очистить эти три квартиры.

Но Холлиер не желал и слышать о подобном. Я знал его много лет, но до сих пор никогда не заглядывал ему в душу. Похоже, он слишком совестлив, а это вредно. Чересчур активная совесть и никакого чувства юмора — опасное сочетание.

У Маквариша, напротив, чувства юмора было более чем достаточно. Люди часто думают, что оно — отличная приправа к любому характеру и почти заменяет здравый смысл, не говоря уже о мудрости. Но у Маквариша чувство юмора означало безответственность, пренебрежение чужими нуждами и желаниями, мешающими удобству самого Маквариша. Чувством юмора, как улыбающейся маской, он прикрывал презрение ко всем, кроме самого себя. В разговорах и в жизни он больше всего ценил то, что называл «умением не брать в голову»: ничто не следовало воспринимать всерьез. Поэтому серьезность Холлиера, по прозрачным намекам Маквариша, граничила с дурным воспитанием. Мне тоже нравятся люди, которые умеют не сосредотачиваться

на плохом, но для Макварiша это понятие служило прямым синонимом эгоизма. Он не стремился как можно точнее исполнить последнюю волю Корниша; ему просто нравилось быть важным лицом — исполнителем завещания богатого и незаурядного человека, нравилось якшаться с галерейщиками, людьми, соответствующими его завышенным требованиям сноба. А я, как всегда, вынужден был играть роль миротворца меж двух непримиримых сторон.

Самому мне приходилось бороться с сотрудниками архивов. Университетскую библиотеку не удовлетворила обещанная груда редких книг и рукописей — библиотека жаждала заполучить все бумаги Корниша. Оттавская национальная библиотека, которой не завещали ничего, прислала вежливое, но решительное письмо, в котором требовала письма, дневники, бумаги — абсолютно все относящееся к деятельности Корниша как коллекционера и покровителя искусств. Две библиотеки засучили рукава и принялись фехтовать — вежливо, но решительно. Думаю, Корниш просто не предполагал, что его старые письма и прочий хлам могут представлять ценность для кого бы то ни было. Он не вел никаких дневников; архивом ему служили картонные

ящики, куда он швырял бумаги как попало и в любом порядке. В записных книжках, сохранившихся только потому, что Корниш никогда ничего не выбрасывал, вперемешку шли кое-как нацарапанные заметки о назначенных встречах, упоминания о неуказанных суммах денег, адреса, порой отдельные слова и фразы, когда-то что-то значившие. Я просмотрел их по диагонали и в книжке, заполненной не до конца — видимо, последней, — обнаружил такую запись: «Одолж. Макв. рук. Раб. 16 апр.».

Были тут и сокровища, о которых никто, кроме меня, не знал, потому что я не давал библиотекарям совать сюда свой нос. Письма от художников, которые потом прославились, но писали Корнишу, когда были еще молоды и бедны, — искренние дружеские письма, в которых порой сквозила берущая за душу нужда. Художники иллюстрировали письма набросками и каракулями — смешными, восхитительными, иногда невыразимо прекрасными. Когда я объяснил все это Артуру Корнишу, он сказал:

— На ваше усмотрение; дядя Фрэнк вам доверял, мне этого достаточно.

Это было приятно, но мало помогло, потому что библиотекари наседали.

Национальная библиотека мотивировала свои претензии тем, что Корниш — «великий канадец» (о, как он смеялся бы, ибо я не встречал менее тщеславного человека), поэтому все, что имеет к нему отношение, следует беречь, как архивные документы, — каталогизировать, внести в перекрестный указатель, поместить в бескислотные контейнеры, чтобы сохранить навечно. Но университетская библиотека считала, что Корниш — великий благодетель университета, который выказал свое уважение к библиотеке, подарив ей прекрасную коллекцию книг и манускриптов; следовательно, и память о нем должна храниться, если это возможно, в тех же руках.

Почему, спросил я. Разве самих сокровищ недостаточно и нужен еще мусор, большая часть которого годится разве на свалку? Нет, ответили архивариусы ровными голосами, в которых явственно слышались гнев и ужас, вызванные моей тупостью и невежеством. Неужели я забыл про исследования, эту масштабную отрасль, которой живет университет? Студенты с факультетов искусствоведения, истории и бог знает чего еще захотят узнать о Корнише все, что только можно. И как, по моему мнению, можно будет написать официальную биографию Корниша, если все его

бумаги не будут навечно отданы на хранение в надежные руки?

Меня это не впечатлило. Мне случалось читать официальные биографии своих хороших знакомых, и мне все время казалось, что эти книги про каких-то совсем других людей, а не тех, которых я знал. Биографы, как правило, осторожно льстили своим героям, хотя и не пренебрегали описанием того, что писатели обожают называть «пороками». Современные биографы верят, как в Святое Писание, в то, что у всех людей есть «пороки», но обнажаемые биографами «пороки» обычно сводятся к несогласию с мнением самого биографа по поводу политики, социального прогресса или еще чего-нибудь безличного. То, что я считаю человеческими пороками — гордыня, гнев, зависть, похоть, чревоугодие, стяжательство и леность, семь смертных грехов (четыре последних из этого списка были далеко не чужды и Корнишу), — редко удостаиваются сколько-нибудь осмысленного обсуждения. Что же касается добродетелей, то есть веры, надежды, любви к ближнему, благоразумия, справедливости, мужества и воздержания — некоторыми из них Корниш обладал в похвальном изобилии, — биографы не хотят их обсуждать ни под этими

именами, ни под современными модными кличками. Ни в одной из биографий лично знакомых мне людей даже не ночевала любовь к ближнему, и, возможно, с моей стороны было бы нетактично желать, чтобы Корнишу, если уж ему суждено стать предметом биографии, досталось сколько-нибудь любви. Или ненависти, или чего угодно, только не высоконаучного тумана, напущенного профессиональным писателем биографий.

Так что я плел словеса и тянул время, танцуя меж двух претендентов, плохо спал и иногда мечтал набраться храбрости и сделать то, на что я был в полном праве, а именно — швырнуть весь этот мусор в огонь. Но у меня не поднималась рука на прекрасные письма художников.

Чего стоила вся сокровищница Корниша? Артуру Корнишу было легко — он имел дело только с деньгами, а их можно описывать в терминах, понятных налоговым инспекторам и суду по делам наследства. Произведения искусства — совершенно другой коленкор; налоговикам нужны были цифры, которые они могли бы вписать в нужное место на клочках бумаги, представляющих интерес единственно и исключительно для налогового ведомства. Мы не могли воспользоваться страховыми описями: Корниш никогда

ничего не страховал. Какой смысл страховать вещь, которую невозможно заменить? Я без труда выпросил у Холлиера и Макварииша разрешение связаться с Торонтовским отделением «Сотби» и пригласить их для оценки коллекции. Но тут опять начались проблемы. Оценщики знали свое дело и могли сказать, сколько можно будет выручить за всю коллекцию, если внести все вещи в каталог и продавать по отдельности с аукциона правильно выбранным покупателям. Но оценка для апробации завещания — это несколько другое: Артур Корниш не собирался допускать, чтобы налог на наследство исчисляли на основе нынешних непомерно раздутых цен на произведения искусства. То, что Корниш довольно много всего оставил общественным учреждениям, вовсе не так сильно снижало сумму налога, как следовало бы, по мнению Артура.

Это был тяжкий труд, и он мешал мне делать то, за что университет платил мне деньги.

2

Основное оправдание моего существования, я полагаю, в том, что я хороший учитель. Но чтобы хорошо учить, мне нужен определенный душевный покой, потому что я не просто отбарабаниваю лекции, составленные давным-давно, — я втягиваю свою группу (всегда небольшую) в разговоры и обсуждения; моя работа различна год от года, и результат тоже различается, потому что от способностей и прилежания студентов зависит так же много, как и от меня. Посмертные требования Корниша налагали на меня слишком тяжкое бремя забот, и я, как преподаватель, был в нелучшей форме.

А мне сейчас особенно хотелось учить хорошо, потому что впервые за несколько лет мне достался крайне способный ученик, а именно — та самая Мария Магдалина Феотоки, которую я заметил на похоронах Корниша. Я спросил, знала ли она покойного, и она сказала, что нет, но профессор Холлиер предложил ей прийти на похороны, так как, по его словам, в один прекрасный день она, может статься, будет многим обязана Корнишу. По-видимому, Холлиер ее особенно выделял, и

это меня удивило, потому что он, как правило, почти не общался со студентами вне лекций и семинаров. Я решил, что его, как и меня, привлек ее ненасытный аппетит ученого; она, кажется, жаждала знаний ради них самих, а не ради карьеры, к которой они могли привести. В силу своего богословского образования я задумался, не принадлежит ли она к числу избранных от науки; конечно, я шутил, но лишь отчасти. Как известно, Кальвин делил человечество на избранных ко спасению и обреченное большинство; мне кажется, со знанием та же картина: одним людям знания даются сами, а другим для их приобретения нужно тяжело трудиться. Когда имеешь дело с избранными от науки, то кажется, словно бы не учишь их, а напоминаешь им то, что они уже знают; именно так было с Марией, и она меня завораживала.

Конечно, она была подготовлена к изучению новозаветного греческого лучше, чем средний студент; она хорошо знала древнегреческий и, вместо того чтобы считать язык Нового Завета упадочным, видела его, как 011 есть: величественными руинами. Так греческая статуя с отбитым носом, без рук, без гениталий все же остается греческой и прекрасной даже в поврежденном виде.

Более того, именно на этом языке святой Павел и четыре евангелиста повествовали о священном и величественном.

Но зачем он Марии? Она вскользь упомянула, что изучает Рабле, который знал греческий и как священник, и как гуманист во времена, когда Церковь не поощряла изучение греческого. Вот ведь забавно, сказал я на семинаре: в эпоху Возрождения новооткрытые труды классиков по-настоящему оценили вне университетов; в университетах же не изучали не только Платона, возмутителя спокойствия, но и добропорядочного Архимеда с его научными открытиями и архимедовыми спиралями. Мои слова рассмешили двух ультрасовременных студентов, детей эпохи вседозволенности, — видимо, слово «спираль» вызвало у них какие-то сугубо свои ассоциации. Но Мария поняла, о чем я говорил: университеты не могут быть универсальнее тех, кто учит, и тех, кто учится в их стенах. Людей, способных выйти за рамки модных учений своего века, очень мало, и мне казалось, что Мария может стать одной из них. Я верил, что как учитель способен помочь ей в этом.

Я напомнил себе, что опасно заводить любимчиков среди студентов. Но учить Марию было

все равно что бросать горящие спички в нефть, а остальных — все равно что пытаться развести костер из сырых дров. Жаль, что Корниш забирает у меня столько энергии.

Еще и потому жаль, что меня сильно захватила идея «Нового Обри». Слова Эллермана заронили мне в душу искру, и я хотел раздуть ее в пламя.

Непритязательные заметки о разных мелочах из жизни наших ученых современников — вот что он предложил. Но с чего начать? Найти в университетах эксцентричных ученых — проще простого, если под эксцентриком понимать человека, склонного к чудачествам. Но подлинный эксцентрик — тот, кто стоит в стороне от модных наук своего века, и, быть может, зачинатель новых наук будущего — более редкая птица. Они редко пользуются популярностью, потому что черпают силы из источника, непонятного современникам. У меня были причины считать таким человеком Холлиера; нужно воспользоваться особой возможностью, предоставленной Корнишем, и изучить Холлиера как следует. Но меня привлекали люди, чья эксцентричность была более зрелищной, *психус академикус,* как называли их студенты; я обожаю шарлатанов. А в лице Эркхарта Макварииша мне представился

прекрасный экземпляр шарлатана.

Нельзя сказать, что он не ученый. У него хорошая репутация специалиста по Ренессансу. Но он нескромен; насколько я знаю, он единственный человек в научном мире, имеющий наглость именовать себя «великим ученым». Когда-то он руководил Центром исследований Ренессанса, и одно время даже казалось, что он выдвинет центр на видное место в мировой науке. Маквариш заманивал к себе способных студентов, но его не интересовали их попытки встать на собственные ноги; он использовал их как высококвалифицированных помощников, и они поняли, что возможности защититься у них не будет. Когда они предъявили Макваришу претензии, он заявил, что любой, кто с ним работал, может получить любую научную должность где угодно в силу одного этого факта. Им не понадобится никакая диссертация, и вообще дурацкие докторские степени каждый год присваиваются патентованным глупцам. Звание ученика Маквариша — гораздо лучше любой ученой степени. Но студенты не поверили ему по самой веской причине: потому что он врал. Так что Эрки сняли с должности, но университету это дорого обошлось: Эрки перешел в небольшую

высокооплачиваемую группу заслуженных профессоров, слишком великих, чтобы заниматься административной работой. Увольнение методом ударной возгонки.

Если университет захочет уволить профессора с постоянной должности, будет страшный скандал. Научные деятели обожают собачиться между собой, но терпеть не могут скандалов. Всеобщее мнение сошлось на том, что единственный способ избавиться от Эрки — убить его. Возможно, декан и тешил себя какими-то планами в этом направлении, но точно не хотел, чтобы его поймали. В общем и целом Эрки не был плохим ученым. Он просто был невыносим, а это почему-то не считается уважительной причиной для убийства. Так что Эрки занял пост заслуженного профессора — с необременительными обязанностями, преданной секретаршей и немногими студентами.

Но его это не удовлетворило. Он обиделся на университет и, как сам выражался, «затаил на него зуб». Свою злобу он высказывал в своеобычной шутливой манере горстке своих любимчиков, или, как их еще называют студенты, прихвостней. Я слыхал, как некоторые из них поливают грязью Корниша и его завещание.

«Миллион долларов! — презрительно говорили они. — Что такое в наши дни доход с миллиона долларов — оклад для парочки посредственных профессоров, как будто университету не хватает посредственностей». Нетрудно было догадаться, откуда это идет. Да, обязательно надо вставить Макварища в книгу.

Уже прошла добрая часть октября, когда Эрки пригласил меня к себе на вечеринку. Он устраивал приемы каждые две недели, обычно для студентов и младших преподавателей. Особо прогремела вечеринка, на которой почетным гостем был парикмахер Эрки: у Эрки была прекрасная серебристая шевелюра, уложенная и ухоженная, и ходили слухи, что он спит в сеточке для волос. Но я давно вынужден был признать, что обладаю не шекспировским высоким лбом, а всего лишь обширной лысиной, так что, говоря о шевелюре Эрки, мне надо следить за собой, чтобы не впасть в грех зависти. На предстоящую вечеринку пригласили и Холлиера, и наверняка она имела отношение к Корнишу.

Так и вышло, ибо на вечеринке оказался и Артур Корниш — единственный из гостей, не имевший отношения к научному миру. Мы собрались довольно пунктуально, в пять часов, поскольку на

приглашениях элегантным каллиграфическим почерком Эрки было написано: «Херес — с 5 до 7 часов вечера», а в нашем университете пунктуальность очень ценят. Конечно, наливали не только херес: самой большой популярностью пользовались джин и шотландский виски, но «херес», по мнению Эрки, звучало элегантнее, чем «коктейли».

Эрки жил в хороших апартаментах, где в дорогих книжных шкафах стояли прекрасные книги. Его жилище украшали несколько отличных картин на расхожие сюжеты эпохи Возрождения: Мадонны, святые Иоанны, обнаженная женщина, достаточно рахитичная, чтобы принадлежать кисти Кранаха, но определенно не в его стиле, и две-три неплохие старинные статуэтки. Берегись зависти, сказал я себе, ибо я люблю хорошие предметы искусства и сам владею несколькими, хотя и похуже. У Эрки был прекрасный бар, переделанный из церковного шкафа для облачений, и его приятель-студент щедро разливал оттуда напитки. Восхитительный фон для Эрки.

А вот и он сам, стоит посреди комнаты в домашней куртке, или курительной куртке, или как это называется… прекрасного бутылочно-зеленого шелка. Пусть менее значительные шотландцы

довольствуются пиджаками из шотландки, но Эрки не таков. Он презирал шотландку как романтическую фальсификацию, о которой сроду никто не слыхал, пока труды сэра Вальтера Скотта не привлекли в Шотландию поток туристов. Эрки любил играть высокородного шотландца. Его шотландский акцент тоже был высокородным: легкий намек на мелодичную речь горца и едва заметная раскатистость «р». Ничего похожего на простонародный выговор из стихов Роберта Бёрнса.

Я удивился, заметив Марию. Эрки держал ее под руку и указывал на висящий над каминной полкой портрет мужчины в кружевном галстухе по моде семнадцатого века и зеленом сюртуке того же цвета, что и куртка хозяина дома. Нос на портрете был такой же длинный и лицо такое же красное, как у самого Эрки.

— Вот, дорогая, этот человек вам наверняка придется по душе. Мой великий предок сэр Томас Эркхарт, первый и, без сомнения, величайший из переводчиков Рабле. Привет, Симон, вы знакомы с Марией Феотоки? Она драгоценна по двум причинам: как несравненная красавица и как женщина-специалист по Рабле. В старину говорили, что порядочная женщина не может

читать Рабле. Мария, вы порядочная женщина? Надеюсь, что нет.

— Я не читала перевода Эркхарта, — ответила Мария. — Я предпочитаю французский оригинал.

— Но вы столько теряете! Великий памятник научной мысли и английской литературы семнадцатого века! И какое богатство языка! «Обозвали их беззубыми поганцами, рыжими-красными — людьми опасными, ёрниками, за…рями, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластенами, пентюхами, бахвалами, негодяями, дубинами, выжигами, побирушками, задирами, франтами — коровьи ножки, шутами гороховыми, байбаками, ублюдками, балбесами, обалдуями, обормотами, пересмешниками, спесивцами, голодранцами, сраными пастухами, дерьмовыми сторожами, присовокупив к этому и другие оскорбительные названия…»![20] Как мы только обходимся безо всех этих слов? Обязательно прочитайте! Позвольте мне преподнести вам экземпляр в подарок. И еще скажите, дорогая: это правда, что бедра благородной дамы всегда прохладны? Так

---

[20] Примечания и комментарии: 20

«Обозвали их беззубыми поганцами… присовокупив к этому и другие оскорбительные названия…» — Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Том I, глава XXV. Пер. Н. М. Любимова.

говорит Рабле, и я уверен, вы знаете, почему он так говорит, но правда ли это?

— Не думаю, что Рабле хорошо разбирался в благородных дамах, — ответила Мария.

— Вероятно, вы правы. Но мой предок уж точно в них разбирался. Он был великосветским вельможей до мозга костей. Знаете ли вы, что, по слухам, он умер от восторга, узнав о восстановлении на троне его богоизбранного величества короля Карла Второго?

— Я даже, кажется, догадываюсь о природе этого восторга, — ответила Мария.

— Ого! *Туше, туше!*[21] Вы заслужили коктейль — чтобы, может быть, самой изведать долю того же восторга.

Мария направилась к бару, не дожидаясь, пока Эрки ее туда отведет. Эта молодая особа явно владеет собой, и ее не впечатляет шумная, пошловатая галантность Эрки. Я представил Марию Корнишу, чужому на этом сборище, и он вызвался принести ей то, что она пьет. Она попросила кампари. Для студентки необычный и довольно дорогой напиток. Я присмотрелся к ее одежде, хотя не очень разбираюсь в таких вещах.

---

[21] Примечания и комментарии: 21
Touché *(фр.)* — попадание в фехтовании.

Подошла профессор Агнес Марли:

— Вы слышали про беднягу Эллермана? Боюсь, ему уже недолго осталось.

— Правда? Надо пойти его навестить.

— К нему не пускают.

— Очень жаль. Он мне кое-что сказал пару недель назад… предложил один проект. Я хотел дать ему знать, что я взялся за работу.

— Может быть, если поговорить с его женой…

— Ну конечно. Я именно так и сделаю. Мне кажется, ему будет приятно об этом узнать.

К нам подошел Артур Корниш, а с ним Мария.

— Я слышал, Мюррей Браун опять пинает дядю Фрэнка, — сказал он.

— За что?

— За то, что у него было много денег и кучу из них он оставил университету.

— Я слышал, миллион «Душку»?

— Да. И еще несколько миллионов разным колледжам и отдельным кафедрам.

— И что же Брауну не так?

— То же, что всегда. Почему у одних людей много денег, когда у других так мало? Какое право имеет человек распоряжаться, куда пойдут его деньги, если они нужнее в другом месте? Какое право имеет университет получать деньги поми-

мо государственных, если они тратятся на всякую грязь и чепуху? Вы же знаете Мюррея; он друг простого народа.

К нам присоединился Эрки:

— Мой великий предок назвал бы Мюррея Брауна прощелыгой или, быть может, дерьмовым пастухом.

— Лучше не упоминать о дерьме, — сказал Артур. — Это одна из любимых тем Мюррея: он прослышал, что в университете есть ученый, который работает с человеческими экскрементами, и хочет знать, откуда взялись деньги на этакую гадость.

— Откуда он знает, что это гадость? — спросил Холлиер.

— Он не знает, но может убедить в этом других. Он увязывает это с вивисекцией, это его другая любимая тема: пытки, а теперь еще и размазывание всякой грязи. И на это тратятся народные деньги?! Ну, вы знаете его вечный припев.

— А где он все это говорил?

— На каком-то митинге; он уже взялся за работу в преддверии очередных выборов.

— Это, должно быть, про Ози Фроутса. — Эрки сдавленно захихикал. — Ози уже несколько лет возится с человеческими фекалиями. Странное

занятие для бывшего великого футболиста. Хотя странное ли?

— Я думала, демагоги любят естественные науки, — сказала Агнес Марли. — Из них можно извлечь практическую пользу. Нападают они обычно на гуманитарные дисциплины.

— О, про гуманитариев он тоже не забыл. Он рассказал про какую-то девушку, которая хвалилась, что она девственница, и в доказательство носила воду в решете. Что это за игры в университете, черт побери, вопросил он с праведным, с его точки зрения, гневом.

— О боже, — сказала Мария, — это он про меня.

— Что это вы творите, дорогая? — спросил Эрки.

— Делаю свою работу. Я ассистент преподавателя, и мне приходится читать инженерам-первокурсникам лекции по истории науки. Это непросто: они не верят, что у науки есть какая-то история, для них все происходит здесь и сейчас. Так что мне приходится читать как можно интересней. Я рассказала про девственных весталок — и как они доказывали свою девственность тем, что приносили воду из Тибра в решете. Я подзадорила нескольких девушек с курса — у меня огромный курс, сто сорок человек, — и кое-кто

не побоялся и попробовал, и у них ничего не получилось. Было много смеху. Тогда я пронесла воду в решете шагов двадцать и не пролила ни капли, и все долго ухали и ахали, и тут я дала им посмотреть на решето. Конечно, мое решето было смазано жиром, а это доказывает, что девственные весталки неплохо разбирались в коллоидной химии. Все прошло на ура, и теперь студенты едят у меня из рук. Видимо, кто-то из них об этом рассказал, а этот Мюррей, как его там, подхватил.

— Умно, — сказал Артур, — но, боюсь, чересчур умно.

— Да, — подхватила Агнес Марли. — Первая заповедь что для преподавателя, что для студента: не будь чересчур умным, иначе не оберешься неприятностей.

— Но неужели это и правда действует? — спросил Эрки. — Я принесу сито из кухни, и мы попробуем.

Он с большой помпой принес сито, намазал его сливочным маслом, умудрился налить туда несколько капель воды и сделал лужу на ковре.

— Но конечно, я не девственник, — заметил он, хихикая чересчур игриво.

— И еще вы использовали неправильный

жир, — заметила Мария. — Вы не подумали, что могло оказаться под рукой у весталок. Попробуйте ланолин, и, может быть, вы все же окажетесь девственником.

— Нет, нет, я лучше поверю, что это истинная проба, — возразил Эрки. — Мне приятней думать, что вы, дорогая Мария, действительно девственница. Ведь это так? Ну скажите, тут все свои. Вы девственница?

Студент-бармен зареготал: судя по его виду, он был провинциалом и сейчас, наверное, думал, что вращается в высшем свете.

— Что такое, по-вашему, девственность? — спросила она. — Один канадец определял девственность как ситуацию, когда душа управляет телом, а не наоборот.

— О, ну если вы собрались говорить о душе, тут я не специалист. Отец Даркур нам об этом больше порасскажет.

— Думаю, весталки очень хорошо понимали, что делают, — отозвался я. — Простой народ требует простых доказательств для вещей, которые вовсе не просты. Мне кажется, что писатель, которого вы упомянули, мисс Феотоки, говорил о целомудрии, которое является свойством духа; девственность же — это технический, телесный

атрибут.

— Ох, Симон, какой же вы иезуит, — сказал Эрки. — По-вашему, выходит, что девушка может пуститься во все тяжкие, а потом сказать: «На самом деле я, конечно, целомудренна, потому что мысленно держала фигу в кармане»?

— Целомудрие не исключительно женское свойство, — заметил я.

— В общем, мне удалось достучаться до инженеров, — продолжала Мария. — Они почти поверили, что науку изобрели до их появления в университете и что, может быть, глупые люди, жившие в старину, все-таки кое-что знали. Знаете, ведь тогда было много подобных испытаний. Одно из них позволяло определить мудреца. Помните, профессор Маквариш?

— Я прибегну к классической отговорке ученого, дорогая Мария: это не моя специальность.

— Если вы мудрый человек, это определенно ваша специальность, — сказала Мария. — В старину считали, что мудрец может поймать ветер сетью.

— Что, сеть надо было намазать жиром?

— Нет, это метафора: она значила «постигнуть осязаемое, но невидимое», но, конечно, это мало кто понимал.

Холлиеру во время этого диалога было явно не по себе, а теперь он поспешил сменить тему:

— Отвратительны эти нападки на Фроутса: он очень талантливый ученый.

— Но эксцентричен, — сказал Эрки. — Наш Из-Дерьма-Конфетку, несомненно, эксцентричен, а вы знаете, какой политический капитал можно сколотить нападками на эксцентричного человека.

— Очень талантливый ученый, — продолжал Холлиер, — и мой большой друг. Моя работа и его тесно связаны, но дешевый демагог вроде Брауна этого никогда не поймет. Думаю, мы с Фроутсом оба пытаемся поймать ветер сетью.

3

На приемах с коктейлями я вечно порчу себе аппетит разнообразными аппетитными закусками. Поэтому от Эрки я направился прямо к себе, по дороге купив газету, чтобы посмотреть, считаются ли нынче новостями нападки Брауна на университет.

Официально я числюсь на кафедре богословия в «Душке», но живу в другом месте. У меня комнаты в Плоурайт-колледже, это совсем рядом. Здание относительно современное, но построено не в скудном, человеконенавистническом стиле современной университетской архитектуры; мои комнаты расположены в надвратной башне, так что из окон я вижу и внутренний дворик Плоурайта, и большой, раскинувшийся во всю ширь пестрый университетский городок.

Кухни у меня нет, но есть электроплитка и небольшой холодильник в ванной. Я сделал себе тосты и кофе, достал банку меда. Не очень подходящая еда для человека, начинающего полнеть, но мне чужда современная лихорадочная погоня за стройностью. Еда помогает мне думать.

Речь Брауна была изложена в газете не цели-

ком, но довольно подробно. Я встречал Мюррея Брауна, когда служил приходским священником — до того как занялся научной работой. Он был озлобленным человеком и дал выход этой злобе, отправившись в крестовый поход во благо бедняков. Думая об обидах, нанесенных малоимущим, Браун мог всласть предаваться гневу, как угодно выходить из себя, приписывать низкие мотивы любому, кто с ним не соглашался, и сбрасывать со счетов как несущественное все, чего не понимал. Консерваторы его ненавидели, а либералы стыдились, так как он обладал чрезвычайно узким кругозором и не имел определенных целей; но он находил достаточно единомышленников, чтобы снова и снова избираться в парламент провинции Онтарио.[22] Он вечно с чем-нибудь яростно боролся, бичевал те или иные прегрешения, а теперь вот обратил взор на университет. В своем примитивном стиле он был довольно ловким полемистом. Неужели мы тратим такие огромные деньги для того, чтобы профессора

[22] Примечания и комментарии: 22

...чтобы снова и снова избираться в парламент провинции Онтарио. — Канада состоит из десяти провинций и трех территорий. Каждая провинция имеет свой парламент, свое правительство (премьер-министр, министры), своего лейтенант-губернатора, свой бюджет, свои суды и т. д. Город Торонто, где происходит действие книги, относится к провинции Онтарио.

возились в дерьме, а девицы несли похабную чушь в аудиториях? Конечно, нам нужны врачи, медсестры, инженеры, может быть, даже юристы. Нужны экономисты — в разумном количестве — и учителя. Но нужны ли нам всякие излишества? Слушатели соглашались, что нет.

Интересно, счел бы Мюррей излишеством меня? Несомненно. По его понятиям, я дезертир. Мюррей считал, что задача священников — работать с бедняками: пусть не так эффективно, как специально обученные социальные работники, но уж как могут и незадорого. Я полагаю, что представление о религии как образе мышления и чувства, который может забирать все интеллектуальные силы здорового человека, было Мюррею совершенно чуждо. Но я отработал свое на посту священника в мюрреевском смысле и обратился к преподаванию в университете, потому как убедился, если воспользоваться любимой формулировкой Эйнштейна, что серьезные ученые-исследователи — единственные по-настоящему верующие люди в наш глубоко материалистический век. Узнав, насколько трудно спасать чужие души (да и спас ли я на деле хоть одну душу за девять лет приходской работы среди бедных и не столь бедных?), я хотел обра-

тить все время, какое у меня было, на спасение собственной души, заняв должность, которая оставляла бы мне время для главной работы. Мюррей назвал бы меня эгоистом. Но так ли это? Я изо всех сил тружусь над великой задачей по отношению к человеку, наиболее близкому ко мне и наиболее податливому к моим усилиям, и, быть может, своим примером мне удастся убедить еще горстку людей сделать то же самое.

О нескончаемый труд! Вначале не знаешь совсем ничего, кроме разве того, что наверняка заблуждаешься, а истинный путь скрыт густым туманом. Юнцом, еще полным надежд, я обратил свои силы на подражание Христу и как дурак вообразил, что это значит имитировать Христа в любой мелочи, наставлять людей на правый путь (когда я сам не знал, где право, где лево) и как можно чаще получать заушения и поношения. Нынче людей уже не распинают в поддержание общественного порядка, но, по крайней мере, я мог добиваться, чтобы меня распяли психологически, и добился, и висел на кресте, пока до меня не начало доходить, что я просто невыносим для окружающих и ни капли не похож на Христа

— даже на нудного *détraqué*[23] Христа, порожденного моим незрелым воображением.

Мало-помалу тяжелая работа на приходе поставила мне мозги на место, я понял, каким дураком был, и стал «христианином-тяжелоатлетом»: я увлеченно работал в мужских клубах и клубах для мальчиков и заявлял во всеуслышание, что главное для христианина — дела, а вера сама процветет в спортзалах и кружках по изучению ремесел. Может, для кого-то так оно и было, но не для меня.

Постепенно до меня дошло, что подражать Христу не значит устраивать инсценировку Страстей Христовых бродячей труппой со мной, чудовищно плохим актером, в главной роли. Быть может, подражать Христу следует в Его твердом приятии своей участи и в том, что Он не отступил от нее, даже когда эта участь привела Его к позорной смерти. Именно цельность Христа осветила такое множество миллионов жизней, а моя задача — найти и явить цельность Симона Даркура.

Не профессора его преподобие Симона Даркура, хотя и этой роскошно титулованной фигуре приходилось отдавать должное, поскольку

---

[23] Примечания и комментарии: 23
Испорченный *(фр.)*.

университет платит ему и за то, что он преподобие, и за то, что он профессор. И священник, и профессор будут функционировать вполне удовлетворительно, если Симон Даркур, весь целиком, будет жить, серьезно осознавая, кто он такой, и говорить с внешним миром, исходя из этого осознания, как священник и как профессор и всегда — как человек, смиренный перед Богом, но не обязательно всегда смиренный перед ближними.

Вот истинное подражание Христу, а если Фоме Кемпийскому оно не нравится, это потому, что Фома Кемпийский — не Симон Даркур. Но старик Фома мог стать и другом. «Если себя не можешь сделать таким, каким желаешь, как можешь сделать, чтобы другой был таков, как тебе угодно?»[24] — спрашивал он. Конечно никак. Но я решил, что суровая работа над собой, каковой я увлекался в молодости, молитвы и лишения (одно время я насыпал горох себе в ботинки и даже развлекался с бичом, пока моя мать его не обнаружила, — вообще был Полным Ослом, хоть и думал, что играю роль Долготерпеливого

[24] Примечания и комментарии: 24

«Если себя не можешь сделать таким, каким желаешь, как можешь сделать, чтобы другой был таков, как тебе угодно?» — Фома Кемпийский. О подражании Христу. Пер. К. П. Победоносцева.

Слуги) — все это чепуха. Я полностью бросил работать над собой снаружи и терпеливо ждал, когда судьба сама придаст мне нужную форму изнутри.

Терпеливо ждал! В душе — может быть, но университет мне платит не за терпеливое ожидание, и я вынужден был проводить занятия, готовить богословов к рукоположению, участвовать в куче комитетов и научных групп. Я вел насыщенную академическую жизнь, но находил время для того, что, как я надеялся, было духовным ростом.

Я обнаружил, что самая большая проблема — мое чувство юмора. Юмор Эркхарта Макварриша был равен безответственности и презрению к остальному человечеству, а мой — склонен ставить мир вверх тормашками, переворачивая вещи с ног на голову в самый неподходящий момент. Как преподаватель кафедры богословия, я вынужден исполнять определенные обязанности священника, а в «Душке» любят ритуалы. Я это полностью одобряю. Как там говорил Йейтс? «И что, как не обряд и не обычай, рождают чистоту и красоту?»[25] Но именно тогда, когда обряды и обычаи предписывали благоговение, на меня по-

[25] Примечания и комментарии: 25

«И что, как не обряд и не обычай, рождают чистоту и красоту?» — У. Б. Йейтс, из стихотворения «Молитва о дочери», пер. Анны Блейз.

рой нападала смешинка. Интересно, не этим ли страдал Льюис Кэрролл? Религия и математика, два царства, в которых юмор, кажется, совершенно не у дел, довели его до написания «Алисы». В христианстве нет места стоянию на голове и очень мало терпимости к юмору. Меня пытались убедить, что святой Франциск любил шутить, но я не верю. Возможно, он был всегда весел, но это нечто другое. Мне случалось задаваться вопросом: а не был ли святой Франциск самую чуточку не в себе? Он слишком мало ел, а это не обязательно ведет к святости. Сколько видений Царства Небесного было вызвано низким уровнем сахара в крови? (Я густо намазал медом третий тост.) По правде сказать, тому Симону Даркуру, которого я пытаюсь обнаружить в себе и выпустить на свободу, не чуждо свойство, которое можно назвать цинизмом, а можно — ясностью зрения, смягченной любовью к ближнему. Именно благодаря этому качеству я не преминул заметить, что портрет сэра Томаса Эркхарта, принадлежащий Эркхарту Макваришу и так удивительно на него похожий, был подмалеван для достижения нужного эффекта. Зеленый сюртук, волосы (парик) и большая часть лица остались неизменными, но кто-то явно поработал над портретным сход-

ством. Если поглядеть на картину под углом при ярком свете, подрисовка бросалась в глаза. Я кое-что понимаю в живописи.

Ох уж этот Эрки. Мне было неприятно, когда он приставал к барышне Феотоки насчет девственности и насчет бедер благородной женщины. Я нашел это место у себя в английском издании Рабле. Действительно, бедра оказались прохладные и влажные, потому что женщины, как утверждал автор, постоянно в неурочное время испускают мочу (интересно почему? кажется, сейчас они ничего такого не делают), потому что в том месте никогда не светит солнце и потому что его овевают исходящие из «расселины» газы. Мерзкий старикашка Рабле и мерзкий старикашка Эрки! Но Мария не растерялась. Молодец!

Но что за жалкий фигляр этот Эрки! Неужели вся его жизнь так же фальшива, как его «внешний человек»?

Разве эти мысли — в духе любви к ближнему? Ну что ж, апостол Павел говорит, что любовь — то и это, но нигде не утверждает, что она слепа.

Да, я определенно изменю настоящему Симону Даркуру, если не вставлю Эрки в свою книгу. И точно так же изменю, если не отыщу неправедно гонимого Озию Фроутса, которого я когда-то, в

дни его футбольной славы, хорошо знал, и не скажу ему что-нибудь ободряющее.

Второй рай III

1

— Нет, я не могу пообещать, что на этот раз не напьюсь. Молли, почему вы так ненавидите приятный душевный подъем?

— Потому что в нем нет ничего приятного. Он шумен, назойлив и обращает на себя внимание.

— Какое мещанство! От вас, ученого и раблезианца, я ждал большего. Я ожидал встретить свойственную настоящему ученому широту взглядов, раблезианский простор духа. Напейтесь со мной, и вас не будут заботить взгляды пошлой толпы.

— Я ненавижу пьянство. Мне слишком много приходилось его терпеть.

— Правда? Вот это откровение — первое, которое я от вас услышал. Молли, вы просто потрясающе скрытная девушка.

— Да, это так.

— Но это неестественно и, должно быть, вредно для здоровья. Молли, расстегнитесь чуть-чуть. Расскажите мне историю своей жизни.

— Я думала, это вы собирались мне рассказать историю своей жизни. Честный обмен. Я плачу за ужин — вы рассказываете.

— Но я не могу говорить в пустоту.

— Я не пустота; я прекрасно запоминаю все, что слышу, — пожалуй, даже лучше, чем то, что читаю.

— Интересно. Можно подумать, вы из крестьян.

— Любой человек — из крестьян, если вернуться назад на несколько поколений. Мне не нравится тут говорить. Слишком шумно.

— Вы же сами меня сюда привели. В эту студенческую рыгаловку, «Обжорку».

— Это вполне пристойный итальянский ресторан. И недорогой, притом что здесь хорошо кормят и порции большие.

— Мария, это чудовищно! Вы приглашаете на ужин несчастного, нищего человека — потому что так мы, обитатели «Душка», называем себя в молитве перед едой, *miseri homines et egentes*, — и заявляете ему в лицо, что это дешевая забегаловка, подразумевая, что кого-нибудь другого вы повели бы в заведение почище. Вы не ученый и не джентльмен, Мария, — вы зануда и невежа.

— Пусть так. Но грубостью вы меня не заставите плясать, Парлабейн.

— Брат Джон, с вашего позволения. Черт возьми, вы вечно боитесь, что вас кто-нибудь «заставит

плясать». Что вы имеете в виду? Прыжки вверх-вниз на упругой поверхности? «Скачку вдвоем», как сказал бы Рабле?

— Хватит, не будьте Макваришем. Любой мужчина, кое-как умеющий читать, запоминает пару гадких словечек из английского перевода Рабле, пробует их на женщинах и думает, что ему сам черт не брат. Мне это нужно как прыщ на жопе, если уж вам непременно хочется услышать раблезианское выражение. Когда я говорю «заставить плясать», я имею в виду то, что мужчины вечно проделывают с женщинами: заставляют их растеряться, ставят в неловкое положение, оскорбляют их свысока и благодушно помыкают ими. И я не собираюсь этого терпеть.

— Вы делаете мне невыразимо больно.

— Ничего подобного. Вы — прихлебатель высшей марки, брат Джон. Но мне плевать. С вами интересно, и я готова платить, чтобы слушать ваши рассказы. Я считаю, это честный обмен. Я же вам сказала: я терпеть не могу разговаривать в шуме.

— О, эта страсть чересчур цивилизованного человека к тишине! Совершенно неестественная. Зачатие человека обычно сопровождается определенным количеством шума. Первые девять

месяцев жизни нас носят в утробе под оглушительную какофонию: барабанный грохот сердца, бульканье и бормотанье кишок, которые, должно быть, шумят не хуже такелажа парусника, громкий смех матери, — вы можете себе представить, каково приходится крохотному капитану Немо, прыгающему вверх-вниз в водяном пузыре под сотрясения материнской диафрагмы? Почему дети шумны? Потому что выросли в шуме, в буквальном смысле этого слова. Взрослые сердятся на детей, когда те утверждают, что удобнее делать уроки при включенном радио, но дети лишь пытаются восстановить первозданный шум, в котором они учились быть всем — от комка клеток до рыбы, от рыбы до человека. Вкус к тишине — сугубо приобретенный, обусловленный. Тишина — это бесчеловечно.

— Что будете есть?

— Давайте начнем с большой порции креветок. Конечно, они будут из морозилки, но, раз уж я недостоин лучшего, предадимся третьесортной роскоши. И побольше очень острого соуса. Потом — омлет-фриттата с курицей. Потом спагетти, как в прошлый раз; они были вполне сносны, но принесите вдвое больше, и я уверен, что соус можно сделать поострее. Велите повару поло-

жить побольше перчиков — моя спутница за все заплатит. Потом сабайон, да глядите, чтоб в нем было побольше бухла. А на закуску — сыр, побольше сыру; чем козлиней и размазистей, тем лучше — я люблю сыр, который не стесняется заявить о себе. И еще как минимум один итальянский хлеб с хрустящей коркой, несоленое масло, какую-нибудь зелень — лучше редиску, если есть, от нее рыгается слаще; и чесночное масло, чтоб намазать то да се, не помешает. Кофе хорошенько вспеньте. А что до выпивки… Боже, ну и набор! Но жаловаться без толку; несите по бутыли орвьето и кьянти, да смотрите не охлаждайте орвьето, ибо Господь не на то его создал, и я такого не потерплю. А потом, ближе к делу, поговорим про «Стрегу». Давайте, живо.

Официантка покосилась на меня, и я кивнула.

— Я все правильно заказал, вы не находите? Хороший ужин должен быть зрелищем; эдвардианцы это понимали. Их трапезы были роскошным театральным действом, как пьесы Пинеро, с искусными приготовлениями, ожиданием, развязкой и смачным финалом. Хорошо скомпонованная пьеса; хорошо скомпонованный ужин. Съедобная драма. Потом, конечно, явились Шоу с Голсуорси и превратили театр и еду в нечто

возвышенное: из пьес пропали занимательные интрижки, а еду заменило варево из травы — с добавкой вареного яйца, если человек всерьез решил обожраться.

— Это такое вступление в историю вашей жизни?

— Практически что угодно может послужить вступлением в историю моей жизни. Ну хорошо: я родился в состоятельной, но честной семье, в сем богоспасаемом граде Торонто, сорок пять насыщенных событиями лет назад. Вы достаточно знаете историю, чтобы разрисовать фон: сгущаются тучи войны, Гитлер сидит враскоряку над миром, как Колосс Родосский, и, как обычно, политики не способны распознать негодяя даже вблизи; начинается война, и страх сжимает сердце, пока мать Британия отважно сражается в одиночку (хотя, конечно, французы и кое-какие другие народы с этим не согласятся). На сцену выходят американцы — громко, неуклюже и с опозданием. Наконец победа! Новый мир не очень уверенно встает из праха старого. Россия, союзник в военное время, снова становится врагом в мирное. Пока суть да дело, я ходил в школу, и в неплохую, потому что я не только кое-чему научился и довольно рано приобрел вкус к

философии, но и познакомился с блистательно богатыми мальчиками, такими как Дэвид Стонтон, и блестяще умными мальчиками, такими как ваш нынешний шеф Холлиер. Мы были друзьями и ровесниками — он старше меня на несколько месяцев; он думал, что я умней его, потому что говорю быстро и умею показать товар лицом, но я знал, что умный-то на самом деле он, хоть и не так ловко складывает слова. Он не оставил меня в очень трудное время, и я ему благодарен. Потом я отправился в университет, пронесся по небесам «Душка», подобно комете, и был настолько глуп, что имел наглость жалеть и немного презирать старину Клема, тяжкими трудами заслужившего кучку не очень блестящих наград.

Я наслаждался университетской свободой. Конечно, я понятия не имел, что такое университет: это не река, в которой можно удить рыбу, а океан, где юнцы должны купаться, отдаваясь приливам и течениям. Но я был рыбаком, и притом успешным. Клем вырастал в сильного пловца, готового к встрече с океаном, хотя я этого не понимал. Но все это слишком серьезные материи, а нам уже несут креветки.

Креветки почему-то напоминают мне о моих первых сексуальных подвигах. Я был невинным

юнцом и по причинам, о которых вы можете догадаться, глядя на мое изувеченное лицо, не осмеливался приближаться к девушкам. Но для определенного сорта женщин постарше преуспевающий молодой человек — все равно что валерьянка для кошки, и я попался на крючок Элси Уистлкрафт.

Вы слыхали про Огдена Уистлкрафта? Который теперь считается крупным канадским поэтом? В те годы он принадлежал к так называемым новым голосам и работал младшим преподавателем здесь, в университете. Элси, очень энергичная и совершенно бесстыжая, делала ему карьеру с огромной скоростью, но при этом у нее оставалось время на любовные приключения, которые, как она считала, приличествуют жене поэта. Так что однажды, когда Огги ушел читать свои стихи на каком-то вечере, она меня соблазнила.

С ее точки зрения, неудачно, потому что тогда как раз вошел в моду женский оргазм, а она такового не достигла. Дело в том, что Элси забыла запереть собаку, огромного пса по кличке Мэт, он увидел, чем мы занимаемся, страшно обрадовался и заинтересовался, и громко залаял. Элси пыталась заткнуть ему глотку, отвлеклась от главного, в критический момент Мэт ткнул меня

холодным носом в корму, и я слишком быстро достиг финала. Я так хохотал, что Элси пришла в ярость и отказалась попробовать еще раз. В следующие недели у нас получалось лучше, но я так и не забыл про Мэта, и вообще Элси не нравилось мое отношение ко всей этой истории. Элси считала, что супружескую неверность можно оправдать и освятить всепоглощающей страстью, но Мэт привык ассоциировать меня с интересными делишками и, даже будучи привязан снаружи, громко лаял все время, пока я находился в доме.

Тем не менее эта связь придала мне уверенности в себе, а то, что я наставил рога поэту, было бальзамом для моего самолюбия. В целом я имел неплохой успех, пока был в университете, но ни разу не, как это называют, влюбился.

Это случилось позже, когда я отправился в Принстон писать докторскую диссертацию и там полюбил одного юношу — беззаветно и безоглядно, поистине прекрасной любовью. Можно сказать, что это единственный прекрасный момент во всей моей биографии.

До того я был довольно незрелым в смысле чувств. Вечная университетская история, на которую вы так пуритански намекнули в прошлый раз, — гипертрофированный мозг и недоразвитое

сердце. Я считал, что очень развит в этом плане, потому что искал эмоции в искусстве — по большей части в музыке. Конечно, искусство — не эмоции; это воспоминание об эмоциях, выжимки былых чувств. Но для умного человека нет ничего проще, чем имитировать чувства, обманывая самого себя, потому что эмоции, порожденные искусством, очень похожи на настоящие. Эта любовь совершила революцию у меня в душе и, как многие революции, оставила по себе цепочку временных правительств, по очереди доказавших свою неспособность править. И, как часто бывает после революции, новая жизнь оказалась еще хуже прежней.

Не буду посвящать вас в детали. Я ему надоел, и все было кончено. Такое может случиться с любой парой, и если смерть еще хуже, то Господь поистине жесток.

Вот и омлет принесли. Еще орвьето? А я выпью. Мне нужно подкрепить силы для следующего броска.

Так начался мой спуск в ад. Я не драматизирую; подождите, увидите. Я вернулся сюда и устроился преподавать философию: это неплохая специальность, всегда можно заработать на хлеб с маслом. И «Душок» был счастлив заполучить обратно

одного из своих талантливых питомцев. Но счастья поубавилось, когда «Душок» уже больше не мог закрывать глаза на тот факт, что я втягиваю кое-кого из студентов на путь разврата и порока. Дети — ужасные ябеды; они любят, когда их совращаешь, но, кроме этого, любят исповедоваться и жаловаться. Полагаю, что и я вел себя не очень мило: когда их обуревало раскаяние, я над ними смеялся.

Так что «Душок» указал мне на дверь, я уехал на Запад и поработал преподавателем в паре мест, и там вышла точно такая же история, только быстрее. Не забывайте, это было еще до начала эры вседозволенности.

Мне удалось устроиться на преподавательскую работу в Штатах, как раз когда первые отблески эры вседозволенности озарили небосвод. К этому времени я уже катился по наклонной, потому что примитивные забавы с детишками не стерли памяти об истории с Генри и я довольно сильно пил. Стал алкоголиком, хотя сам не думал об этом именно такими словами. Но выпивка не решала моих проблем, так что я, по тогдашней моде, попробовал наркотики и увидел, что это хорошо. Мне действительно было хорошо. Я видел себя свободной душой и великим просветителем мо-

лодежи… Мария, ваше кольцо очень интересно мерцает каждый раз, как вы подносите вилку ко рту. Вам не кажется, что для девушки, угощающей друзей в «Обжорке», это довольно большой бриллиант?

— Это стекло, — ответила я, сняла кольцо и спрятала в сумочку.

Мне, конечно, не следовало его носить, но я надела его вчера на коктейли к Макваришу и не сняла после, когда Артур Корниш повел меня в ресторан. Кольцо мне нравилось, и я сегодня по рассеянности надела его снова, нарушив свое правило: никогда не носить его в университет.

— Врушка. Это очень хороший камень.

— Продолжайте, пожалуйста, рассказывать. Я зачарована.

— Как слушатель Старого Моряка? «Ему внимает, как дитя, им овладел Моряк».[26] Ну так вот, чтобы не затягивать, скажу сразу, что ФБР депортировало нашего Моряка обратно в Канаду из-за небольшого скандальчика, который вышел в американском университете, и не успел Моряк опомниться, как оказался в Британской Колумбии, в некоем заведении, где серьезно на-

---

[26] Примечания и комментарии: 26

«Ему внимает, как дитя, им овладел Моряк». — Из поэмы С. Т. Кольриджа «Старый моряк», пер. Н. Гумилева.

строенные и знающие свое дело люди пытались отучить его от выпивки и наркотиков. Вы знаете, как это делается? Тебе просто перекрывают доступ к наркотикам, фактически устраивают ознакомительную экскурсию в ад, и ты обливаешься потом, бредишь, катаешься по полу, а потом чувствуешь себя так, как, наверное, чувствуют себя очень глубокие старики, если им сильно не повезло. А для протрезвления тебя накачивают специальным препаратом и позволяют пить когда хочешь, только ты не хочешь, потому что от препарата тебе становится чудовищно плохо после выпивки, даже после рюмки хереса. Препарат называется — или назывался, когда мне его давали, — алкоголюнет. Уловили тончайший юмор? «Алкоголю — нет!» О, эти медики-юмористы! Потом, когда ты чист физически и в жутком состоянии душевно, тебя стараются вновь поставить на ноги в интеллектуальном плане. Для меня это оказалось хуже всего… О, слава богу, вот и спагетти! И кьянти… нет, нет, Мария, не беспокойтесь, я не впадаю снова в алкогольную зависимость, как это чрезвычайно неприятно называется. Просто позволяю себе немного расслабиться в дружеской компании. Я себя контролирую, не беспокойтесь.

Так на чем мы остановились… ах да, групповая терапия. Знаете, что это такое? Группа равных людей собирается и болтает о своих проблемах; можно говорить все, что в голову взбредет, о себе или о любом другом человеке, который что-нибудь сказал, и все это очень терапевтично. Позволяет избавиться от балласта. Настоящая оргия, только в психологическом смысле. Кровища на стенах. Конечно, я и на индивидуальные сессии ходил, к психотерапевту, но групповая терапия должна была сыграть роль волшебной палочки.

Беда лишь в том, что сотоварищи по группе не были мне ровней. Кто равен мне? Гениальные философы с головой, набитой всем подряд: от Платона до логических позитивистов, этих новейших вундеркиндов философского мира, и тому подобное. А меня окружал безнадежный кагал кающихся алкашей: агент по продаже автомобилей, выгнанный из «Киваниса»,[27] еврейская мамаша, чьи родные не желали прислушиваться к ее ценным указаниям, пара школьных учителей, которые, судя по их тупости, разве что

[27] Примечания и комментарии: 27

…агент по продаже автомобилей, выгнанный из «Киваниса»… — «Киванис» («Kiwanis») — всемирная сеть клубов, занимающихся благотворительной и просветительной работой.

обществоведение могли преподавать, пара бизнесменов, чьим богом был Маммон, и водитель грузовика, которого включили в группу, видимо, для того, чтобы он напоминал нам о необходимости смотреть на дорогу и не позволял оторваться от реальности. От чьей реальности? Точно не от моей. Так что бес противоречия сподвигнул меня выстраивать групповые встречи в хорошенькие узоры, еще сильнее вывихивая мозги бедным алкашам. Впервые за много лет я забавлялся по-настоящему.

Группа заявила протест, и мозгоклюй велел мне проявлять сострадание к братьям по несчастью. В его понимании это означало не оспаривать даже самые сомнительные заявления и принимать сопли жалости к себе как озарение свыше. Он был болван — пускай умелый, но все же болван. Но когда я ему об этом сказал, он пришел в ярость. Мария, послушайте моего совета: никогда не отдавайтесь в руки мозгоклюя, который ниже вас интеллектуально. И даже если это означает беспросветное страдание без помощи извне — все равно в конечном итоге так будет для вас лучше. Не все мозгоклюи умны, и они, совершенно определенно, не священники. Я стал подумывать о том, не лучше ли обратиться к священнику, но

тут сотрудники заведения сообщили мне: они сделали все, что могли, и для меня настала пора вернуться в мир. Иными словами, меня вышвырнули на улицу.

Где ищут хорошего священника? Я попробовал одного-другого, потому что у всех людей в душе есть сентиментальные местечки, и я все еще верил, что на свете существуют святые, чья добродетель мне поможет. Боже мой! Стоило им узнать, как я высокообразован, как стремителен в споре, как быстро нахожу доводы в подкрепление своих слов, они начали сами на меня опираться и рассказывать мне о своих бедах, ожидая ответа. Некоторые хотели расстричься и жениться. Что я мог сделать? Бежать! Бежать! Но куда?

Теперь у меня были кое-какие средства, поскольку мои родители умерли; хотя перед смертью они долго болели и эта болезнь поглотила значительную часть семейного состояния, у меня было достаточно денег, чтобы отправиться путешествовать, и куда же я поехал? На Капри! Да, на Капри, этот банальный символ разврата, хотя теперь он так кишит туристами, что грешники едва находят место погрешить; великая эра Нормана

Дугласа[28] давно прошла. Так что я отправился в светлый край златой весны, где песни Сафо небо жгли.[29] Правда, Сафо вытеснили со сцены красивые мальчики-рыбаки, готовые разделить с вами домик у моря за хорошие деньги и подарки, а иногда — озлиться и побить вас, просто так, для интереса. Как-то весной мне не повезло — один такой мальчик отправил меня в больницу на полтора месяца. Я вас шокировал?

— Тем, что вы голубой? Отнюдь.

— Увы, я не голубой; я унылый и убогий темно-серый. Я смотрю на голубых, и мне смешно: они делают из этого что-то глубоко мещанское и политизированное. Они все испортят своими криками про права, альтернативный стиль жизни «всякая любовь свята», «оба партнера должны быть чисты»… Они пытаются превратить старую добрую игру во что-то похожее на диетическую колу или кофе без кофеина — одна видимость, без сути. Убери тьму и опасность, и что останется? Чудачество: все равно что совать вот эти

[28] Примечания и комментарии: 28

Норман Дуглас (1868–1952) — английский писатель, известный романом «Южный ветер» (1917, рус. пер. 2004) и гомосексуальными наклонностями; долго жил на о. Капри.

[29] Примечания и комментарии: 29

…светлый край златой весны, где песни Сафо небо жгли. — Из поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан», пер. Т. Гнедич.

спагетти не в рот, а в ухо. Вот это точно выйдет альтернативный стиль жизни и, несомненно, извращение, но кого это будет волновать? Нет уж, мой грех должен быть Грехом с большой буквы, иначе он утратит всякое достоинство.

— Если вы предпочитаете мужчин, что мне до этого?

— Вовсе не предпочитаю, за исключением одной-единственной формы удовлетворения. Нет уж, не надо мне «гомоэротики» и ужасных, непостоянных, корыстных «королев», с которыми нашему брату приходится иметь дело; не надо мне борьбы за равноправие меньшинств и всякой чуши про альтернативный стиль жизни; не надо мне ни любви, что о себе молчит,[30] ни любви, которая громко объявляет о себе в комиссии по защите прав меньшинств. *Gnosce teipsum*, говорил дельфийский оракул, познай самого себя, и я себя знаю. Я грязный старый пидор и люблю все как есть — и грязь, и вонь. Но не просите меня любить людей. Они не моей породы.

— Знаете, брат Джон, судя по всему, на свете довольно мало людей вашей породы.

— Я не слишком привередлив: я прошу лишь

---

[30] Примечания и комментарии: 30

…любви, что о себе молчит… — Из стихотворения Альфреда Дугласа «Две любви», пер. А. Лукьянова.

ума и честности в вещах, которые по-настоящему важны.

— Этого достаточно, чтобы исключить большинство из нас. Но что же было дальше — как вы покинули Грецию и оказались в рясе?

— Вам не нравится моя ряса?

— Не то чтобы не нравится, но внушает некоторое недоверие. Помните у Рабле: «Никогда не доверяйте тем, кто смотрит через дырку в куколе»?

— Уж он-то знает, ведь он смотрел на мир через эту дырку почти всю жизнь. Мария, вы так и не объяснили, почему тратите столько времени на этого похабного женоненавистника, монаха-отступника. Как вы думаете, может, он был вроде меня?

— Нет. Он не очень любил женщин, хотя, по-видимому, терпел одну достаточно, чтобы зачать с ней двоих детей, и по-настоящему любил своего сына. Может быть, ему просто попадались не те женщины. Да, он знал крестьянок и придворных дам, но встречал ли он хоть одну умную, образованную женщину? Они в его кругу были редкостью. Нет, он не мог быть вроде вас, брат Джон, потому что он по-настоящему любил, по-настоящему радовался и уж точно не был при-

хлебателем при университете, как вы сейчас. Он любил учиться и не использовал свои знания как дубинку для избиения других людей, в отличие от вас. Нет-нет, вас нельзя поставить на одну доску с мэтром Франсуа Рабле. А что до монашества… ну расскажите мне, как вы стали монахом?

— Ага, вот и сабайон принесли! Значит, живем. Простите, я должен посетить комнату для джентльменов. Жаль, что вы не можете пойти со мной: у других джентльменов бывает неподражаемое выражение лица, когда монах шествует к писсуару и задирает рясу. А как они подглядывают! Хотят знать, что у монаха под рясой. Всего лишь более-менее чистые трусы, уверяю вас.

Он ушел, заметно шатаясь; люди с соседних столиков пялились на него, и он подарил им лучезарную улыбку, такую елейную, что они сочли за благо поскорей уставиться в свои тарелки.

— Вот так-то лучше! Да, ряса, — сказал Парлабейн, вернувшись. — Это сама по себе целая история. Видите ли, пока я был в Греции, я несколько опустился в свете: знакомые начали меня избегать, а мои приключения на пляжах — ибо я уже не мог снимать даже самый скромный рыбацкий домик — получили известность, которую, видимо, следует называть скандальной даже в нашем

толерантном обществе. Плохая репутация без денег, которые могли бы ее подсластить, — тяжкое бремя. В один прекрасный день я зашел в канадское консульство, чтобы узнать, нет ли для меня писем, — такое бывало редко, но иногда мне удавалось выпросить у кого-нибудь немного денег. И вдруг там действительно оказалось письмо. Причем — я до сих пор помню экстаз узнавания — от Генри. Письмо было длинное; во-первых, он признавал, что плохо со мной обошелся, и просил прощения. Во-вторых, оказалось, что он пережил все, что можно, ведя примерно ту же жизнь, что и я (хотя ему жилось легче, поскольку он был богат), и обрел нечто другое. Это нечто оказалось религией, и Генри был полон решимости впрячься в религиозную жизнь в составе монашеского ордена, ведущего работу среди самых несчастных людей. Боже, какое это было прекрасное письмо! И в заключение он предлагал послать мне денег на билет, если нужно, чтобы я приехал к нему и решил, хочу ли взвалить на себя те же обеты.

Надо полагать, для консульских работников это было зрелище — я рыдал и не мог ничего сказать. Но наконец все как-то прояснилось, и мне удалось выпросить у самого консула денег, чтобы послать каблограмму Генри. Я обещал вернуть

долг немедленно, как только Генри пришлет денег, — консулам приходится держать ухо востро с людьми вроде меня, чтобы не остаться с пустым карманом.

Несколько дней я чувствовал, что познал настоящее раскаяние и искупление; когда наконец пришла ответная каблограмма и гарантия кредита в банке, я сделал нечто впервые в жизни: пошел в церковь и дал обет Богу, что буду жить в благодарности за Его великое милосердие, что бы ни случилось со мной дальше.

Этот обет был для меня священен, и всего лишь через несколько дней Господь сурово испытал меня. Я возвращался в Северную Америку через Англию, где мне нужно было забрать кое-какие вещи — в основном книги по специальности, — и в Лондоне получил другую каблограмму. Генри был мертв. Без объяснений, хотя потом, когда я выяснил, что случилось, у меня не было сомнений, что он покончил с собой.

Эта новость привела меня в отчаяние, но не смертельное. Потому что, видите ли, у меня оставалось письмо Генри, со словами раскаяния и заботы обо мне, и это не дало мне окончательно сойти с ума. Кроме того, я знал, что собирался сделать Генри и что я сам обещал Богу в той

греческой церкви. Я стану монахом и посвящу жизнь служению беднякам и несчастным. Это будет жертва за мои собственные тяжкие ошибки и приношение в память Генри.

Но как стать монахом? Ходишь, ищешь, кто согласен тебя принять, а это вовсе не так просто, ибо религиозные ордена подозрительно относятся к людям, вдруг возжелавшим монашеской жизни: они не хотят, чтобы в них видели альтернативу Иностранному легиону. Но наконец меня принял Орден священной миссии: я просился в англиканские группы, потому что хотел сразу попасть в монахи, избегая нудной процедуры перехода в католичество. Кое-какие данные сыграли в мою пользу: я уже был крещеным и мое образование *головокружительно* превышало нужный уровень. Я прошел собеседование с провинциалом ордена в Лондоне; у отца провинциала были положительно самые большие брови, какие я видел в своей жизни, и из-под этих бровей он смотрел так, что смирял даже меня. Впрочем, я и хотел смиряться. Кроме того, я нашел его слабое место: он любил шутки и игру слов, и я — с величайшим почтением, честное слово, — развел его на несколько смешков, точнее, безмолвных сотрясений плеч, потому что он смеялся бесшумно. Через

несколько дней я уже ехал в Ноттингемшир с крохотным чемоданчиком вещей, которые мне позволили считать своими, — гребенкой, щеткой для волос, зубной щеткой и тому подобным. Отец настоятель, кажется, был мною очарован не больше, чем отец провинциал, но меня взяли на испытательный срок, наставили, конфирмовали и со временем сделали послушником.

Жизнь в монастыре была именно тем, чего я искал. Головной монастырь располагался в большом старом викторианском доме, к которому пристроили часовню и разные другие необходимые помещения. На нас лежала нескончаемая работа по хозяйству, которую нужно было делать, и притом хорошо.

Тот, кто наводит чистоту,
Твоим законам внемлет, — [31]

так нас учили об этом думать. Мы не только наводили чистоту в помещениях, но ковырялись в огороде — в монастыре ели овощи в огромных количествах из-за всех этих постных дней — и делали другую черную работу. При монастыре была школа, и мне поручили немножко препода-

[31] Примечания и комментарии: 31

Тот, кто наводит чистоту, / Твоим законам внемлет… — Из стихотворения Джорджа Герберта «Эликсир», пер. Вл. Федорова.

вать, но ничего такого, что имело бы отношение к вероучению, философии и другим центральным вещам в жизни ордена: мне достались латынь и география. Я должен был посещать занятия по теологии — не теологии как части философии, а богословию, если можно так выразиться, ради него самого. И все это было натянуто на каркас ежедневного монашеского молитвенного правила.

Вы его знаете? Вы не поверите, сколько можно молиться. Служба первого часа в шесть пятнадцать, потом утреня в шесть тридцать, малая месса в семь пятнадцать, после завтрака — служба третьего часа в восемь пятьдесят пять, а за ней двадцать минут духовных упражнений. Потом мы работали как черти до молитв шестого часа, которые начинались в двенадцать пятьдесят пять, потом был обед и снова работа до чаю, который начинался в пятнадцать тридцать, а в пятнадцать пятьдесят — молитва девятого часа. Потом можно было расслабиться — поиграть в теннис или шахматы — и покурить. После ужина была вечерня в девятнадцать тридцать, потом уроки, и день завершался повечерием, которое начиналось в двадцать один тридцать.

Вы, кажется, очень молчаливая девушка. Вам

бы в монастыре понравилось. В обычные дни у нас было принято малое молчание — с девяти тридцати до службы шестого часа — и большое — от повечерия до девяти тридцати следующего утра. В Великий пост мы молчали и с вечерни до повечерия. Можно было говорить в случае крайней необходимости — скажем, если тебя изувечил бешеный бык, — но во всех иных случаях мы обходились языком знаков, которым не должны были злоупотреблять (под контролем собственной совести). Я скоро нашел лазейку: устав ордена не запрещал писать, и мне часто влетало за передачу записок во время служб.

Службы требовали определенных умственных усилий, потому что приходилось изучить монастырский часослов, отличать простой праздник от двойного и полудвойного и знать назубок все прочее, что нужно монаху. Хотите, я расскажу вам все про общую службу апостолам вне пасхального периода? Хотите услышать правила относительно пользования велосипедами? Хотите, я опишу, как выглядит «почтительная и внимательная поза»? Это значит, что нельзя сидеть нога на ногу во время богослужения и нельзя подпирать рукой голову, даже если она вот-вот отвалится от страшного недосыпа.

И конечно, никакого секса. Школьники должны были знать свое место, а монахам и послушникам строго-настрого наказывали не допускать никакой фамильярности, шумного и неуважительного поведения. Мальчики не могли входить в комнаты взрослых, за исключением священников-тьюторов, и любые совместные прогулки тоже запрещались. О, эти чуваки знали всю низость человеческого сердца. Женщин на территорию монастыря не пускали, кроме как по специальному разрешению настоятеля, который был настоящим альфа-самцом и, находясь при исполнении, требовал полного повиновения и уважения к себе, яко бы к самому Христу. Но, конечно, у настоятеля был свой исповедник, который, по идее, должен был держать его в рамках, не давая чересчур превозноситься.

Кажется, система, идеально заточенная под свою цель, нет? Но, знаете, в ней были самые разные шероховатости — в тех местах, где нынешняя так называемая демократичность и старая монастырская система не притерлись друг к другу. Так что время от времени кого-нибудь не постригали по завершении послушничества, и он уходил обратно в мир. Точнее, опять становился «от мира»: наш орден вел большую работу в миру,

помимо преподавания. У ордена были миссии для бедняков, где некоторые монахи урабатывались почти до смерти, хотя я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь действительно от этого умер. И эти монахи были не от мира, хотя, несомненно, находились в мире.

Я вам дам один полезный совет. Никогда не доверяйте человеку, который был в монастыре и вышел оттуда. Он, конечно, скажет, что сам решил уйти до принятия обетов, но очень вероятно, что его выкинули, и по уважительным причинам, — хотя бы потому, что он всем докучал и совал палки в колеса. Неудавшихся монахов больше, чем вы думаете, и никому из них не следует доверять.

— Даже вам, брат Джон?

— Меня не выкинули: я сбежал. Меня бы постригли, уверяю вас: я выразил желание оставаться в ордене всю жизнь, прошел послушничество, стал бельцом — принес обет целомудрия, бедности и послушания — и питал надежду стать священником. Я знал устав ордена сверху донизу и сзаду наперед и понимал, где у меня проблемы, — со статьей девять, «Молчание», и пятнадцать, «Относительно послушания». Я не умел придерживать язык и терпеть не мог, когда

мне делали выговор люди, которых я считал ниже себя.

— Да, я так и думала.

— Да, и, несомненно, вы думали совершенно неправильно. У меня не было ничего общего со снобами-кандидатами, которые не любили получать выговоры от помощника настоятеля, потому что он говорил с фарсовым йоркширским акцентом. Я не сноб. Но я завоевал свое место в непростом мире интеллектуалов, когда еще и не слыхивал об ордене, а в уставе ордена говорилось недвусмысленно: «У каждого довольно ума, чтобы исполнить Божью волю о себе, и достаточно сил, чтобы делать что велено, если и недостаточно, чтоб быть, кем он желает». Отец настоятель и мой духовник были неумолимы, когда я смиренно и почтительно просил дать мне работу, на которой пригодятся мои лучшие качества, а именно мои знания и ум для их полезного применения. Но настоятель и духовник могли цитировать устав не хуже меня: «Не можешь искать Божьей воли и вместе своей, разве что твоя воля полностью подчинена Божьей. Но если это так, то о твоей воле нечего заботиться, а если не так, нужно много труда, чтобы смирить ее». И они смиряли меня, но, так как они тоже были

людьми и могли ошибаться, они сделали одну ошибку и поставили меня на приготовление всего необходимого к литургии, а это значило, что у меня под рукой оказались огромные кувшины с вином, и я отхлебывал, хлебал и доливал водой, пока в одно прекрасное утро не увлекся и не был найден в ризнице мертвецки пьяным. Мария, никогда не пейте дешевое вино на пустой желудок. Я полагаю, что несерьезно отнесся к этой истории, а епитимьи выполнял в непокорном расположении духа. Короче говоря, дела шли все хуже и хуже, и я знал, что меня могут выкинуть, а орден ясно давал понять, когда послушника принимали, что может выкинуть его безо всяких споров и объяснений.

Я бы потерпел, но к этому времени я начал ощущать голод по иной жизни. Орден предлагал добродетельную жизнь, но в этом и беда — слишком, неумолимо добродетельную. Я знавал другую и потому тосковал по экзистенциальной беспросветности, злорадству, черному юмору, придававшему вкус современной интеллектуальной жизни вне монастыря. Я был как ребенок, которого кормят исключительно здоровой пищей: моя душа жаждала нездоровой, мусорной еды, чтобы как-то сбалансировать себя.

Так что я тайком отправил письмо через человека, приехавшего в монастырь на ретрит,[32] и наш дорогой Клем прислал мне денег, и я перелез через стену.

Это просто такое выражение: на самом деле никакой стены не было. Просто в один прекрасный день, во время рекреации, я ушел по дорожке, надев костюм и рыжий парик из ящика с барахлом, которое школа использовала как костюмы для рождественского спектакля. Монастыри не посылают вслед беглецам поисковые партии с собаками. Я уверен, начальство было радо от меня отделаться.

Потом я содрал парик и напялил рясу, которую весьма провиденциально, хоть и не очень честно захватил с собой. Она замечательно сглаживает путь. Я сел на самолет и ринулся в объятия своей матери кормящей, старого доброго «Душка»… б-б-бэр-р-р-р! Простите, я, кажется, рыгнул… Молли, вы не позволите мне одним глазком на минуточку взглянуть на бриллиант, который вы так быстро убрали?

— Нет. Он ничем не отличается от любого дру-

---

[32] Примечания и комментарии: 32

…приехавшего в монастырь на ретрит… — Ретрит — период уединения и духовных упражнений, обычно проводится вдали от цивилизации, в том числе в монастырях.

гого бриллианта.

— Напротив, моя дорогая. Как он может быть подобен любому другому бриллианту, если это *ваш* бриллиант? Вы придаете ему блеск, ибо не во власти ни единого камня на свете придать блеска вам.

— Нам пора идти. Мне надо кое-что доделать до ухода домой.

— Ага, у нее есть дом! У прекрасной Марии Магдалины Богородичной есть дом! И где же это он может быть?

— Вам этого знать не нужно.

— У нее есть дом, да еще кольцо с бриллиантом! Знаете старика Бертона — «Анатомия меланхолии», — современника Шекспира? У него что-то такое было про кольцо с бриллиантом, что я заучил наизусть еще до монастыря и иногда, грешник, припоминал во время служб, — видно, дьявол мне нашептывал. Звучало это так: «Влюбленный в „Апологиях“ Кальканини говорил о своем сердечном желании: стать перстнем на пальце своей возлюбленной, чтобы слышать, осязать, видеть и делать — уж не ведаю что; о глупец, отвечал перстень, будь ты на моем месте, ты бы слышал, видел и наблюдал *pudenda et poenitenda,* каковые вещи воистину внушили бы

тебе омерзение и ненависть к ней и, быть может, ради нее даже ко всему Евину роду!» Но перстень — ханжа и дурак, ибо он видел зрелища, за которые влюбленный отдал бы и душу.

— Брат Джон, не дурачьтесь. Идем.

— Нет, погодите. Вы понимаете, о чем я? Про это даже песня есть.

Он громко запел, отбивая такт ручкой ножа по столу:

Хотел бы я алмазом стать,
Хотел бы ярко я блистать
На пальчике желанной,
Как будет жопу вытирать —
Так мне удастся повидать
Тот край обетованный![33]

— Ну идем же, нам пора.

— Не будьте ханжой, Мария! Думаете, я вас насквозь не вижу? Вы покупаете историю моей жизни за дешевую жратву и сидите с лицом судьи-вешателя. А теперь застеснялись и хотите убежать, словно никогда в жизни не слышали неприличных песен. Спорим, что не слышали! Спорим, что ты не знаешь ни одной неприличной

---

[33] Примечания и комментарии: 33
Перевод Д. Никоновой.

песни, сучка с каменной мордой…

Сама не знаю, что на меня нашло. Впрочем, нет — знаю. Кровь не позволяет мне оставить вызов без ответа. Кровь по обеим линиям, отцовской и материнской. Меня вдруг переполнили ярость и отвращение к Парлабейну. Я запрокинула голову и громко — у меня может быть очень громкий голос, когда нужно, — запела:

> *Стоит ниггер в переулке, член поднялся стояком —*
>
> *Там в окошке свет зажегся, а в нем девка голяком!*[34]

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Когда пел Парлабейн, посетители за другими столиками, в основном студенты, старались на него не смотреть. Человек, орущий пьяную песню, на их шкале стоял где-то в диапазоне дозволенного. Но я позволила себе истинную непристойность. Я произнесла нечто непростительное, грязное. Услышав слово «ниггер», аудитория зашипела и засвистела, а один юноша встал с места, словно собираясь выступить на заседании комитета по борьбе за равноправие. В тот же миг подлетел

---

[34] Примечания и комментарии: 34
Перевод М. Костюковича.

владелец ресторана, схватил меня под локоть, приподнял, настойчиво подталкивая к двери; по дороге он позволил мне задержаться у кассы ровно настолько, чтобы оплатить счет.

— Не приходить обратно, не приходить — ни вы, ни падре! — гневно бормотал он, поскольку терпеть не мог беспорядка.

Вот так нас выкинули из «Обжорки», и раз я была не пьяна, а только на взводе, то сочла своим долгом проводить Парлабейна обратно в «Душок».

— Боже, Молли, — произнес он, когда мы, шатаясь, побрели по улице, — где вы подцепили такую песню?

— А где Офелия подцепила свою? Подслушала, надо думать. Солдаты горланили ее во внутреннем дворе замка, пока Офелия сидела у окна и вязала Полонию спальные носки.

Это напомнило Парлабейну Шекспира, и он заорал:

— Спой мне какую-нибудь похабную песню, развесели меня![35] — И все время поднимал голос, пока я старалась поднять с мостовой его самого.

---

[35] Примечания и комментарии: 35

Спой мне какую-нибудь похабную песню, развесели меня! — У. Шекспир. Генрих IV, часть 1. Акт III, сц. 3. Пер. В. Морица, М. Кузмина.

Мимо проехала машина университетской полиции с двумя полицейскими; они поспешили мимо, отвращая взгляды, — если и случилась заварушка, они совершенно не собирались в нее вмешиваться. Но что они видели? Парлабейн в рясе и я в длинном плаще — был холодный осенний вечер — выглядели, должно быть, как две пьяные бабы, затеявшие потасовку на мостовой. Парлабейн вдруг воспылал ко мне неприязнью и стал молотить меня кулаками, но я дралась не первый раз в жизни и раза два треснула его, чтобы протрезвел. Наконец мне удалось протолкнуть его в главные ворота «Душка» и сдать привратнику, который, судя по его лицу, решил, что это уже слишком.

И это действительно было слишком.

2

Наутро я нетвердо держалась на ногах и горько каялась. Не с похмелья, потому что я никогда не напиваюсь, но от сознания, что я вела себя как дура. Зря я запела про ниггера. Где я подцепила эту песню? В монастырской школе. Тамошние девчонки вечно пели песни, которым их научили старшие братья. Я прекрасно запоминаю все, что слышу, причем похабные песенки и лимерики застревают у меня в голове навсегда, а вот прочитанные серьезные факты иногда из нее вылетают. Но я не желала плясать под дудку Парлабейна и никогда не боялась ответить на чужую подначку; мои отец с матерью, хоть они и совсем разные люди, одинаково не хотели бы, чтобы их дочь отступила и побоялась принять вызов.

Я спрятала подальше кольцо с бриллиантом — жалкий предмет женского тщеславия и, хуже того, свидетельство неподобающего студентке богатства — и перестала ездить в университет на своей малолитражке. Будь осторожна, Мария! Парлабейну удалось выбить меня из колеи: он разбудил во мне менаду, этот дух, который сидит, скованный, внутри любой женщины с мало-

мальским характером, но, вырываясь на волю, может сильно напугать мужчин. Менады, что растерзали Пенфея в кровавые клочки и сожрали, не мертвы, а только спят. Но я не хотела иметь ничего общего с менадами от политики, Союзом по борьбе за равноправие женщин; я избегала их точно так же, как Парлабейн, по его словам, избегал политизированных геев: они превращают в предмет политических, коллективных выступлений что-то слишком глубокое, слишком важное. Моя личная менада вырвалась из-под контроля, и я растратила ее чудовищную анергию на победу над эгоистичным монахом-манипулятором. Покайся, Мария, и впредь будь осторожна!

Придя к Холлиеру, я обнаружила, что Парлабейна там нет, зато в комнате сидит сам Холлиер.

— Я слышал, вы с братом Джоном нашумели вчера, — сказал он.

Я не нашлась с ответом и лишь кивнула, словно мне снова было шестнадцать лет и меня ругал Тадеуш.

— Присядьте, — сказал Холлиер. — Мне нужно с вами поговорить. Я хочу предупредить вас насчет Парлабейна. Я знаю, это звучит так, как будто я выхожу за рамки, и вы прекрасно способны позаботиться о себе сами и все такое. Когда я просил

вас попробовать понять его, я не думал, что вы зайдете так далеко. Но, пожалуйста, отнеситесь внимательно к моим словам: не допускайте близких отношений с Парлабейном. Почему? В свете нашей общей работы, я думаю, мне не обязательно выражать это современными словами: подойдут и старинные, они вполне точны. Парлабейн — дурной, злой человек, а зло заразительно, и я не хочу, чтобы вы им заразились.

— Не слишком ли сурово? — спросила я.

— Нет. Вы же понимаете, что я говорю не о морали в терминах деревенских кумушек, а о подлинно палеопсихологических явлениях. Плохие люди существуют; их мало, но они есть. Быть плохим так же трудно, как быть хорошим, и лишь у немногих людей хватает сил на то или на другое. Но у него — хватает. В нем сидит демон-разрушитель, и он утащит вас в бездну, а потом будет насмехаться над вами за то, что вы поддались. Будьте осторожны, Мария.

Меня поразили его последние слова — ведь я твердила себе то же самое с того момента, как проснулась. Таков Холлиер — что-то в нем есть от мага. Но нельзя просто так склоняться перед магом, как будто у тебя нет своей воли и разума. Во всяком случае, пока нельзя.

— А мне кажется, его ужасно жалко.

— И что?

— Он мне рассказал историю своей жизни.

— Да, он, должно быть, уже успел ее как следует отшлифовать.

— Ну, у него была не очень счастливая жизнь.

— Но, конечно, рассказывал он с юмором.

— Вы его не любите за то, что он голубой?

— Он содомит, не знаю уж, какого цвета. Но это не обязательно делает человека плохим. Оскар Уайльд тоже был содомит, а человека добрей и щедрей его земля еще не носила. Зло таится не в поступках человека, а в нем самом и заражает все его поступки. Он вам все рассказал, нет?

— Нет, не все. Как правило, когда просишь кого-нибудь рассказать про свою жизнь, он начинает с детства, но Парлабейн начал гораздо позже.

— Тогда я вам кое-что расскажу. Я знал его с детства; мы вместе учились в школе и вместе ездили в летние лагеря. Он вам объяснил, что у него с лицом?

— Нет, и у меня не было случая спросить.

— Рассказать недолго, а вот последствия остались на всю жизнь. Нам было лет по четырнадцать, мы были в летнем лагере, и Парлабейн — у него всегда были умелые руки — ремонтировал

байдарку. Он работал под наблюдением одного из вожатых, и все как будто было в порядке. Но он поставил жестянку с клеем разогреваться на открытом огне вместо водяной бани; бог знает куда смотрел вожатый. Клей взорвался и покрыл лицо Парлабейна кипящей коркой. Его тут же увезли в больницу, что-то срочно сделали — и в целом справились неплохо, потому что, хоть на лице остались шрамы, все же это было лицо, и глаза не пострадали так, как могли бы. Я поехал с ним, и руководство лагеря устроило меня к нему в больницу как его лучшего друга, потому что они хотели, чтобы с ним кто-нибудь побыл. Три дня подряд, все время, когда он не был в операционной, я сидел с ним и держал его за руку.

Все это время он был в ярости оттого, что не приехали его родители. Езды там было всего несколько часов, и родителям сообщили о происшествии, но никто не приехал. Они явились на четвертый день: бесполезный отец, похожий на мышь, и мать — совсем другой коленкор. Она играла в большую политику на городском уровне — сначала в комитете по образованию, потом попала в олдермены — и была страшно занята, как она объяснила. Она приехала, как только удалось вырваться, но не могла остаться надолго. Она

была само очарование, сама доброта. Впоследствии я убедился, что она к тому же очень умный и способный человек. Но в плане материнской любви ей явно чего-то недоставало.

Парлабейн говорил с ней так ужасно, что мне захотелось выползти из комнаты, но он не отпускал мою руку. Она его мать, и когда он страдает, что же она делает? Трудится на общее благо и не может отложить свою ношу из-за семейных проблем.

Она держалась безупречно. Мягко засмеялась и сказала: «Ну что ты, Джонни. Я понимаю, что тебе больно, но это же не конец света?»

Тут он заплакал. Из-за того что глаза тоже пострадали, это было чудовищно больно, и скоро плач перешел в крик, который вырывался из крохотной дырочки, оставленной для рта во всех этих повязках. Дырочка была такого размера, что в нее едва-едва пролезала трубка, через которую его кормили. Когда он говорил, казалось, будто ребенок кричит из колодца: приглушенно и невнятно. Но смысл его слов был чудовищен.

В маленькой северной больнице стоял тяжелый летний зной, потому что кондиционеров в палатах не было. Под повязками, наверное, было нестерпимо жарко, раны болели, от обезболи-

вающих тошнило. На крик прибежал врач со шприцем, и скоро Джон уже больше не кричал, но миссис Парлабейн сохранила безупречную выдержку.

«Клемент, ты ведь с ним побудешь, правда? — спросила она. — Мне действительно очень нужно в город».

И она удалилась, сопровождаемая послушным мужем. Я заметил, что он, прежде чем уйти, потянулся к кровати и похлопал Джона по безжизненной руке.

На том все кончилось. Скоро повязки сняли, и появилось знакомое вам лицо. Он и раньше не был красавцем, но теперь словно надел красную маску. Со временем она поблекла. Я уверен, что пластические хирурги в Торонто могли бы многое сделать для него в последующие годы, но Парлабейны ничего не предприняли.

— Даже не подали в суд на лагерь?

— Владельцы лагеря были какие-то их знакомые; они не хотели им вредить. Джон считал это страшной несправедливостью.

— И поэтому он стал таким?

— Отчасти поэтому, я полагаю. Конечно, вся эта история не могла подвигнуть его в противоположном направлении. Они с матерью после этого

жили как кошка с собакой. Он звал ее богиней-сукой, это выражение из Генри Джеймса, который писал про богиню-суку по имени Успех.[36] Она и достигла успеха — в своем понимании. Джон утверждал, что она бросила его, когда была нужна ему больше всего. Она же несколько раз говорила мне, что для него сделали все, что можно, она лично об этом распорядилась, и вообще он придает ненормально большое значение несчастью, которое может случиться с кем угодно. Но это так, к слову, хотя, я полагаю, это проливает определенный свет на его личность, ну и на ее личность, конечно, тоже. То, что он не нашел в себе сил рассказать вам эту историю — хотя, я не сомневаюсь, очень трогательно рассказал о другом великом предательстве своей жизни, об этом эгоистичном мужеложце Генри Леви Третьем, Принстонском Красавчике, — показывает, насколько глубокий след она в нем оставила… Надеюсь, теперь его дела немного поправятся. Мне удалось найти ему работу, и сейчас он пошел оформляться. Эпплтон,

---

[36] Примечания и комментарии: 36

Он звал ее богиней-сукой, это выражение из Генри Джеймса, который писал про богиню-суку по имени Успех. — «Чрезмерное поклонение богине-суке по имени Успех — наша национальная болезнь». На самом деле эти слова принадлежат не американскому писателю Генри Джеймсу (1843–1916), а его брату — философу и психологу Уильяму Джемсу (Джеймсу) (1842–1910).

который читает на вечернем отделении, сломал бедро, и, даже когда он вернется на работу, ему придется снизить нагрузку. Так что я уговорил директора вечернего отделения взять Парлабейна на замену до конца года: раз в неделю «Основы философии» и два раза «Шесть главных философских трудов».

— Замечательно!

— Боюсь, Парлабейн так не думает. Вечернее отделение означает, что ему придется читать лекции вечером, а учатся там в основном люди средних лет, с уже сложившимися взглядами; ему не перепадет радости наставника, формирующего юные умы, чем он так любит заниматься.

— Немного сурово для юных умов, я полагаю.

— Боюсь, ему больше не преподавать по-настоящему. У него хорошие мозги — когда-то были просто отличные, — но он слишком много болтает и отклоняется от темы. Знаете, он хочет, чтобы я взял его к себе.

— Куда?

— На должность особого ассистента.

— Но ведь это я ваш ассистент!

— Он был бы счастлив заменить вас. Но даже не думайте об этом: я никогда не соглашусь.

— О змей!

— О, это еще не худшее, на что он способен; это его нормальный образ действий. Я хочу и могу помочь ему, но есть пределы: я устроил его на работу, и на этом моя помощь заканчивается.

— Я думаю, вы к нему просто невероятно добры.

— Он мой старый друг. Понимаете, старых друзей не выбирают; иногда приходится принимать их такими, как есть. Если знаешь человека несколько лет, то, скорее всего, он будет у тебя на совести всю жизнь. Иногда приходится делать все возможное.

— Ну, хотя бы отсюда он уберется.

— Вряд ли. Я, конечно, потребую, чтобы он снял где-нибудь комнату, но у него не будет служебного кабинета в университете. Он вернется, чтобы мусолить мои книги, ну и еще ради вас.

— Ради меня?

— Да; понимаете, вы ему нравитесь. Да, да, он гомосексуалист, но это ничего не значит. Почти всем мужчинам — ну, кроме совсем странных — в том или ином смысле нужна женщина. Ему приятно вас мучить. И, кроме того, не следует недооценивать притягательное действие женской красоты на всех мужчин. Мужчин, которые на самом деле не любят цветы, очень мало, а тех,

которые не реагируют на красивую женщину, еще меньше. Это идет не от секса; дело в духовном подъеме, который дарует красота. Да, он вернется, чтобы мучить вас, и дразнить, и приводить в ярость, но на самом деле — чтобы хорошенько наглядеться на вас.

Я решила чудовищно рискнуть:

— Вы меня тоже поэтому тут держите?

— Отчасти. Но в основном потому, что вы на голову выше и интеллектуально созвучней мне, чем любые другие студенты и аспиранты, какие у меня когда-либо были.

— Спасибо. Я принесу вам цветов.

— Я буду очень рад. У меня не доходят руки самому купить.

И что я теперь должна была думать? Холлиер притягивал меня в том числе и вот этой чертой: собственническим равнодушием. Он не может не знать, что я его боготворю, но не дает мне возможности это доказать. Кроме того единственного раза. Боже, кто захочет оказаться на моем месте? Но, может быть, мне, как тогда Парлабейну в больнице, нужно осознать, что это не конец света.

Холлиер явно обдумывал какую-то речь, прежде чем ее выложить. Вот наконец решился:

— Мария, вы должны сделать для меня две вещи.

Непременно! Что угодно! Моя внутренняя менада была полностью укрощена, и на трон взошла Терпеливая Гризельда.

— Во-первых, я хочу, чтобы вы сходили к профессору Фроутсу — моему старому знакомому. Возможно, между его работой и моей существует определенная связь, и я хочу это проверить. Вы про него слышали — он в последнее время фигурирует в новостях, даже слишком часто, что не нравится ни университету, ни ему самому, надо полагать. Он работает с человеческими экскрементами — с окончательными отбросами, которые считаются совершенно бесполезными для человечества, — и в них, как я понимаю, надеется обнаружить что-то ценное. Вы знаете, что я уже давно изучаю лечение грязью, которое практиковалось и в Средние века, и в древности, и ныне на Востоке. Мать-бедуинка купает новорожденного в моче верблюда или в своей собственной; наверняка она сама не знает зачем, но следует обычаям. Современные биологи знают зачем: это подходящая защита от нескольких видов инфекции. Кочевники на Ближнем Востоке бинтуют ноги рахитичного ребенка в лубки и на-

кладывают повязки с ослиным пометом, и через несколько недель кривые ноги становятся прямыми. В Плоурайте есть привратник-ирландец, с которым это проделали ирландские цыгане, когда ему было три года, и теперь у него ноги такие же прямые, как у меня. Грязью лечили повсеместно; иногда это было лишь суеверие, иногда действовало. Кстати, пенициллин Флеминга начался с лечения грязью. Каждый дровосек знал, что для рубленых ран нет ничего лучше плесени со старого хлеба. Спасение в грязи. Почему? Я подозреваю, что ответ знает Озия Фроутс… По основному принципу это удивительно сходно с алхимией — открытие ценного в том, что отвергли невидящие. Это и долгий поиск алхимиками философского камня, и библейский камень, который презрели строители. Помните шотландский гимн, парафраз Писания? «И камень, что отвергнут был, лег во главу угла…»[37] И *lapis angularis*[38] алхимического креста, и камень *filius*

[37] Примечания и комментарии: 37

«И камень, что отвергнут был, лег во главу угла…» — Парафраз цитаты из псалма 117, стих 22. Встречается также в других местах Писания (например, Евангелии от Луки и Матфея). Пер. Д. Никоновой.

[38] Примечания и комментарии: 38

Краеугольный камень *(лат).*

macrocosmi,[39] который есть Христос, Всеблагой?

— Я читала то, что вы об этом писали.

— Ну так вот. Не ищет ли естествоиспытатель Фроутс того же, что и мы, но иными средствами, не зная о наших поисках, но идя по тому же следу?

— Но это же будет просто фантастика!

— Боюсь, именно она. Если я ошибаюсь, мои домыслы годны лишь для фантастического романа. Если я прав и если об этом станет известно, мы можем осложнить жизнь бедняге Фроутсу. Поэтому мы должны держать язык за зубами. Потому я и хочу, чтобы этим занялись вы. Если я приду к Ози в лабораторию, он что-нибудь заподозрит, поймет, что я не просто так пришел, а если я скажу ему, он либо будет чрезмерно впечатлен, либо у него случится приступ научной совести — вы же знаете, какими ужасными пуританами могут быть ученые по отношению к своей работе: они не терпят и примеси чего бы то ни было непроверяемого на опыте и все такое. Но вы сможете прийти как студентка. Я сказал ему, что вы интересуетесь сто работой, потому что занимаетесь чем-то связанным с Ренессансом.

---

[39] Примечания и комментарии: 39
Сын большого мира, сын макрокосма *(лат.).*

Упомянул Парацельса. Это все, что он знает, или все, что ему следует знать.

— Конечно, я к нему схожу.

— Только вечером: когда его студенты уже уйдут и не помешают ему бурлить энтузиазмом. Они зеленые новички в науке и все до одного Фомы неверующие: не поверят и в бабушкины морщины, пока не измерят их микрометром. Но Ози, в самой глубине души, энтузиаст. Так что сходите как-нибудь после ужина. Он всегда в лаборатории как минимум до одиннадцати.

— Я схожу как только смогу. Но вы сказали, что хотите попросить меня о двух вещах?

— А… ну… да. Но вам не обязательно делать вторую, если вы не хотите.

Какая я дура! Я же знала, что это что-то связанное с работой. Может, что-нибудь насчет рукописи, о которой он говорил в начале семестра. Но дикие фантазии пронеслись у меня в голове: может быть, он хочет, чтобы я с ним жила, или чтобы поехала с ним вместе на выходные, или вышла за него замуж, или еще что-нибудь столь же маловероятное. Но то, что он сказал, было еще невероятнее:

— Я буду вам бесконечно благодарен, если вы представите меня своей матери.

Новый Обри III

1

Похороны Эллермана вышли мрачными. Это не такое идиотское замечание, как кажется: мне приходилось бывать на похоронах очень мужественных и всеми любимых людей, где царил жизнерадостный настрой. Но в похоронах Эллермана не было ничего личного и ничего красивого. Ритуальные залы существуют для удобства, для того чтобы избавить семьи от необходимости принимать в маленьком доме огромную толпу людей, а церкви — от необходимости хоронить тех, кто при жизни не имел ничего общего с церквами и никак их не поддерживал. Говорят, что в наше время люди уходят от религии; но, видимо, уходят не настолько далеко, чтобы после смерти обойтись вовсе без религиозных церемоний. Интересно, это потому, что человек по природе своей религиозен, или потому, что он по природе своей осторожен? Так или иначе, мы не любим расставаться с друзьями без хоть какой-нибудь церемонии, и слишком часто из этого выходит плохой спектакль.

Проповедник из какой-то секты, которую в рекламе назвали бы «смелое новое сочетание»,

произнес молитвы и зачитал отрывки из Писания, а потом намекнул, что Эллерман был хорошим человеком. Аминь.

Эллерман любил стиль во всем и был гостеприимен. Это мероприятие привело бы его в ужас: он наверняка предпочел бы что-нибудь классом повыше. Но что можно придумать, если никто ни во что толком не верит и к тому же канадцы, безнадежно неуклюжие во всякого рода церемониях, сводят похоронный обряд к унылой рутине?

Что бы я сделал, если бы распоряжался на похоронах? Я выставил бы на обозрение военные награды Эллермана — многочисленные и весьма почетные; я бы задрапировал гроб его докторской мантией и положил сверху докторскую шапочку. Как память о человеке, которым он был, о его талантах. Но — «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь»; и у могилы я бы содрал эти свидетельства жизни, а на голый гроб бросил землю (а не розовые лепестки, которые, по мнению работников похоронных бюро, символизируют слова «земля еси и в землю отыдеши»), В стуке комьев земли по крышке гроба есть что-то честное, подлинное. Эллерман преподавал английскую литературу и был специалистом по Браунингу; неужели нельзя было прочитать

вслух отрывок из «Похорон грамматика»? Но это праздные мысли; Даркур, ты просишь театральности. Скорбь должна быть скупа, скаредна и скудна — не в деньгах, конечно, но в средствах своего выражения. Смерть, не тщеславься:[40] ни ухмыляющийся череп, ни арсенал церемоний, ни трогательное великолепие веры не приветствуются на современных городских похоронах человека из среднего класса; скорбь приходится прятать как наименьший общий знаменатель разрешенных эмоций.

Жаль, что я не успел повидаться с ним перед смертью, рассказать ему, что его задумка, «Новый Обри», укоренилась во мне; таким образом, во что бы он ни верил при жизни, часть его не умрет и будет жить, хотя и скромно.

Он собрал довольно много народу — человек семьдесят пять, определил я наметанным глазом. Маквариш блистал отсутствием, хотя они с Эллерманом были приятелями. Эрки по возможности старается игнорировать смерть. К моему удивлению, пришел профессор Озия Фроутс. Я знал, что его воспитали в меннонитской вере, но думал, что занятия естественными науками

---

[40] Примечания и комментарии: 40

Смерть, не тщеславься… — Джон Донн. Священные сонеты: сонет X. Пер. Д. Щедровицкого.

выжгли из него веру в вещи невидимые,[41] в высоты, которые не могут быть измерены вверху, и глубины, которые не могут быть исследованы внизу.[42] Пока мы стояли у входа в зал церемоний, я рискнул с ним заговорить:

— Надеюсь, вся эта чепуха в газетах вас не очень расстраивает.

— О, если бы я мог сказать, что нет! Все, что они говорят, так нечестно. Конечно, вряд ли можно ожидать, что они поймут.

— Но ведь это не может серьезно повредить вашей работе?

— Может, если мне придется прекратить опыты, чтобы успокоить этого Брауна. Из-за его политических игр я могу потерять семь лет: если мне придется сейчас свернуть работу, потом надо будет все начинать сначала.

Я не ожидал такого отчаяния. Я знал Ози много лет назад, в бытность его звездой футбола; тогда он был азартен и, похоже, таким остался.

---

[41] Примечания и комментарии: 41

…веру в вещи невидимые… — Послание апостола Павла к евреям, 11: 1.

[42] Примечания и комментарии: 42

…в высоты, которые не могут быть измерены вверху, и глубины, которые не могут быть исследованы внизу. — Перефразированная цитата из Книги пророка Иеремии, 31: 37 («Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь»).

— Я уверен, что нет худа без добра, — сказал я. — Тысячи людей узнали о ваших опытах и заинтересовались. Я сам заинтересовался. Можно мне как-нибудь к вам зайти?

К моему изумлению, он расцвел:

— Когда угодно. Но приходите вечером, когда я один или почти один. Тогда я с радостью все вам покажу и расскажу. Как мило, что вы проявили интерес.

Все оказалось просто. Я смогу поближе познакомиться с Ози ради «Нового Обри».

2

И по отношению ко мне, и по отношению к Ози Фроутсу нечестно было бы сказать, что я накрыл его сачком, как энтомолог бабочку. Нет, не так я видел «Нового Обри». Конечно, бедняга Эллерман, который любил все старинное в английской литературе, наслаждался восхитительным стилем Джона Обри, смесью проницательности и наивности, с которой Обри записывал обрывки информации о великих людях своего времени. Но меня интересовало не это; пускай студенты-младшекурсники пишут такое в студенческих литературных журналах: «Дневник нашего собственного мистера Пипса»[43] и тому подобную игривую чепуху. Я ценил неистощимое любопытство Джона Обри, его энергию, его решимость выяснить все, что можно, об интересующих его людях; именно этому качеству я собирался подражать.

Это не простое любопытство. «Новый Обри»

---

[43] Примечания и комментарии: 43

…«Дневник нашего собственного мистера Пипса»… — Сэмюэл Пипс (Пепис; 1633–1703) — английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода стюартовской Реставрации.

— вполне достойный университетский проект. Энергия и любопытство — кровь, текущая в жилах университетов. Желание выяснить, раскопать, восстановить скрытое, сорвать покровы — дух университета, и именно эта неустанная любознательность объединяет человечество. Что до энергии, то лишь те, кто не изведал охоты за знанием, станут утверждать, что она не требует сил, упорства, решимости в стремлении к победе; это особый вид энергии, и те, у кого ее мало или вовсе нет, не смогут быть ни учеными, ни учителями, потому что настоящему учителю тоже нужна энергия. Чтобы учить, нужны силы, а чтобы хранить почти полное молчание, но быть начеку и помогать, пока студенты учатся сами, нужно еще больше сил. Видеть, как падает твой ученик (чтобы научиться больше не падать), когда одно твое слово помогло бы ему сохранить равновесие, но оставило бы в неведении относительно большой опасности, — это требует особых сил, ибо удержаться от предостерегающего крика труднее, чем закричать.

Именно любопытство и энергию я собирался вложить в «Нового Обри»: это будет дар моему университету, который узнает о нем лишь после моей смерти. Я честно оправдал свой хлеб как

ученый — две неплохие книги по новозаветным апокрифам, исследования поздних Евангелий и Апокалипсисов, не попавших в канон Святого Писания. В этом отношении я больше не должен никому ничего доказывать. Значит, я могу посвятить свое время и силы — и, конечно, любопытство, которым я баснословно богат, — созданию «Нового Обри». Я уже начал составлять план. В любой работе должен быть порядок. Старый Обри прекрасен своей беспорядочностью, но «Новый Обри» не должен ему в этом подражать.

Я не сразу пошел в лабораторию к Ози; сначала я хотел обдумать то, чего ищу. Конечно, я не имел в виду оценку его трудов с научной точки зрения: я не умею этого делать, и, кроме того, когда Ози опубликует свою работу, этим займутся его коллеги и другие ученые. Нет, мне нужно было уловить дух этого человека, источник энергии, движущей его работу.

О чем-то таком я думал однажды вечером, через несколько дней после похорон Эллермана, когда в мою дверь постучали и, к моему изумлению, это оказался Холлиер.

Мы знакомы с Холлиером еще со студенческих лет в «Душке», всегда хорошо относились друг к другу, но не были близки. Мы и в студенческие

годы не были близкими друзьями, потому что я изучал классическую филологию и собирался заняться богословием (в «Душке» предпочитают, чтобы священники до принятия сана получили кое-какое общее образование), и мы виделись только во всяких студенческих обществах. С тех пор мы встречались по-дружески, но не устраивали встреч специально. Я решил, что он пришел поговорить о чем-то связанном с Корнишем. Холлиер был не из тех, кто наносит светские визиты.

Так и оказалось. Холлиер согласился выпить, неловко поговорил минут пять на общие темы, связанные с работой, а потом двинулся вперед:

— Меня кое-что беспокоит, но, поскольку это относится к вашей части работы исполнителя, мне не хотелось об этом упоминать. Вы не нашли у Корниша никакой описи книг и манускриптов?

— Он раза два или три начинал составлять опись и делать кое-какие заметки. Он понятия не имел, что такое настоящий каталог.

— Значит, если что-то пропало, вы бы этого не заметили?

— Заметил бы, если бы речь шла о нотных рукописях, потому что их он мне часто показывал и я довольно хорошо знал, что у него есть. В про-

тивном случае — нет.

— Есть одна рукопись, про которую я точно знаю, что она у него была, потому что он купил ее в апреле прошлого года и как-то вечером показал мне. Он купил собрание рукописей ради каллиграфии: это были копии входящих и исходящих писем из канцелярии папы Павла Третьего, сделанные в то же время. Как вы знаете, Корниш интересовался каллиграфией на уровне просвещенного любителя; он купил это собрание ради почерка, а не ради содержания писем. Собрание поступило из чьей-то коллекции, и главной жемчужиной было письмо Иакова бен Самуэля Мартино, в котором бегло упоминался развод Генриха Восьмого, — как вы знаете, Мартино выступал одним из экспертов по этому делу.[44] В письме были правки, сделанные собственной рукой Мартино. Больше ничем содержание письма

---

[44] Примечания и комментарии: 44

…письмо Иакова бен Самуэля Мартино, в котором бегло упоминался развод Генриха Восьмого… Мартино выступая одним из экспертов по этому делу. — Генрих VIII Тюдор (1491–1547) — король Англии. Генрих хотел развестись с первой женой (из шести) Екатериной Арагонской, но, согласно каноническому церковному праву, оснований для развода не было, и Генрих обращался к различным экспертам по богословию (в том числе к представителям других религий), надеясь с их помощью найти формальное обоснование для развода. Папа Климент VII отказался утвердить развод, что повлекло за собой отлучение короля от католической церкви и церковную реформу: англиканская церковь отделилась от Римской католической.

не было интересно — просто образец красивого почерка. Самое большее — заслуживает сноски. В тот вечер пришел и Макварииш, и они вместе любовались письмом Мартино, а я пока стал смотреть все остальное, и там была кожаная папка — не очень большая, примерно семь на десять дюймов, — с буквами «С. Г», тисненными золотом и почти поблекшими. Вам такая не попадалась?

— Нет, но письмо Мартино есть, точно как вы описали. Очень хорошо. И все остальные документы, которые, как вы говорите, были вместе с ним, тоже есть.

— Как вы думаете, куда могла деться эта папка?

— Не знаю. Я впервые услышал о ней от вас. Что это было?

— Я даже не знаю, могу ли вам об этом сказать.

— Ну, дорогой мой, если вы не скажете, как я должен ее искать? Может быть, он ее положил в какой-нибудь другой архив — если старые картонные ящики из винно-водочного магазина, в которых Корниш хранил рукописи, можно называть архивами. Он следовал какому-то очень приблизительному плану, но, если вы мне не скажете, что это за рукопись, я не буду знать, где смотреть. Почему она вас так интересует?

— Я пытался понять, что это на самом деле такое, когда заявился Маквариш и тоже захотел посмотреть, и я, конечно, не мог ему отказать: мы оба в чужом доме и рукопись не моя. Мне так и не представилось случая к ней вернуться. Но, конечно, Маквариш ее видел, и у него выпучились глаза.

— У вас тоже выпучились глаза?

— Надо думать.

— Ну же, Клем, оставьте свою академическую застенчивость и скажите мне, что это было.

— Да, наверное, ничего другого не остается. Это была одна из великих, подлинно великих потерянных рукописей. Я уверен, вы знаете немало таких.

— Да, в моей области их известно очень много. В девятнадцатом веке всплыли письма Понтия Пилата на французском языке, на бумаге девятнадцатого века, с описанием распятия Христа. Доверчивый богатый крестьянин заплатил за них кучу денег. И лишь когда тот же самый жулик попытался продать ему предсмертное письмо Христа к Богородице, написанное фиолетовыми чернилами, покупатель заподозрил неладное.

— Мне бы хотелось, чтобы вы серьезнее отнеслись к моим словам.

— Я вас уверяю, это чистая правда. Я знаю, о чем вы говорите: утраченный дневник Генри Гудзона,[45] дневник Джона Макферсона, в котором описывается создание «Оссиана»,[46] и тому подобное. И ведь старые рукописи действительно всплывают время от времени. Вспомните огромную охапку бумаг Босуэлла,[47] найденную в сундуке на чердаке в Ирландии. Ваша рукопись тоже из этой оперы?

— Да. Это были «Стратагемы» Рабле.

— Никогда не слыхал.

— И никто не слыхал. Но Рабле служил историографом у своего покровителя Гийома дю Белле и в качестве такового написал «Стратагемы, или Военные доблести и хитрости благочестивого и преславнейшего кавалера де Лангэ в начале

---

[45] Примечания и комментарии: 45

Генри Гудзон (1560/70–1611?) — английский мореплаватель, занимался поисками Северного морского пути в Азию.

[46] Примечания и комментарии: 46

…дневник Джона Макферсона, в котором описывается создание «Оссиана»… — Джеймс Макферсон (1736–1796) — шотландский поэт, прославившийся литературной мистификацией «Сочинения Оссиана, сына Фингала, переведенные с гэльского языка Джеймсом Макферсоном». Оссиан — легендарный кельтский бард III в.

[47] Примечания и комментарии: 47

Босуэлл, Джеймс (1740–1795) — шотландский писатель и мемуарист, слава которого основана на двухтомной «Жизни Сэмюэла Джонсона» (1791); эту книгу часто называют величайшей биографией на английском языке.

Третьей кесарийской войны». Он писал по-латыни, а затем перевел свой труд на французский, и считается, что книгу издал друг Рабле, печатник Себастьян Грифиус, но ни одного экземпляра не сохранилось. Так был этот труд опубликован или нет?

— И это был он?

— Да, это был он. Видимо, это была оригинальная рукопись, с которой Грифиус набирал книгу или собирался набрать, — на ней сохранилась разметка для наборщика, что само по себе чрезвычайно интересно.

— Но почему эту рукопись никто не заметил?

— Чтобы обратить на нее внимание, нужно знать кое-какие факты, известные лишь специалистам: титульного листа у нее нет, сразу начинается текст мелким почерком, не очень примечательным, так что, видимо, специалисты по каллиграфии особо не заинтересовались.

— Нет слов, это замечательная находка.

— Корниш, разумеется, не понял, что это такое, а я так и не успел ему сказать: я хотел сперва как следует разглядеть рукопись.

— И не хотели, чтобы Эрки вас опередил?

— Он специалист по Ренессансу. Надо думать, у него не меньше прав на рукопись Грифиуса, чем

у любого другого человека.

— Да, но вы не хотели, чтобы он узнал о своем праве. Я вполне понимаю. Не начинайте сразу от меня защищаться.

— Я бы предпочел сделать открытие, известить Корниша, — в конце концов, он владелец этой чертовой штуки, и пускай уже он распоряжается ее научной судьбой.

— А вдруг он отдал бы ее Эрки? Ведь Эрки считает себя большим специалистом по Рабле.

— Даркур, ради бога, не глупите! Предок Макварища — если сэр Томас Эркхарт действительно сто предок, а я слыхал, как знающие люди в этом сомневаются, — перевел одну книгу или часть книги Рабле на английский, и многие специалисты по Рабле считают, что этот перевод никуда не годится: он полон отсебятины, фантазий и не относящейся к делу болтовни, в точности как сам Маквариш! В этом университете есть люди, которые действительно кое-что знают о Рабле, и они смеются над Макваришем.

— Да, но он специалист по эпохе Возрождения, а эта рукопись — явно очень важный кусок истории Возрождения. Если честно, она относится к области Макварища, а не к вашей. Простите, но так это выглядит со стороны.

— Как я ненавижу эти разговоры об «областях». Словно мы какие-нибудь золотоискатели, готовые пристрелить любого, кто зайдет на застолбленную нами заявку.

— А что, скажете, это не так?

— Видно, придется рассказать все.

— Да уж пора бы. Что вы от меня скрыли?

— Там была рукопись «Стратагем», как я уже сказал. Страниц сорок мелким почерком. Не очень хороший почерк, и нет подписи, если не считать, что по всей рукописи было как будто большими буквами написано: «Пропавшая книга Рабле!» Но еще в одной небольшой связке бумаг, в заднем отделении кожаной папки, в чем-то вроде кармана, лежали три письма.

— От Рабле?

— Да, от Рабле. Это были черновики трех его писем к Парацельсу. Написанные грубо, начерно. Но не настолько начерно, чтобы Рабле отказался их подписать. Может быть, ему просто нравилось писать свое имя: такое часто бывает. Его подпись словно прыгнула на меня со страницы — большая, с росчерками. Он писал не почерком

Апостольской канцелярии,[48] но своим собственным, с маньеризмами…

— Да, Эрки вечно настаивает, что Рабле был маньеристом.

— Эрки пускай заткнется; он это от меня услышал. Он не различит маньеризма ни в каком виде искусства; он просто слеп. Но Рабле — поэт-маньерист, который лишь по случайности пишет прозой; и в прозе он добивается того же, чего Джузеппе Арчимбольдо — в живописи: передает плодово-ягодность, ореховость, лиственность, навозность и самые дикие гротескные изобретения.[49] Но передо мной были эти письма и грандиозная подпись, которую невозможно ни с чем спутать! Мне пришлось собрать все силы, чтобы не пасть на колени. Подумайте! Нет, вы

---

[48] Примечания и комментарии: 48

Он писал не почерком Апостольской канцелярии… — Апостольская канцелярия (лат. Cancellaria Apostolica) — один из древних институтов Римской курии, главного административного органа папского престола и Ватикана; в XIII в. в Апостольской канцелярии разработали собственный особый почерк для деловой переписки.

[49] Примечания и комментарии: 49

…добивается того же, чего Джузеппе Арчимбольдо — в живописи: передает плодово-ягодность, ореховость, лиственность, навозность и самые дикие гротескные изобретения. — Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593) — итальянский живописец, декоратор, представитель маньеризма. Писал портреты, составленные из фруктов, овощей, цветов, ракообразных, рыб, жемчужин, музыкальных и иных инструментов, книг и т. д. Лица на картинах Арчимбольдо стилизованы; эффект формы и светотени в пространстве создается весьма искусной компоновкой

элементов — эту манеру и пытается передать словами Холлиер.

только подумайте!

— Очень интересно.

— Интересно, говорите? «Интересно». Да это потрясающе! Я заглянул внутрь — буквально на секунду, — и там были абзацы по-гречески (наверняка цитаты), там и сям отдельные слова по-древнееврейски и полдюжины символов, буквально открывающих глаза.

— Открывающих глаза на что?

— На то, что Рабле находился в переписке с величайшим естествоиспытателем своего времени, о чем раньше никто не знал. На то, что Рабле, которого подозревали в протестантизме, был чем-то по меньшей мере столь же непростительным для служителя Церкви — даже вредителем и отступником: если он и не был каббалистом, то, по крайней мере, изучал каббалу, если и не был алхимиком, то, по крайней мере, изучал алхимию! А это, черт возьми, моя область, и эти бумаги сделают имя любому ученому, к которому попадут, и черт меня побери, если я допущу, чтобы этот шарлатан, шлюхин сын Маквариш, наложил на них лапы!

— Вот это речь истинного ученого!

— И еще я думаю, что он таки наложил на них лапы! Я думаю, что этот говнюк их спёр!

— Пожалуйста, успокойтесь! Даже если рукопись обнаружится — я ведь не смогу ее просто так отдать вам. Она пойдет в университетскую библиотеку.

— Вы же знаете, как это делается. Достаточно шепнуть словечко главному библиотекарю. И я даже не буду вас об этом просить, я сам это сделаю. Мне бы только первым добраться до рукописи — больше ничего не надо!

— Да, да, я понимаю. Но у меня для вас плохие новости. В одной из записных книжек Корниша есть фраза: «Одолж. Макв. рук. Раб. шестнадцатого апр.». Как вы думаете, о чем это говорит?

— «Одолж.». «Одолж.» — значит ли это «одолжил» или «одолжить»?

— Откуда я знаю? Но я думаю, что вы хватаетесь за соломинку. Рукопись у Эрки.

— Украл! Я так и знал! Ах он жулик!

— Погодите, погодите — нельзя делать поспешных выводов.

— Я не делаю поспешных выводов. Я знаю Макквариша. Вы знаете Макквариша. Он выманил рукопись у Корниша, и теперь она у него! Чертов жулик!

— Пожалуйста, не надо предположений. Все просто: у меня есть эта записная книжка, я пока-

жу ее Макваришу и попрошу вернуть рукопись.

— Думаете, он отдаст? Он будет все отрицать. Даркур, я должен заполучить эту рукопись. Раз уж вы все знаете, скажу еще, что я ее кое-кому обещал.

— Быть может, несколько преждевременно?

— Это случилось при особых обстоятельствах.

— Слушайте, Клем. Надеюсь, я не покажусь вам занудой, но за книги и рукописи из коллекции Корниша отвечаю я, и нужны поистине особые обстоятельства, чтобы вы получили право рассказывать постороннему человеку о любом предмете из этой коллекции, пока все юридические вопросы не решены и вся коллекция не лежит в надежном месте за стенами библиотеки. Что это за особые обстоятельства?

— Мне бы не хотелось об этом говорить.

— Не сомневаюсь! Но придется.

Холлиер заерзал в кресле. Я не могу подобрать другого слова, чтобы описать его неспокойное движение, — как будто он думал, что, изменив позу, облегчит внутренний дискомфорт. К моему удивлению, он покраснел. Мне это совсем не нравилось. Его замешательство приводило в замешательство и меня. Он заговорил уныло, виновато. Великий Холлиер, которого ректор совсем

недавно упомянул в своей речи — призванной впечатлить правительство, снова брюзжащее по поводу размера наших грантов, — как одно из украшений университета, краснел передо мной! Я сам никогда не относился к разряду украшений (я — полезная ножка стола, не более) и слишком предан университету, чтобы наслаждаться видом ерзающего украшения.

— Очень способный студент… это будет основой научной карьеры… конечно, под моим руководством…

У меня неплохая интуиция, хотя всеобщее мнение приписывает это качество исключительно женщинам — по-видимому, несправедливо. Я опередил его:

— Вы имеете в виду мисс Феотоки?

— Ради всего святого, как вы угадали?

— Ваша ассистентка, моя студентка, работа по крайней мере частично связана с Рабле, выдающиеся способности — не нужно быть ясновидцем, знаете ли.

— Ну что ж… вы не ошиблись.

— Что же вы ей сказали?

— Один раз упомянул о рукописи в очень общих выражениях. Потом, когда мисс Феотоки спросила снова, сказал чуть больше. Но все равно

немного, вы же понимаете.

— Тогда все просто. Объясните ей, что нужно подождать. Пока мы выудим рукопись у Эрки и окончательно разберемся с делами Корниша, пока библиотека как следует внесет рукопись в каталог и даст разрешение на ее использование, может пройти год.

— Если вы сможете забрать ее у Макварииша.

— Смогу.

— А если он захочет работать с ней сам или отдать кому-нибудь из своих любимчиков?

— Это не мое дело. А вы хотите отдать ее одной из своих любимиц.

— Что вы имеете в виду, говоря «любимица»?

— Ничего особенного. Любимая ученица. А что?

— У меня нет любимчиков!

— Значит, вы один на тысячу. У всех у нас есть любимчики. Как может быть иначе? Некоторые студенты умнее и привлекательнее других.

— Привлекательнее?

— Клем, у вас ужасно вспотела шея. Выпейте еще.

К моему удивлению, он схватил бутылку виски, налил в стакан на три пальца и разом осушил.

— Клем, что вас гложет? Лучше расскажите.

— Наверное, вы по должности имеете право исповедовать?

— Я давно не исповедую, с тех пор как перестал работать на приходе. Да и тогда этим особо не занимался. Но я знаю, как это делается. И еще я знаю, что лучше не исповедовать людей, с которыми общаешься каждый день. Но если вы хотите мне что-то рассказать не для протокола, валяйте. И я, конечно, могила.

— Этого я и боялся, когда сюда шел.

— Я вас не насилую. Поступайте как хотите. Я, конечно, не ваш духовник, но я ваш собрат-исполнитель завещания Корниша и имею право знать, что происходит вокруг вещей, за которые я несу ответственность.

— Я должен загладить определенную вину перед мисс Феотоки. Я совершил большой грех по отношению к ней.

— Какой?

— Я злоупотребил своим положением.

— Неужто присвоили ее работу? Это скорей похоже на Маквариша, чем на вас.

— Нет, нет… Гораздо более личное. Я… я познал ее плотски.

— Господи боже мой! Вы заговорили языком Ветхого Завета. Хотите сказать, что вы ее трах-

нули?

— Какое омерзительное выражение.

— Я знаю, но есть ли подходящее неомерзительное выражение? Я не могу сказать, что вы с ней возлегли, — может быть, вы вовсе не лежали. Я не могу сказать, что вы ею овладели, — она, совершенно очевидно, полностью владеет собой. «Имел с ней половое сношение» звучит как протокол уголовного суда. Или там до сих пор говорят «имел с ней близость»? Да что же на самом деле было?

— В апреле прошлого года…

— Надо же, какой насыщенный месяц выдался.

— Симон, заткнитесь и перестаньте острить. Неужели вы не видите, как это для меня серьезно? Я поступил исключительно неправильно. Отношения между учителем и учеником — особые, ответственные, я бы даже сказал — священные.

— Да, можно и так сказать. Но все мы знаем, что творится в университетах. Преподаватели тоже люди — подвернется симпатичная девушка, и вуаля! Иногда это бывает тяжело для девушки; иногда может сломать карьеру преподавателю, если на него бросится какая-нибудь шлюшка-интриганка. Делайте поправку на греховную природу человека. Я не думаю, что Мария вас

соблазнила, — она слишком перед вами благоговеет. Значит, это вы ее соблазнили. Как?

— Не знаю. Честно, не знаю. Вот как это было: я рассказывал ей про свою работу, посвященную средневековому лечению грязью… мне как раз удалось хорошо продвинуться… и вдруг Мария рассказала мне кое-что — это касалось ее матери… ее рассказ добавил огромный кусок к уже собранной части головоломки, и я пришел в такое возбуждение… меня охватили невыразимо прекрасные чувства, и не успел я понять, что происходит, как мы…

— И Абеляр с Элоизой[50] воскресли вновь примерно на полторы минуты. Или это потом повторилось?

— Нет, конечно нет. Я даже ни разу не говорил с ней об этом.

— Только однажды. Понимаю.

— Можете себе представить, что я пережил в тот вечер у Эрки, когда он начал приставать к ней насчет девственности.

— Но мне показалось, что она справилась бле-

---

[50] Примечания и комментарии: 50

Абеляр с Элоизой. — Пьер (тж. Петр) Абеляр (ок. 1079–1142) — французский философ и теолог-схоласт, имел роман со своей ученицей Элоизой Фульбер и вступил с ней в тайный брак; был оскоплен ее оскорбленными родственниками.

стяще. А она была девственницей?

— Боже мой, откуда я знаю?

— Бывают признаки. Вы же медиевист. Вы должны знать, на что тогда смотрели.

— Не хотите ли вы предположить, что я смотрел?! Что я, по-вашему, вуайерист какой-нибудь?

— Я начинаю предполагать, что вы идиот. У вас что, совсем никакого опыта в этих делах?

— Есть, конечно. Этого трудно избежать. Два раза это было за деньги, ну, знаете, во время командировок. Много лет назад. И один раз на конференции, коллега, женщина, это длилось пару дней. Она говорила не смолкая. Но в этот раз был какой-то демонический припадок — это был не я.

— Вы, кто же еще. Такие демонические припадки — следствие непризнанных элементов в несбалансированной жизни. Значит, вы обещали Марии рукопись Рабле, чтобы искупить вину? Так?

— Я должен загладить свой поступок.

— Клем, мне не хочется читать вам проповеди, но, поверьте, это не дело. Вы думаете, что обидели девушку и что ценный подарок — ценный в системе понятий, свойственной вам обоим, — все исправит. Но это не так. Искупление должно быть

в том же духе, что и проступок.

— Вы хотите сказать, что я должен на ней жениться?

— Я никогда не поверю, что она согласится за вас выйти.

— Я в этом вовсе не так уверен. Иногда она на меня смотрит… особенно. Я не тщеславен, но иногда ошибиться трудно.

— Думаю, она в вас влюблена. Девушки влюбляются в своих преподавателей, я вам уже говорил. Но не женитесь на ней, даже если она достаточно раскиснет, чтобы согласиться; у вас ничего не выйдет. Вам обоим опостылеет этот брак, не пройдет и двух лет. Нет, не переживайте за Марию: она умеет управлять своей жизнью и благополучно переболеет вами. Это вам надо вернуться в колею. Если вам и следует искупить грех, это искупление должно относиться к вашей жизни.

— Но как? О, я понял, вы имеете в виду епитимью?

— О, это хорошее средневековое мышление.

— Но что именно? Я могу, конечно, подарить церкви при колледже какую-нибудь утварь из серебра.

— Плохое средневековое мышление. Епитимья должна быть болезненной.

— Тогда что же?

— Вы на самом деле этого хотите?

— Да.

— Я дам вам старый испытанный рецепт. Кого вы ненавидите больше всего на свете? Если вас попросят назвать одного врага, кто это будет?

— Макварiш!

— Я так и думал. Тогда в качестве епитимьи пойдите к Макваришу и расскажите ему все, что только что рассказали мне.

— Вы с ума сошли!

— Нет.

— Меня это убьет!

— Не убьет.

— Он всем растреплет!

— Вполне возможно.

— Мне придется уйти из университета!

— Вряд ли. Но вы сможете в течение года или около того носить на плаще красивую красную букву «А».[51]

— Да вы шутите!

— Вы тоже. Слушайте, Клем. Вы приходите ко

---

[51] Примечания и комментарии: 51

…вы сможете в течение года или около того носить на плаще красивую красную букву «А». — Принятое у американских пуритан наказание для прелюбодеев: они должны были носить нашитую на одежду алую букву «А» (от англ. adultery — прелюбодеяние). См., напр., роман Н. Готорна «Алая буква» (1850).

мне, ожидая, что я сыграю для вас священника, и вымучиваете из меня епитимью, а потом отказываетесь ее выполнить, потому что вам будет неприятно. Вы настоящий протестант; ваше кредо: «Прости меня, Боже, но, ради Бога, никому не говори!» Вам нужен священник помягче. Попробуйте Парлабейна: вы его содержите, так что он, можно сказать, у вас в кармане. Идите исповедуйтесь ему.

Холлиер встал.

— До свидания, — сказал он. — Вижу, я очень ошибся, придя к вам.

— Клем, не будьте ослом. Сядьте и выпейте еще.

Он выпил — еще одну большую порцию виски.

— А вы знаете Парлабейна? — спросил он.

— Не так хорошо, как вы. Но в студенческие годы я с ним довольно часто виделся. Приятный парень, очень остроумный. Потом я потерял его из виду, но думал, что мы все еще друзья. Я все жду, что он зайдет повидаться. Я не хотел сам его приглашать: при сложившихся обстоятельствах это может его смутить.

— При каких это обстоятельствах?

— В студенческие годы он все время смеялся надо мной за то, что я хочу идти в Церковь. Вы

же помните, он был Великим Скептиком и не мог понять, как это я могу быть верующим христианином перед лицом здравого смысла или того, что он считал здравым смыслом. Так что я чуть не упал со стула, когда несколько месяцев назад получил от него письмо: в письме говорилось, что он монах в Ордене священной миссии. Такие перевороты случаются нередко, особенно в среднем возрасте, но от Парлабейна я такого никогда не ожидал.

— И он хотел покинуть орден.

— Да, он об этом и написал. Просил помощи, и я ему помог.

— То есть вы послали ему денег?

— Да. Пятьсот долларов. Я решил, что лучше послать. Если деньги пойдут ему на пользу, это будет благое дело по отношению к нему, а если нет, это будет благое дело по отношению к ордену. Он хотел уйти оттуда.

— Он и у меня вытянул пятьсот.

— Уж не устроил ли он массовую рассылку? В общем, я не хотел, чтобы он подумал, будто я злорадствую или требую свои деньги обратно.

— Симон, он очень плохой человек.

— Чем он занимался?

— Жил прихлебателем, тунеядцем и попро-

шайкой. И все это — в монашеской рясе. И учил Марию плохому.

— Он пристает к Марии? Я думал, он гомик?

— Не все так просто. Гомосексуальные наклонности всего лишь необычная черта. Я знал гомосексуалистов, которые были необыкновенно хорошими людьми. Но Парлабейн — дурной человек. Это старомодный термин, но в его случае подходит.

— Но что он делал с Марией?

— Пару дней назад их вышвырнули из студенческого ресторана за то, что они орали грязные песни, а после этого люди видели, как они затеяли драку на улице. Я нашел ему работу — заменять другого преподавателя на вечернем отделении. Я велел ему найти другое жилье, но он только проминается под ударами, как полусдувшийся воздушный шарик, и продолжает околачиваться в моих комнатах и делать намеки Марии.

— Какие намеки?

— Многозначительные. Мне кажется, он знает. Про нас с Марией.

— Думаете, она ему сказала?

— Нет, это немыслимо. Но у него нюх. И еще я узнал, что он видится с Макваришем.

Я вздохнул:

— Это ужасно, но верно: ни о чем так не жалеешь, как о сделанном добром деле. Надо было оставить его в ордене: они кое-что знают о епитимьях и, может быть, вправили бы ему мозги.

— Одну вещь я не могу ни понять, ни простить: почему он обратился против меня?

— Такова его натура. Для него невыносимо быть кому-то обязанным. Он всегда был горд, как Люцифер. Если припомнить наши студенческие дни, он был настолько похож на Люцифера, насколько это возможно для человека среднего роста, с изувеченным лицом. Мы ведь представляем себе Люцифера высоким темноволосым красавцем — в общем, падшим ангелом. Но если Парлабейн когда-то и был ангелом, то совершенно неизвестного мне типа: просто очень способный студент-философ с особым талантом к скептическому гипотипозу.

— А?

— Способностью препарировать сказанное в «интеллектуальном» смысле, или унижать собеседника, или назовите как угодно. Стоило высказать при нем какую-нибудь мысль — на ваш взгляд, хорошую и дорогую лично вам, — и он немедленно помещал ее в такой контекст, что вы оказывались легковерным дураком или

ограниченным типом, который ничего не читал и не умеет работать мозгами. Но Парлабейн проделывал это так величественно и притом так ловко, что вам казалось, будто вас настигло просветление.

— Пока вас не начинало от этого тошнить.

— Да, пока человек не набирался достаточно уверенности в себе, чтобы понять, что он не может быть постоянно неправым и что объявлять все подряд мошенничеством или безумством не лучшая политика. Парлабейн выпустил свой скепсис из-под контроля.

— Знаете, Симон, со скепсисом вообще странно. Я знавал философов-скептиков, и, за исключением Парлабейна, в повседневной жизни они все — совершенно обычные люди. Они возвращают долги, берут ипотеку, отправляют детей в университет, трясутся над внуками, стараются заработать на жизнь — совершенно как любой другой человек из среднего класса. Они устраиваются в жизни. Как им удается увязать это с тем, что они проповедуют?

— Это не что иное, как здравый смысл. В нем наше спасение — всех, кто работает головой. Мы приходим к компромиссу между тем, что постигаем интеллектом, и тем, что мы есть в

мире, каким мы его знаем. Только гении и люди с вывихом пытаются сбежать, и даже гении порой живут по правилам совершенно мещанской морали. Почему? Потому что это упрощает все несущественные детали. Невозможно постоянно импровизировать, видеть в новом свете каждую тривиальную мелочь. Но Парлабейн — человек с вывихом.

— Когда-то куча народу считала его гением.

— Я помню, что был одним из них.

— Думаете, его вывих — от того ужасного происшествия с лицом? Или из семьи? Может быть, из-за матери?

— Когда-то я предположил бы и то, и другое, и третье, но больше так не думаю. Люди преодолевают и худшие семейные обстоятельства, чем были у него, калеки с изувеченными телами совершают феноменальные вещи, а от людей, скулящих по поводу собственных матерей, меня уже тошнит. У каждого должна быть мать, и не каждый завоевывает большой приз, в чем бы он ни заключался. Что такое идеальная мать? Нам уже все уши прожужжали про то, как слишком любящие матери делают из детей гомосексуалистов, недостаточно заботливые — преступников, а посредственные — душат их интеллектуальное

развитие. По-моему, всю эту бодягу с матерями давно пора пересмотреть.

— Мне кажется, еще минута — и вы начнете мне рассказывать про первородный грех.

— А почему бы и нет? У нас была и психология, и социология, но на практике мы остались там же, где и были. Суровые старые богословские концепции ничем не хуже современных: не потому, что они на самом деле что-то объясняют, но потому, что признают свою неспособность объяснить все и сваливают все необъясненное на Бога. А Он, может быть, жесток и непредсказуем, но хотя бы берет на себя ответственность за многие скорби человеческого рода.

— Значит, вы думаете, что невозможно объяснить Парлабейна? То, что он не оправдал наших ожиданий? То, каков он сейчас?

— Клем, вы живете в университете дольше, чем я, и насмотрелись на многообещающих юных дарований, из которых выходят посредственности. Мы слишком большое значение придаем умению сдавать экзамены и хорошо подвешенному языку.

— Вы сейчас скажете, что характер важнее ума. Я знаю нескольких людей с изумительно твердым характером и с куриными мозгами.

— Клем, перестаньте мне рассказывать, что я сейчас скажу, и посмотрите хорошенько на себя. Вы, несомненно, один из умнейших людей в университете, ученый с международной славой, но стоит вам вляпаться в крохотную этическую проблему с девушкой, как вы становитесь полным идиотом.

— Вы оскорбляете меня, пользуясь моим уважением к вашим ризам.

— Ерунда! Я сейчас не в ризах; я надеваю полное облачение только по воскресеньям. Выпейте еще.

— Вы не находите, что наш разговор вырождается в пьяную болтовню, а?

— Очень возможно. Но пока мы не опустились на четвереньки, я вам скажу, что я понял за двадцать лет «в ризах», как вы это старомодно назвали. В судьбе человека играет роль и отмеренный ему запас ума, и характер, и трудолюбие, и мужество, но все они могут оказаться на помойке, если не будет еще одного фактора, о котором никто не любит говорить: обыкновенного тупого везения.

— А я думал, вы скажете — спасительной Господней милости.

— Конечно, можно это и так назвать, а пути,

которыми Господь рассеивает свою милость, непостижимы для человеческого разума. Господь — старый чудик и шутник, Клем, и об этом нельзя забывать.

— С нами Он неплохо обошелся, верно, Симон? За Старого Шутника!

— За Старого Шутника! Да смеется Он над нами еще много лет.

3

Лаборатория профессора Озии Фроутса больше всего напоминала кухню дорогого отеля. Чистые металлические столы, раковины, ряд шкафчиков, похожих на большие холодильники, и несколько приборов, которые, судя по их виду, предназначались для очень точных вычислений. Сам не знаю, что я ожидал увидеть: пока я собрался навестить Озии, шумиха в прессе, поднятая Мюрреем Брауном, нарисовала в умах публики очень красочную картину, так что я не удивился бы, обнаружив Озии в чем-то вроде гнезда безумного ученого из плохого фильма.

— Заходи, Симон. Ничего, что я на «ты»? Мы всегда были на «ты».

Озии — это имя он превратил из клички первокурсника-козерога в овеянное славой прозвище первоклассного футболиста. В те великие дни, когда он и Бум-Бум Глейзбрук блистали в университетской футбольной команде, болельщики любили выкрикивать речевку:

Озии Фроутс — молодец!
Выйдет в поле — всем капец!

Ози всех расплющит!
Ози Фроутс — лучший![52]

А если он получал травму на поле, чирлидерши во главе с его подружкой Попрыгуньей Пегги поднимали его на ноги протяжным кличем: «Да-вай, О-зи! Да-вай, О-О-О-ЗИ-И-И-ИИ!» Все знали, что Ози — звезда не только футбола, но и биологии и очень большой человек в университете. Одному Богу и биологам известно, чем он занимался после получения диплома и стипендии Родса,[53] но ректор упоминал его в числе прочих украшений университета. Приятно, что Ози меня еще помнит.

— Мюррей Браун все никак не успокоится.

— Да. Ты знаешь про вчерашний митинг у парламента? За сокращение грантов на образование. У некоторых были плакаты: «Долой дерьмо из университета». Это про меня. Я — излюбленный конек Мюррея.

---

[52] Примечания и комментарии: 52

Переложение Д. Никоновой.

[53] Примечания и комментарии: 53

Стипендия Родса — международная стипендия для обучения в магистратуре или аспирантуре Оксфордского университета. В настоящее время претендовать на стипендию Родса могут студенты из Австралии, Новой Зеландии, Канады и ряда других стран. Стипендия присуждается за высокие академические способности, спортивные достижения, лидерские качества.

— Так ты действительно работаешь с…

— Действительно. И это очень хорошо. Пора бы, наконец, кому-нибудь это понять. Боже, до чего глупы люди.

— Они не понимают, они платят слишком высокие налоги, их пугает инфляция. Пинать университеты легче всего. «Долой излишества из образовательных программ. Студентам нужны полезные специальности, которые позволят им заработать на жизнь». Ты никогда не убедишь большинство в том, что образование и «зарабатывать на жизнь» — совсем разные вещи. А когда общественность видит людей, которые занимаются любимым делом и получают за это деньги, она завидует и требует положить этому конец. Уволить преподавателей, которые не приносят прибыли. Образование и религия — две области, в которых каждый считает себя специалистом; каждый утверждает, что смотрит с позиции здравого смысла… Надо думать, твоя работа обходится недешево?

— Дешевле, чем многое другое, но точно не задаром. В основном это не государственные деньги. Я получаю гранты и от разных фондов, и от Государственного совета по научным исследованиям, и так далее, но университет меня

поддерживает и платит мне зарплату, и, надо думать, я — готовый козел отпущения для людей вроде Брауна.

— Они против тебя из-за предмета твоих исследований. Зато, наверное, у тебя сырье дешевое.

— К сожалению, нет. Я же не ассенизатор какой-нибудь. Мне нужен особый продукт, а он идет по три доллара ведро. Умножь это на сто или сто двадцать пять — а это самая маленькая тестовая группа, — выходит триста долларов в день или даже больше, но семь дней в неделю, и это только начало.

— Сто ведер в день! Ну и ну.

— Если бы я исследовал рак, мне бы ни слова не сказали. Ты же знаешь, рак в моде уже много лет. Под него можно получить любые деньги.

— А ты не можешь сказать, что это связано с исследованием рака?

— Симон! А еще священник! Это же будет вранье! Я пока не знаю, с чем связаны мои опыты. Именно это я и пытаюсь выяснить.

— Чистая наука?

— Почти. Конечно, у меня есть кое-какие идеи, но я двигаюсь от известного к неизвестному. Это заброшенная и непопулярная область исследований, потому что никто на самом деле не любит

возиться с фекалиями. Но рано или поздно кому-то придется, и похоже, это буду я. Наверное, лучше объяснить поподробнее?

— Да, я с удовольствием послушаю. Но я пришел не для того, чтобы выпытывать. Просто дружеский визит.

— Я с удовольствием расскажу все, что знаю. Но придется чуточку подождать: должен прийти еще один человек. Холлиер просил познакомить с моей работой одну девушку, потому что она что-то такое для него делает, уж не знаю что. В общем, она скоро придет.

Она скоро пришла; оказалось, что это моя студентка с семинара по новозаветному греческому и жало в плоть профессора Холлиера, внезапного пуританина: мисс Феотоки. Мы представляли собой странное зрелище: я был в полном облачении и в воротничке священника, потому что зашел к Ози после официального ужина в комитете, для которого такая одежда была уместна; Мария выглядела, как Магдалина с иллюстрации в средневековой книге, хоть и не столь мрачно; а Ози — как бывший великий футболист, который переквалифицировался в исследователи и занимается очень спорной темой. Он по-прежнему был чрезвычайно высок и силен, но уже лысел, и,

когда белый лабораторный халат распахивался, на талии обрисовывалась выпуклость, словно под одеждой был спрятан футбольный мяч. Мы обменялись любезностями, и Ози принялся рассказывать:

— Люди всегда интересовались своими фекалиями; первобытные народы, сходив до ветру, обязательно разглядывали результат — нет ли там чего интересного, и цивилизованные люди это делают чаще, чем вы думаете. Обычно они пугаются: они слыхали, что кровь в стуле — признак рака, и удивительно много народу бежит к доктору, забыв, что накануне ели маринованную свеклу. В старину врачи исследовали стул, так же как и мочу. Они не могли разрезать человека, но эти исследования проводили часто и охотно.

— Это называлось скатомантия, — заметила Мария. — И как, они что-нибудь узнавали?

— Мало что, — ответил Ози. — Хотя врач, знающий свое дело, может многое понять по запаху. Например, кал наркоманов очень легко определить. Конечно, когда появилась настоящая наука, с лабораториями, ученые кое-что делали со стулом — измеряли количество азота, эфирного экстракта, нейтральных жиров, холевой кислоты, сгустков слизи, желчи, бактерий, скоплений

мертвых бактерий. Количество пищевого остатка довольно мало. Их труды были полезны в ограниченной области для диагностического процесса, но они не слишком продвинулись. Главное, что меня сподвигло на эту работу, — Ослер.[54] Ослер вечно отбрасывал замечательные ценные идеи и озарения, которые не хотел исследовать; надо полагать, он думал, что ими на досуге займутся другие. Еще в студенческие годы меня заворожили его краткие заметки о болезни, которую тогда называли катаральным энтеритом; Ослер упомянул изменения в составе кишечной секреции. Он писал: «Мы слишком мало знаем про *succus entericus,*[55] чтобы говорить о влиянии, вызванном изменениями в его количестве или качестве». Он написал это в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Но он предположил, что существует связь между раком и диареей, и анемией, и некоторыми болезнями почек, и его слова засели у меня в памяти… И только лет десять на-

[54] Примечания и комментарии: 54

Ослер, Уильям (1849–1919) — известный канадский врач, открыватель тромбоцитов. Первым описал ряд болезней. Создал первую в мире программу медицинской резидентуры и первым привлек студентов-медиков к практическому лечению больных.

[55] Примечания и комментарии: 55

Мы слишком мало знаем про succus entericus… — Кишечный сок *(лат.)* — сложный по составу пищеварительный сок, вырабатываемый клетками слизистой оболочки тонкой кишки.

зад я наткнулся на книгу, которая напомнила мне о словах Ослера, хотя была посвящена совершенно иной теме. В ней выдвигались основы науки, которую ее автор называл конституциональной психологией. Это был Уильям Герберт Шелдон, авторитетный ученый из Гарварда. Грубо говоря, его теория сводилась к тому, что существует фундаментальная связь между телосложением и темпераментом. Идея, конечно, не нова.

— В эпоху Возрождения об этом постоянно писали, — заметила Мария.

— Но эти писания нельзя назвать научными. Сказать так значило бы сильно преувеличить.

— Для того времени это было очень неплохо, — сказала Мария. — Парацельс писал, что существует сто, если не тысяча, типов желудка, так что если взять тысячу людей, будет так же глупо утверждать, что они одинаковы телом, и одинаково лечить их, как утверждать, что они одинаковы духом. Существует сотня форм здоровья, писал он, и человек, способный поднять пятьдесят фунтов, может быть так же здоров, как тот, кто способен поднять триста.

— Может, он это и писал, но он не мог этого доказать.

— Он это постиг озарением.

— Ну, мисс Феотоки, так не годится. Подобные вещи доказываются экспериментально.

— А Шелдон доказал экспериментально то, что писал Парацельс?

— Несомненно!

— Значит, Парацельс был гениальнее — ему не пришлось корпеть в лаборатории, чтобы получить правильный ответ.

— Но мы не знаем, правилен ли ответ Шелдона; у нас вообще пока еще нет ответов — только результаты тщательных наблюдений. А вот…

— Ози, она тебя дразнит, — сказал я. — Мария, возьмите паузу и дайте договорить великому человеку. Может быть, потом мы дадим слово и Парацельсу. Вы, конечно, знаете, что профессора Фроутса сейчас сильно критикуют, и эта критика может ему повредить.

— То же было и с Парацельсом: его гнали из одной страны в другую и во всех университетах над ним смеялись. И постоянной должности ему тоже нигде не дали. Извините, не позволяйте мне перебивать, пожалуйста.

Что за вздорная девушка! Но ее задиристость — как глоток свежего воздуха. Я и сам втайне болел за Парацельса. Но мне хотелось услышать про Шелдона, и Ози продолжал:

— Он не просто говорил, что люди разные. Он показал, чем они различаются. Он обследовал в общей сложности четыре тысячи студентов. Конечно, не самая удачная выборка — все молодые, все умные, — недостаточно разнообразия, которое я стараюсь обеспечить в своих опытах. Но в конце концов он разделил своих «морских свинок» на три группы. Среди них были эндоморфы с мягкими, округлыми телами, мезоморфы — мускулистые и костистые и эктоморфы — тощие, хрупкие. Шелдон тщательно исследовал их темперамент и происхождение, как они живут, чего хотят от жизни, и обнаружил, что толстяки — висцеротоники, или «люди живота», любящие комфорт во всех его проявлениях; мускулистые крепыши — соматотоники, получающие наслаждение от спорта и напряжения сил; а тощие — церебротоники, интеллектуальные и нервные: люди, живущие головой… Пока ничего особо нового. Надо думать, Парацельс мог бы прийти к тем же выводам, просто наблюдая. Но Шелдон — измерениями и разнообразными тестами — доказал, что у любого человека наблюдаются какие-то элементы от каждого из трех типов и именно эта смесь влияет на — я сказал «влияет», а не «определяет» — темперамент. Для оценки

количества таких элементов в одном субъекте Шелдон предложил использовать шкалу от одного до семи. Например, семь-один-один — максимальный эндоморф: толстяк почти без мускулов, почти без нервов, настоящий бурдюк. А один-один-семь — физическая развалина, сплошные нервы и мозг, телесные возможности на нуле. Кстати говоря, большой мозг не обязательно означает большие способности или хорошо используемый интеллект. Идеально сбалансированный человек, видимо, относится к типу четыре-четыре-четыре, но их немного, а если такой и попадется, он, скорее всего, окажется секретарем дорогого спортивного клуба с первоклассным поваром.

— Вы, наверное, классифицируете всех подряд? — спросила Мария.

— Нет, конечно. Нельзя типизировать человека, не обследовав его, а для этого нужны точные измерения. Хотите посмотреть?

Мы, конечно, не хотели. Но Ози совершенно явно наслаждался каждой минутой этой лекции, и вот он уже воздвиг экран и проектор и показывал нам слайды с изображениями мужчин и женщин самого разного возраста и внешности, сфотографированных голыми на фоне прямоугольной

сетки линий, позволяющих точно определить, где у них что выпирает и где чего маловато.

— Публике я этого не показываю, — заметил Ози. — Для показа я зачерняю лица и гениталии. Но тут все свои.

Действительно. Я узнал университетского полицейского с выпирающим животиком и работника из хозчасти, который обрезает деревья. А это, кажется, одна из секретарш ректора? И девушка из клуба выпускников? Мелькнули несколько студентов, которых я знал в лицо, и… пожалуй, мне тут не место — профессор Агнес Марли: ляжки у нее были толще, чем казались в твидовом костюме, а грудь решительно маловата. Всех этих несчастных фотографировали под жестоким, ослепительным светом. В правом верхнем углу каждой фотографии большими черными цифрами было обозначено их соотношение элементов по шкале Шелдона. Ози снова включил свет.

— Вы поняли, как это делается? Кстати, я надеюсь, что вы никого не узнали. Ничего страшного не случилось бы, но люди иногда чувствительно относятся к таким вещам. Но каждый хочет знать свой тип, так же как люди любят, когда им предсказывают будущее. Что касается меня, то я

— два-семь-один: жира не очень много, но, как видите, достаточно, чтобы создавать проблемы при сидячей работе: кости и мышцы у меня на семерку — будь у меня на пару баллов больше с любого конца шкалы, я был бы Геркулесом. В церебротоническом аспекте у меня только единица — слава богу, это не значит, что я глуп, но я никогда не был, что называется, чувствительным или нервным. Потому-то история с Брауном меня не сильно задевает. Кстати говоря, вы заметили вариации оволосения? Женщины к этому очень чувствительно относятся, но для специалиста вроде меня тип оволосения многое открывает… Типизировать встречных по одной только внешности — нет, всерьез этим невозможно заниматься. Но можно многое понять о типе, если проанализировать слова человека. Взять, например, Христа: на всех картинах Его изображают церебротоническим эктоморфом, и здесь возникает богословский вопрос, который должен быть интересен тебе, Симон. Если Христос — воистину Сын Человеческий, воплотившийся, по идее, Он бы должен быть четыре-четыре-четыре, правда? Человек, взявший на себя страдания мира. Но нет, Он нервного, худощавого типа. Хотя физически крепок: проходил пешком большие расстояния,

завораживал толпу речами, а для этого нужна сила, перенес бичевание и прочие измывательства солдат; значит, не меньше тройки по мезоморфной шкале… Невероятно интересно, правда? Теперь возьмем тебя, Симон: ты профессиональный пропагандист и толкователь слов человека, который в буквальном смысле совершенно не твой тип. Навскидку я могу определить тебя как четыре-два-пять — мягкий, но массивный и чрезвычайно энергичный. Ты много пишешь, верно?

Я подумал о «Новом Обри» и кивнул.

— Ну конечно. Это заложено у тебя в типе, когда он сочетается с превосходным интеллектом. Прилично развитая мускулатура, чувствительный, но не чересчур нервный тип и много кишок. Потому что именно от них у твоего типа так торчит живот, видишь? У иного висцеротоника кишки вдвое длиннее, чем у настоящего церебротоника. У церебротоников кишки коротковаты, зато они падки на секс. Качки почти до такой же степени равнодушны к сексу, а толстяки вместо секса предпочитают лишний раз поесть. А вот мелкие, тощие люди — им вечно неймется. Я мог бы порассказать удивительные вещи. Но ты, Симон, — человек кишок. И это как раз подходит к твоему типу священника: любишь ритуалы

и церемонии и, конечно, много ешь. Пердишь много?

«Много» — это сколько? Я не поддался на провокацию.

— Надо думать, много, но тайком, из-за этой пятерки на церебротоническом конце. Но писатели — посмотри. Бальзак, Дюма, Троллоп, Теккерей, Диккенс в конце жизни, Генри Джеймс (который, кстати, всю жизнь страдал запором), Гюго, Гёте — у каждого не меньше сорока футов кишок.

Ози совсем забыл про научное бесстрастие и начал горячиться, выступая на любимую тему.

— Вы, конечно, спросите: а при чем тут фекалии? Дело в том, что я вспомнил Ослера и подумал: состав кала может разниться в зависимости от типа, и это может быть интересно. Потому что люди забывают или просто не принимают во внимание, что кал — истинное творение человека. Люди производят его с разной частотой, которая в пределах нормы варьируется от трех раз в сутки до одного раза в десять дней; в среднем, скажем, сорок восемь часов. Вот так, и было бы довольно странно, если бы в кале не было ничего индивидуального или характерного и если бы он определялся только состоянием здоровья. Вы знаете крестьянскую пословицу

«Свое дерьмо не воняет». Зато чужое воняет вовсю. Это — творение, глубоко характерный продукт. И я решил взяться за работу… Ставить подобный эксперимент — адский труд, вот что я вам скажу. Во-первых, Шелдон выявил семьдесят шесть типов в пределах нормы; конечно, у людей с какими-то врожденными проблемами могут быть самые дикие вариации. Набрать экспериментальную группу — тяжкая работа, потому что приходится беседовать с кучей народу, каждому все объяснять и вычеркивать тех, кто может создать нам проблемы в будущем. Я и мои ассистенты опросили много больше пятисот человек; нам удалось сделать это втихую, чтобы не привлекать несерьезных людей и психов вроде Брауна. В результате мы отобрали сто двадцать пять человек, которые обещали отдавать нам весь свой кал, как следует упакованный в предоставленные нами специальные контейнеры (тоже недешевые, кстати), как можно более свежим и делать это достаточно долго, потому что для любых мало-мальски серьезных наблюдений нужно исследовать серию. И еще мы хотели взять как можно большее разнообразие темпераментов, а не только молодых и умных студентов. И, как я уже говорил, нам приходится

платить испытуемым, чтобы вознаградить их за все неудобства: они понимают важность наших опытов, но все равно нужна какая-то компенсация. Они вынуждены проходить разные тесты по требованию моего медицинского ассистента и ежедневно отмечать на графиках разные вещи, например настроение по семибалльной шкале от «лучезарно» до «в глубоком упадке». Я часто жалею, что эти опыты нельзя проводить на крысах, но исследовать человеческий темперамент задешево невозможно.

— Доктор Фроутс, вы бы понравились Парацельсу, — сказала Мария. — Он предпочитал исследованиям формальной анатомии наблюдение за живым организмом как единым целым; ему понравились бы ваши слова о том, что кал — это творение. Вы читали его трактаты о коликах и кишечных червях?

— На самом деле я только его имя слыхал. Мне казалось, он какой-то псих.

— То же самое Мюррей Браун говорит про вас.

— Ну так Мюррей Браун ошибается. Я не могу ему сказать об этом сейчас — может быть, еще несколько лет не смогу, — но мое время придет.

— Это значит — ты нашел, что искал? — спросил я.

Я чувствовал, что надо увести Марию подальше от Парацельса.

— Я ничего не искал. Процесс научного познания устроен совсем не так: я только смотрю, чтобы понять, что есть и чего нет. Если заранее придумать, что ищешь, ты это обязательно найдешь, и будешь не прав, и, может быть, упустишь что-то настоящее, что у тебя под самым носом. Конечно, мы не просто так тут сидим: в научных журналах вышло не меньше полдюжины статей за подписью Фроутса, Редферна и Оймацу. Мы накопали кое-что интересное. Хотите посмотреть еще картинок? Их делает Оймацу. Восхитительно! В такой тонкой работе японцам нет равных.

На слайдах, как я понял, были изображены сверхтонкие поперечные срезы фекалий, снятые под микроскопом и в особом освещении. Они были невероятно прекрасны, как роскошные полированные пластины мохового агата, глазкового агата, брекчиевой яшмы. Я вспомнил о халцедонах, которые, согласно Откровению Иоанна Богослова, лежат в основании Небесного Града. Но как Мария не смогла уговорить Ози послушать про Парацельса, так и я, скорее всего, имел бы не больше успеха с цитатами из Библии. Так что я лихорадочно соображал, что бы такое

сказать.

— В этих образцах неоткуда взяться кристаллической решетке?

— Нет, но это отличная догадка, проницательная. Конечно, кристаллической решетки в них не может быть по ряду причин, но есть, скажем так, предрасположенность к определенной, довольно постоянной форме. А если она заметно изменяется — что это может означать? Я не знаю, но если удастся выяснить… — Ози почувствовал, что впадает в неподобающий ученому энтузиазм, — тогда я узнаю что-то, чего не знаю сейчас.

— И это может привести к?..

— Я бы не хотел гадать, куда это может привести. Но если обнаружится формирование определенного узора, столь же индивидуального, как отпечатки пальцев, это будет очень интересно. Но я не хочу действовать опрометчиво. Такое бывало с людьми, которые начитались Шелдона. Некто Хаксли, брат ученого — кажется, писатель, — почитал Шелдона и стал кидаться в глупые крайности. Конечно, будучи писателем, он обожал комические крайности соматических типов и совершенно потерял голову из-за одной темы, к которой Шелдон все время возвращается в своих двух больших трудах. Это — юмор.

Шелдон все время повторяет, что для работы с соматотипами нужно недремлющее чувство юмора, и, черт побери, я понятия не имею, о чем это он. Если факт — это факт, то, уж наверное, больше ничего не надо? Никакие дополнительные ужимки не нужны. Я много читал, знаете ли, литературы на общие темы, и все определения чувства юмора, какие мне попадались, совершенно бессмысленны. Но этот Хаксли — который другой, не ученый, — все время зацикливается на том, как смешно, если муж и жена принадлежат к определенным, не соответствующим друг другу типам, и думает, что при виде креветки-эктоморфа и его жены, бурдюка-эндоморфа, разглядывающих идеального мезоморфа — греческую статую в музее, — все просто животики надорвут. Что тут смешного? Он сломя голову помчался делать выводы о том, что соматика влияет на психику и что, может быть, тело — это и есть то самое бессознательное, про которое говорят психоаналитики: неизвестный фактор, из глубин которого поднимаются непредвиденные и неподконтрольные элементы человеческого духа. И что научиться разумно обращаться со своим телом означает найти путь к душевному здоровью. Прекрасно звучит, но только попро-

буйте доказать. Это уже работа для таких, как я.

Было уже поздно, и я собрался уходить — Ози явно показал нам все, что собирался. Но, уходя, я вспомнил про Пегги. В наши дни слишком подробные вопросы о женах друзей могут оказаться нетактичными, если вдруг выяснится, что они уже больше не жены. Но я рискнул:

— Как поживает Пегги?

— Как мило, что ты спросил. Она будет счастлива, что ты про нее вспомнил. Бедняжка Пег.

— Надеюсь, она здорова? Я помню ее главной чирлидершей.

— Правда, она была потрясающая? Какая фигура! Каждая унция упруга, как резина. Просто шаровая молния. Господи, видел бы ты ее сейчас.

— Очень жаль такое слышать. Что-то серьезное?

— О, она вполне здорова. Это все ее тип, понимаешь, ее соматический тип. Ее постигло ПП — то, что Шелдон назвал «проклятье пикника». Пикник, понимаешь? Ну да, ты же знаешь греческий. Компактная, упругая фигура. Но у нее самую чуточку смещен баланс элементов, она четыре-четыре-два, и… в общем, она сейчас весит много больше двухсот фунтов, бедная, а росту в ней едва

пять футов три дюйма.[56] Нет, детей у нас нет. Но она не унывает. Ходит в кружки при местном колледже — «Стрижка и тримминг собак», «Йога для пробуждения и бодрости», «Писательское мастерство» и тому подобная херня. А я часто задерживаюсь в лаборатории по вечерам… ну, ты понимаешь.

Я понимал. Старый Шутник чересчур сурово обошелся с Ози и Пегги, и, даже будь у Ози получше с чувством юмора, вряд ли можно было ожидать от него радости по этому поводу.

Мы шли с Марией по университетскому городку, и она заметила:

— Я все думаю: может быть, профессор Фроутс — маг?

— Думаю, вы бы его сильно удивили таким предположением.

— Да, он не хотел и слушать про Парацельса. Но именно Парацельс говорил, что святые мужи, служащие силам природы, — маги: они могут делать то, что недоступно другим, потому что у них особый дар. Я уверена, что трудам профессора Озии Фроутса покровительствует Гермес Трисмегист, Триждывеличайший. Во всяком

---

[56] Примечания и комментарии: 56

…весит много больше двухсот фунтов, бедная, а росту в ней едва пять футов три дюйма. — Более 90 кг при росте менее 160 см.

случае, я на это надеюсь, потому что, если это не так, профессор Фроутс далеко не уйдет. Жаль, что он не читал Парацельса. Тот говорил, что душа каждого человека соответствует плану его тела, его кровеносных сосудов. Я уверена, что Шелдон согласился бы.

— Мне кажется, у Шелдона было чувство юмора. Он бы согласился уступить пальму первенства средневековому алхимику. А Ози — нет.

— Жаль, что естественные науки — такие… науки, правда?

— Мисс Феотоки, это реплика гуманиста, будьте с ней очень осторожны. Мы, гуманисты, — вымирающий вид. Во времена Парацельса энергия университетов рождалась из конфликта между гуманизмом и теологией; энергия современного университета кроется в любовной интрижке правительства с естественными науками, и иногда эти влюбленные настолько близки, что становится страшно. Если вам нужен маг, поглядите на Клемента Холлиера.

С этими словами мы расстались, но мне показалось, что она удивленно взглянула на меня.

Я зашагал к Плоурайту, думая о фекалиях. Как много люди узнали о доисторическом прошлом, изучая окаменелый помет давно вымерших жи-

вотных. На самом деле это чудо: прошлое оживает через то, что было беспечно отброшено. А как живо средневековые люди, еще не отдалившиеся от природы, интересовались пометом животных. И какое разнообразие названий: заячьи орешки, конские яблоки, коровьи лепешки, овечьи горошки, лисьи катышки… Ведь можно же, наверное, приискать другие названия для вещества, столь близкого сердцу Ози Фроутса, — получше, чем «дерьмо»? Например, сноски библиотекаря, скидки футболиста, мины сапера, вавилоны архитектора, отложения геолога, удобрения агронома, вклады банкира? А для меня самого, может быть, подойдет слово «десятина»?

Размышляя на такую несерьезную тему, я пошел спать.

4

Я был уверен, что Холлиер скоро заставит Парлабейна зайти ко мне. И действительно, тот объявился на следующий вечер после моего визита к Ози Фроутсу.

Я был не в духе: у меня из головы не шла суровая оценка моего физического, а следовательно, и духовного состояния, которую дал вчера Ози. Я 425 — мягкий, массивный и, безо всякого сомнения, вскоре заплыву жиром. Я часто обещаю себе, что буду ежедневно ходить в спортзал, приведу себя в форму, и выполнил бы обещание, если бы не был так занят. Теперь Ози нанес мне удар, заявив, что жир — моя судьба, неизбежная ноша, внешний, видимый признак внутренней, лишь отчасти видимой любви к удобству. Быть может, я себя обманываю? Не зовут ли меня студенты за глаза Толстяком? Но пускай фея Карабос явилась на мои крестины с особым даром, тучностью, — там были и другие феи, добрые, они принесли мне интеллект и энергию. Но человеку свойственно недовольство тем, что он имеет, и я обижался на свой жир.

Хуже того, Ози предположил, что я из лю-

дей, постоянно пускающих ветры. Конечно, все понимают, что с возрастом это проявление человеческой природы только усиливается. Тем более излишне напоминать об этом священнику, часто посещающему пожилых людей. И зачем Фроутсу вздумалось обсуждать эту тему в присутствии Марии Магдалины Феотоки?

Так, еще одна причина для недовольства собой. Какое мне дело что подумает Мария? Но мне было до этого дело, и до того, что думают о ней люди, тоже. Откровения Холлиера меня разозлили: лучше бы ему не тянуть лапы к студентам… нет, нет, это несправедливо… ему не следовало злоупотреблять положением наставника, даже впав в экстаз из-за своих научных достижений. Я вспомнил Бальзака, который, обуреваем похотью, бросался на кухарку, прижимал ее к стене, а потом кричал ей в лицо: «Вы обошлись мне в целую главу!» — и мчался назад к своим рукописям. Мне не понравилось сообщение о том, что Мария орала на улице похабные песни: если это действительно так, наверняка у нее были свои причины.

Даркур, подумал я, ты чудишь из-за этой девушки. Почему? Я решил, что это из-за ее красоты, всеобъемлющей красоты, ибо она красива не только лицом, но и движениями, и редчайшей

чертой — прекрасным низким голосом. Ведь ничего страшного, если мужчина полюбуется красивой женщиной? Ничего страшного, если он не хочет выглядеть смешным толстяком, тайным пердуном в присутствии такого потрясающего Божьего творения? Я вспомнил, что Фроутс не попытался определить ее тип, и вряд ли из сдержанности, поскольку таковой не страдал. Боже мой, неужели он узнал в ней ПП, «проклятье пикника», еще одну Попрыгунью Пегги, которая к тридцати годам превратится в бочонок? Нет, не может быть: Пегги была словно надувной мячик, упругая, фонтанировала энергией, а к Марии ни одно из этих определений было неприложимо.

Когда явился Парлабейн, мои сорок футов литературных кишок роптали: за ужином я лишил их сладкого. Быть может, кого-то такие самоограничения ведут к святости, только не меня: я впадаю в раздражительность.

— Симочка, это ты, мой сладенький? Я тебя совсем забыл, и мне стыдно. Хочешь задать Джонни шлёпки по попке? Три раза по каждой щечке ужасно жесткой линейкой?

Видимо, он хотел начать разговор тем же тоном, на котором закончил двадцать пять лет назад. Парлабейн обожал нести пошлую игри-

вую чепуху, потому что она меня смешила. Но я никогда не играл с ним в эти игры, разве что в шутку: никогда не был одним из «мальчиков» теплой компашки, называвшей себя «услада джентльмена». Они меня интересовали (точнее сказать, завораживали), но меня никогда не тянуло присоединиться к их общей интимной жизни — уж не знаю, в чем она заключалась. Кстати, доподлинно этого я так никогда и не узнал, потому что они, хоть и говорили все время о гомосексуализме, после окончания университета в основном женились и упокоились, кажется, в полнейшей буржуазной респектабельности, которую лишь изредка разнообразили развод и второй брак. Один из этих мальчиков ныне стал судьей, и адвокаты подобострастно (или издевательски-подобострастно) обращались к нему «милорд». Я полагаю, что мальчики, как и сам Парлабейн, в свое время перебесились: один-двое были на очень дружеской ноге со всеядной Элси Уистлкрафт, которая мнила себя великой гетерой, посвящающей нетронутых юнцов в искусство любви. В молодости многие экспериментируют, пока не остановятся на том, что подходит им больше всего (обычно это традиционный вариант). Однако я был осторожен, скрытен и, видимо,

труслив — и никогда не входил в число Парлабейновых «мальчиков». Но когда-то мне льстило, что он говорит со мной как с одним из них.

Глупо, но кто из нас никогда не валял дурака тем или иным образом? Однако прошло двадцать пять лет, и нынче такие манеры неуместны. Наверное, мой ответ прозвучал сурово:

— Ну, Джон, я слыхал, что ты вернулся, и ждал, что ты рано или поздно ко мне зайдешь.

— Да, я непростительно долго откладывал этот визит. *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa,* как говорят у нас в лавочке. Но вот он я. Я слыхал о тебе замечательные вещи. Прекрасные книги.

— Да, смею надеяться, неплохие.

— И священный сан. Ну… лучше сразу с этим покончить: ты видишь по моей рясе, что я переменился. Наверное, за это я должен благодарить тебя — по крайней мере, частично. Знаешь, я часто вспоминал тебя все эти годы. Твои слова всплывали в памяти. Ты был мудрее меня. И я наконец пришел в Церковь.

— Ты попробовал стать монахом, скажем так. Но у тебя явно ничего не вышло.

— Сим, ты слишком суров. Мне пришлось нелегко. Все как будто обратилось в прах и тлен. И разве удивительно, что я наконец пришел туда,

где ничто не подвержено тлену.

— Не подвержено? Тогда почему ты здесь?

— Если кто меня и поймет, так это ты. Я пришел в Орден священной миссии, желая убежать от вещей, превративших мою жизнь в ад, — а из них хуже всего было мое собственное своеволие. Я подумал: если отброшу своеволие, то смогу обрести покой, а с ним спасение. «Если будешь с радостью нести свой крест, он сам понесет тебя».

— Фома Кемпийский — ненадежный проводник для человека вроде тебя, Джон.

— Правда? А я думал, он как раз в твоем вкусе.

— Нет. Точнее говоря, я отношусь к нему со всяческим уважением. Но он — для честных людей, понимаешь, а ты никогда не был честным до конца. Нет, не перебивай, я тебя вовсе не оскорбляю, просто честность Фомы Кемпийского недостижима для такого хитрого человека, как ты. Так же как Фома Аквинский слишком тонок, чтобы служить тебе надежным руководством: ты замалевываешь его тонкость, но показываешь фигу в кармане его принципам.

— Неужели? Ты, кажется, видишь меня насквозь.

— Это только справедливо: когда мы были моложе, ты считал, что насквозь видишь меня. Я

полагаю, ты не смог нести свой крест с радостью и сбежал из монастыря.

— Ты одолжил мне денег для этого. Моя благодарность не имеет границ.

— Тебе придется разделить свою благодарность между мной и Клемом Холлиером. Хотя… может, у тебя в списке был еще кто-нибудь?

— Неужели ты думаешь, что паршивых пяти сотен мне хватило бы?

— Во всяком случае так говорилось в твоем красноречивом письме.

— Ну ладно, это дело прошлое. Мне нужно было выбраться из монастыря — всеми правдами и неправдами.

— Довольно неудачное выражение в твоем случае.

— Боже, какой ты стал вредный! Мы ведь братья по вере, разве не так? Где твоя любовь к ближнему?

— Я много думал о том, что значит любить ближнего, так вот: это не значит быть доверчивым простачком. Почему тебе нужно было уйти из монастыря? Тебя собирались вышвырнуть?

— Не с моим счастьем! Но они не хотели продвигать меня к рукоположению.

— Странное дело! Почему бы это, скажи на

милость?

— Ты саркастичен, как первокурсник. Слушай, я буду с тобой откровенен. Ты когда-нибудь бывал в таких местах?

— Раза два ездил на ретриты, когда был помоложе.

— Ты бы выдержал такую жизнь, если бы это было навсегда? Слушай, Сим, я не потерплю, чтобы со мной разговаривали как с каким-нибудь тупым кающимся грешником. Я не хулю орден: они дали мне то, чего я просил, — Хлеб Небесный. Но мне нужна хоть капля интеллектуального масла и джема на этом хлебе, иначе я им давлюсь! А мне приходилось слушать проповеди отца настоятеля, и это было все равно что лекции по философии на первом курсе, только сомневаться не разрешали. У меня в жизни должна быть хоть какая-то игра интеллекта, иначе я сойду с ума! И хоть немного юмора — не туповатые шутки, которые отвешивал отец провинциал в разговоре с братией, когда хотел показаться «своим парнем», и не детские грязные анекдоты, которые шепотом рассказывали в перерывах послушники, чтобы показать, что уж они-то знают жизнь. Мне нужен благотворный, целительный, сочный юмор — как у этого чертова Рабле, про которого

мне все уши прожужжали. Мне нужна хоть какая-то закваска, чтобы положить ее в бескваснoе тесто Хлеба Небесного. Если бы мне позволили стать священником, я мог бы привнести нечто полезное, но они не согласились, и я думаю, что ими руководили лишь зависть и злоба!

— Зависть к твоей учености и уму?

— Да.

— Может быть, отчасти и так. Зависть и злоба встречаются в монастырях не реже, чем за их стенами, а у тебя особо бесстыдный ум, который не может замаскироваться даже ради не столь одаренных людей. Но что сделано, то сделано. Вопрос в том, чем ты занимаешься теперь.

— Я немножко преподаю.

— На вечерних курсах.

— Мне это полезно для смирения.

— На вечерних курсах преподает множество прекраснейших людей.

— Но черт побери все на свете, я не просто «прекраснейшие люди»! Я лучший философ, какой когда-либо учился в этом университете, черт бы его драл, и ты это прекрасно знаешь.

— Может быть. Но, кроме того, ты тяжелый человек и никуда не вписываешься. У тебя есть какие-нибудь другие планы?

— Да, но мне нужно время.

— И деньги, надо думать.

— А разве ты в свое время мог предугадать…

— Что ты собираешься делать?

— Я пишу книгу.

— О чем? Раньше твоей специальностью был скептицизм.

— Нет, нет, это совсем другое. Я пишу роман.

— И что, собираешься заработать на нем кучу денег?

— Ну конечно, не сразу.

— Попробуй обратиться за грантом в Канадский совет:[57] он поддерживает писателей.

— Ты напишешь мне рекомендацию?

— Я каждый год рекомендую довольно много народу. Но всем известно, что я не разбираюсь в литературе. Откуда ты знаешь, что можешь написать роман?

— Потому что он уже сложился у меня в голове! И он просто феноменальный! Блестящее

---

[57] Примечания и комментарии: 57

Попробуй обратиться за грантом в Канадский совет… — Канадский совет по искусствам — государственная структура, созданная правительством Канады для развития, пропаганды и популяризации различных видов искусства. Совет финансирует работу канадских деятелей искусства и стимулирует создание произведений искусства в Канаде, а также пропаганду канадского искусства за рубежом. В частности, этот перевод трилогии Робертсона Дэвиса осуществлен при поддержке Канадского совета.

описание жизни в этом городе, какой она когда-то была, — андерграунда, потайной жизни то есть, — но в основе повествования лежит анализ нравственных болезней нашего времени.

— О боже!

— Что именно ты хотел этим сказать?

— Я хотел сказать, что этой теме посвящены примерно две трети первых романов. Очень немногие из них публикуются.

— Какой ты злой! Ты же меня знаешь: помнишь вещи, которые я писал в студенческие годы? С моим интеллектом…

— Этого я и боюсь. Романы пишутся не интеллектом.

— А чем же?

— Спроси Озии Фроутса: он говорит, что сорокафутовыми кишками. Погляди на себя: ярко выраженный мезоморфный элемент в сочетании со значительной эктоморфией, но почти никакой эндоморфии. Ты себя совершенно не берег, ты пил, торчал и скитался, и у тебя по-прежнему спортивная фигура. Наверняка у тебя жалкий, коротенький кишечник. Когда ты последний раз ходил в туалет?

— Это еще что за хрень?

— Новая психология. Спроси Фроутса. А теперь,

Джон, давай заключим договор…

— Мне только немножко денег, чтобы перебиться…

— Хорошо, но я сказал «договор», и вот какой. Перестань ходить в этом наряде. Мне противно смотреть, как ты разгуливаешь, прикидываясь служителем Церкви, хотя не служишь никому, кроме себя самого и, возможно, дьявола. Я дам тебе костюм, и ты будешь его носить, иначе не получишь никаких денег и ни крошки моей помощи.

Мы перебрали мои костюмы. Я собирался отдать ему тот, который стал тесноват, но Парлабейн, не помню, как это ему удалось, выпросил один из лучших моих костюмов — элегантного священнического серого цвета, хотя и не священнического покроя. И пару хороших рубашек, и пару темных галстуков, и сколько-то носков, и несколько носовых платков, и даже почти новую пару ботинок.

— Ты точно поправился, — сказал Парлабейн, прихорашиваясь перед зеркалом. — Но я умею обращаться с иголкой — сделаю пару вытачек.

Наконец он собрался уходить, и я, чисто по слабости, налил ему выпить — одну порцию.

— Как ты переменился, — сказал он. — Знаешь,

ты был таким размазней. Мы как будто поменялись ролями. Ты, набожный в юности, стал жестким, как камень; я, неверующий, пытался стать священником. Неужели жизнь так размыла твою веру?

— Укрепила, я бы сказал.

— Но когда ты читаешь Символ веры, ты на самом деле веришь в то, что произносишь?

— В каждое слово. Перемена заключается в том, что я верю и в кучу других вещей, которых в Символе веры нет. Он записан как бы стенографией. Только самое нужное. Но я живу не только самым нужным. Если человек твердо решил вести религиозную жизнь, ему нужно укрепиться умом. Его ум делается как столбовая дорога для всех мыслей, и среди этих мыслей он должен выбирать. Помнишь, Гёте говорил, что не слышал о преступлении, какого и сам не мог бы совершить? Если отчаянно цепляться за добро, как ты узнаешь, что такое на самом деле добро?

— Понимаю. Ты что-нибудь знаешь о девушке по фамилии Феотоки?

— Это моя студентка. Да.

— Я ее иногда вижу. Она *soror mystica* Холлиера, ты знал? А я его *famulus,* хотя он всячески пытается меня выставить. Так что я ее довольно часто

вижу. Она красотка, аж в штанах шевелится.

— Мне об этом ничего не известно.

— Зато Холлиеру, кажется, известно.

— Что ты хочешь сказать?

— Я думал, может, ты что-нибудь слышал.

— Ни слова.

— Ну ладно, мне пора. Жаль, что ты совсем испортился как священник.

— Не забудь, что я тебе сказал про монашеское облачение.

— Ой, да ладно тебе — иногда не грех. Я люблю в нем читать лекции своим взрослым ученикам.

— Поберегись. Я могу серьезно испортить тебе жизнь.

— Епископу настучишь? Ему плевать.

— Не епископу. Полиции. Не забудь, ты у них на заметке.

— Ничего подобного!

— Неофициально. Может быть, они просто хранят кое-какие записи. Но если я еще раз поймаю тебя в этом маскарадном костюме, братец Джон, я на тебя настучу.

Он открыл рот, подумал и закрыл. Чему-то он все-таки научился: не оставлять за собой последнее слово любой ценой.

Он допил свой стакан, бросил тоскливый взгляд

на бутылку (я сделал вид, что не замечаю) и ушел. Но у двери обратил ко мне жалостный призыв, который обошелся мне в пятьдесят долларов. И свою монашескую рясу он тоже забрал, свернув ее в узел и завязав собственным поясом.

Второй рай IV

1

— *Пошрат!*

Мамуся с размаху отвесила мне пощечину. Удар был не слабый, но я зашаталась чуточку сильнее, чем можно было ожидать, заскулила и притворилась, что вот-вот упаду. Она бросилась ко мне и приблизила лицо вплотную к моему, дыша чесноком и яростью.

— *Пошрат!* — снова завизжала она и плюнула мне в лицо.

Привычная сцена из нашей совместной жизни; я знала, что слюну вытирать нельзя. Нужно потерпеть, и в конце концов, скорее всего, выйдет по-моему.

— Ты ему рассказала! Выболтала своему *гаджё* про *бомари!* Ты меня ненавидишь! Хочешь меня уничтожить! О, я знаю, как ты меня презираешь, как стыдишься, как хочешь меня погубить! Ты завидуешь моей работе, которой я едва зарабатываю себе на хлеб! Но ты думаешь, что я уже зажилась на свете, что какая-то шлюха-*пошрат* может меня растоптать и свести в могилу, вырвать у меня тайны! Я тебя убью! Я приду ночью и зарежу тебя, когда ты будешь спать! Не пяль на

меня свои бесстыжие бельма, или я тебе их иглой выколю! — (Я на нее не смотрела, но это была ее излюбленная угроза.) — О, за что мне такое наказание! Расфуфыренная дамочка, шлюха *гаджё!* Ты его шлюха, верно ведь? И хочешь привести его сюда, чтобы он за мной шпионил! Чтоб тебя Младенец Иисус терзал огромным железным крюком!

Она все ярилась и ярилась, получая от этого колоссальное удовольствие; я знала, что в конце концов ярость перейдет в хорошее настроение и мать начнет подлизываться, принесет мне мокрый холодный мятный компресс на лицо и рюмку Еркиной сливовицы, и поиграет мне на *боше*,[58] и споет, и ее любовь будет такой же визгливой, как ее гнев. Мне осталось только правильно сыграть сломленную, покаянную дочь, для которой единственный свет в окошке, солнце или тучи на небосклоне — любовь матери.

Мою жизнь никак нельзя было назвать однообразной. В университете я была мисс Феотоки, способная аспирантка, стоящая несколько выше других из-за принадлежности к избранной группе научных сотрудников; у меня были дру-

[58] Примечания и комментарии: 58

Скрипка *(цыг.)*. Переводчик благодарит Лилит Мазикину за консультации, связанные с цыганской культурой.

зья и неприметное, надежное место в научной иерархии. Дома я была Мария, из кэлдэраров,[59] из ловарей,[60] но не совсем, так как мой отец не принадлежал к этому древнему и гордому племени, но был *гаджё;* и потому, если мать была мной недовольна, она обзывала меня оскорбительным словом «пошрат» — «полукровка». Все, что было со мной не так, по мнению матери, объяснялось тем, что я *пошрат.* Конечно, в этом некого винить, кроме самой матери, но говорить об этом, когда она сердится, было бы нетактично.

Я наполовину цыганка, и после смерти отца эта половина в сознании моей матери, кажется, выросла до трех четвертей, а может, и до семи восьмых. Я знала, что она меня очень любит, но, как часто бывает, ее любовь по временам становилась тяжким бременем, а ее требования — пыткой. Жить с матерью означало жить по ее законам, которые почти во всем шли вразрез с тем, чему меня учили в других местах. При жиз-

---

[59] Примечания и комментарии: 59

Кэлдэрары — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. В России и на Украине называют себя котлярами.

[60] Примечания и комментарии: 60

Ловари — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. На данный момент довольно обширно рассеяны по Европе, России, США. Сформировались как этногруппа на территории Венгрии.

ни отца все было по-другому, потому что он мог ее контролировать: не криком и не тиранством — так правила она, — а лишь необыкновенной силой своего благородного характера.

Он был поистине великим человеком, и со дня его смерти — мне тогда было шестнадцать лет — я искала его или кого-то похожего во всех мужчинах. Я знаю, что психиатры объясняют причину таких поисков проблемным девушкам, словно это какая-то глубочайшая тайна, которую девушки никогда не раскрыли бы сами. Но я всегда знала: я ищу своего отца, я хочу найти мужчину, равного ему отвагой, мудростью, способностью дарить тепло и любовь. Раза два мне на миг показалось, что я нашла такого человека в Клементе Холлиере. Я знала, что он мудр; я была уверена, что он проявит храбрость, если потребуют обстоятельства; способность дарить тепло и любовь я хотела бы в нем пробудить, но знала, что нельзя вешаться ему на шею. Я должна служить ему; я должна выразить свою любовь смирением и жертвенностью; он должен сам меня заметить. И в тот апрельский день, на диване, я думала, что он меня действительно заметил. Я пока не разочаровалась, но уже начала самую чуточку сердиться. Когда же он проявит себя

как преемник моего любимого Тадеуша, моего любимого отца?

Разве я современная девушка, если питаю подобные мысли? Наверное, я современная: ведь я живу сейчас. Но я, как и все остальные, живу, по словам Холлиера, в смешении эпох: какие-то мои мысли принадлежат сегодняшнему дню, какие-то — далекому прошлому, а какие-то — эпохе, которая ближе моим родителям, чем мне. Если бы я могла упорядочить эти идеи и управлять ими, я бы лучше понимала, на чем стою, но порой, когда мне больше всего хочется быть современной, прошлое лезет в мою жизнь, а порой, когда я тоскую по прошлому, мне некуда деваться от настоящего — как в те минуты, когда мне хочется, чтобы Тадеуш не умер, а был со мной сейчас, объяснял, направлял и помогал найти свое место в жизни. Когда мои знакомые девушки выражают желание стать свободными, когда я слышу других женщин, радующихся тому, что они называют освобождением, я чувствую себя полной дурой, потому что просто не знаю, где я и кто я.

Однако я знаю, где я была или, точнее, где были и где прожили судьбоносные части своей жизни люди, от которых идет все мое «я». Мой отец, Тадеуш Бонавентура Нимцевич, был поляк и

имел несчастье родиться в Варшаве в 1910 году. Я говорю «несчастье», потому что слишком скоро началась великая война и семья отца, довольно состоятельная, потеряла все, кроме богатых запасов гордости. Отец был очень образованный человек, инженер по профессии, со специализацией по открытию и оборудованию заводов. Именно эта работа еще молодым привела его в Венгрию, и скоро он, как многие другие поляки, обосновался в Будапеште. Для удобства венгерских друзей, которым было тяжело выговаривать фамилию Нимцевич, он добавил к ней Феотоки, девичью фамилию своей матери. У нее были греческие корни.

Он был романтиком — точнее, мне нравится так о нем думать — и, как многие люди романтического склада, влюбился в цыганку, но, в отличие от многих, женился на ней. Это была моя мать, Орага Лаутаро.

Не все цыгане — кочевники, и семья матери, потомственные музыканты, уже много лет жила в Будапеште: цыгане-музыканты предпочитают играть в шикарных ресторанах, офицерских клубах и домах богатых людей, а не скитаться по дорогам. Надо сказать, что цыгане-музыканты считают себя аристократами среди своего наро-

да. Моя мать выделялась, потому что играла на скрипке перед публикой: обычно цыгане-скрипачи все мужчины, а женщины пляшут и поют. Она была очень красива и пробуждала страсть; молодой польский инженер искал ее благосклонности и наконец уговорил обвенчаться с ним, как по цыганскому обряду, так и в католической церкви.

Приближение Второй мировой отец почуял нутром, а может, понял по характеру своей работы в промышленности. Отец решил убраться из Европы и стал устраивать отъезд. Хлопоты заняли столько времени, что отец с матерью едва успели добраться до Англии к осени 1939 года, когда началась война. Там их нагнал Ерко, брат матери, после путешествий по Франции, где он странствовал по причинам, о которых я расскажу в свой срок. В Англии семья прожила до 1946 года; мой отец был в армии, но не солдатом: он проектировал оборудование и планировал его производство, а Ерко работал при нем техником — делал модели. У Тадеуша и матери родился ребенок, но скоро умер, и, лишь когда они приехали в Канаду и осели в Торонто, родилась я — в 1958 году, когда матери было уже под сорок. (Она всегда говорила, что родилась в 1920 году,

но мне кажется, что она точно не знала, и у нее, конечно, не было никаких подтверждающих документов.) К этому времени отец и Ерко наладили собственный бизнес — производство больничного оборудования: отец умел управлять производством, а Ерко, талантливейший механик, мог сделать и улучшить рабочую модель любого отцовского изобретения. Казалось, что семью подхватила и несет волна успеха, пока в 1975 году отец не умер — не картинно, надорвавшись от чрезмерных трудов, а буднично, от запущенной простуды, которая перешла во что-то другое и оказалась непобедимой. До этого наша семья, наверное, мало чем отличалась от любой другой семьи канадских иммигрантов европейского происхождения — немножко иностранцы, но без вопиющих контрастов с окружающей североамериканской жизнью. Но смерть отца все перевернула, и от этого переворота семья так и не оправилась.

У отца был сильный характер: отец очень любил мать, ему нравилось думать, что она цыганка, но при нем было ясно, что мы должны жить как обеспеченная польская семья. Моя мать одевалась как состоятельная женщина, и в дорогих магазинах ее отучили от крикливых

цветов и длинных юбок в пол. Она редко говорила по-цыгански, на языке своего детства, — разве что со мной и Ерко, а с отцом обычно общалась по-венгерски; она немножко научилась у отца польскому, и я тоже учила этот язык наравне с венгерским; мать иногда ревновала, видя, что мы с отцом разговариваем на языке, которым она владеет не свободно. Английский она так и не выучила как следует, но это не осложняло ее жизнь, так как в Торонто хватало людей, с которыми она могла говорить по-венгерски. В компании, где говорили по-английски, она переходила на ломаный английский, которому умудрялась придавать определенный шарм, — подобная речь неотразимо действует на англоговорящих. Вспоминая годы, предшествующие смерти отца, я понимаю теперь, что мамуся жила своего рода приглушенной, замкнутой жизнью. Любимый человек обволакивал ее, как меня ныне обволакивает Холлиер.

Меня научили называть ее мамусей сами родители — так ласкательно обращается к любимой матери хорошо воспитанный польский ребенок. Канадские дети, слушая нас с матерью, думали, что я говорю «мамуша» (всем канадцам медведь на ухо наступил), но, если правильно произно-

сить это слово, оно звучит ласково и нежно. Кроме того, в дни рождения и на Рождество я называла ее «édesanya»,[61] как положено в состоятельных венгерских семьях. Отца я обычно называла по-венгерски — «édesapa».[62] Когда мать хотела его позлить, она учила меня называть ее «мамина» — это почти то же самое, что грубое «мамка», и отец хмурился и укоризненно цокал языком. Он никогда не сердился, но это цоканье было для меня все равно что выговор.

Меня воспитывали, как мне кажется, довольно строго: *édesapa* не любил канадских вольных манер и не мог понять, что канадцы вовсе не желают его обидеть таким обращением. Он был поражен, когда узнал, что в хорошей монастырской школе, куда меня отдали, девочек учат играть в софтбол и лакросс и что монахини сами подбирают юбки и прыгают с нами. Вид монахинь на коньках — а это на самом деле очень красиво — совершенно выбил отца из колеи. Конечно, это были традиционные монахини, в одеяниях до пят; когда в шестидесятые годы в монашеской одежде произошла революция, отцу, наверно, показа-

[61] Примечания и комментарии: 61
Матушка *(венг.).*

[62] Примечания и комментарии: 62
Батюшка *(венг.).*

лось, что небо падает на землю. Теперь я знаю, что стареющий романтик почти неотличим от стареющего консерватора, но тогда, как верная дочь, я старалась хотя бы частично разделять его негодование. Но безуспешно. День, когда отец узнал, что я, подобно другим девочкам в монастыре, за глаза называю мать настоятельницу «мама-супер»,[63] был черным днем в моей жизни. Бедный *édesapa,* такой милый, такой галантный, такой рыцарственный, но — даже я вынуждена признать — такой отсталый в некоторых вещах. Однако благородство его духа и высокие идеалы пленили меня и до сих пор держат в плену.

Я не знаю, как ему удалось заработать столько денег. Многие думают, что бизнес и возвышенные представления о жизни не сочетаются, но я в этом не уверена. Отец, без сомнения, заработал много — мы были изумлены, узнав после его смерти, сколько именно. Ерко не смог бы вести дело в одиночку, зато ловко продал его конкурирующей фирме; в результате у мамуси оказалась неплохая сумма, лежащая в доверительном управлении, и у меня тоже, и сам Ерко стал довольно богатым человеком. Конечно, у каждого свое представле-

[63] Примечания и комментарии: 63

«Мама-супер» — от Mother Superior (титул настоятельницы монастыря).

ние о богатстве; должно быть, настоящие богачи сами не знают, чем владеют. Но Ерко был богат превыше всяких представлений венгерского цыгана-музыканта о богатстве; он обильно рыдал и уверял меня, что после него все достанется мне и что он часто ощущает на себе холодную руку смерти. Ему было только пятьдесят восемь, он был силен как бык и вел образ жизни, который давно уже прикончил бы человека послабее, но он говорил о смерти как человек, с часу на час ожидающий ее прихода.

Много раздоров вызвало то, что я должна была получить всю сумму, лежащую в доверительном управлении, по достижении двадцати пяти лет и весь мамусин капитал после ее смерти. Мамуся решила — и никакие мои уговоры, никакие объяснения растерянных мужчин из компании по доверительному управлению не смогли ее разубедить, — что я прикарманила все деньги, что ее обожаемый Тадеуш каким-то образом поступил с ней по-свински и что она почти нищая. Где ее деньги? Почему ей не дали их в руки? Да, она ежемесячно получает чек на солидную сумму, но почем она знает, сколько это будет продолжаться? В глубине души она прекрасно знала, что к чему, но ей нравилось скандалить по-цыгански,

глядя, как сотрудники доверительной компании пятятся и судорожно сглатывают перед лицом ее гнева.

На самом деле она испытывала опьяняющий прилив энергии — это иногда бывает с женщинами после смерти мужа. Она горевала по Тадеушу в настоящем цыганском духе, клялась вскоре последовать за ним в могилу и несколько недель ходила с траурным видом. Но всю эту скорбь, частью напускную и частью искреннюю, пронизывало осознание того, что она свободна, что долг респектабельности *гаджё,* который лег на нее в результате замужества, уплачен ею сполна. Свобода для мамуси означала возврат к цыганской жизни. Мамуся надела траур — старомодный жест, но необходимый для утоления скорби. Но так и не вышла из траура — модная одежда понемногу исчезла, и в шкафах воцарились вещи в ярко выраженном стиле *Ciganyak.*[64] Мать надевала сразу несколько юбок и, к моему ужасу, перестала носить нижнее белье.

— Грязные вещи, — говорила она в ответ на мои протесты, — всего несколько дней, и они становятся гадкие, вонючие; только неряха может

---

[64] Примечания и комментарии: 64
Цыгане *(венг.).*

такое носить.

Она вернулась к цыганским понятиям о чистоте, которые очень сильно отличаются от современных; единственным предметом нижнего белья была сорочка, которую она хорошенько стирала вручную раз в несколько месяцев; она не мылась, но втирала в кожу оливковое масло, а в волосы — другое, ароматическое. Я не говорю, что она стала замарашкой, но североамериканский идеал чистоты был чужд ее личному стилю. Золотые цепи и россыпи золотых колец, припрятанные со дней ее ресторанных скрипичных выступлений, вновь увидели свет; они музыкально звенели и брякали, когда она двигалась. Она часто говорила, что настоящее золото звенит по-особенному и этот звук не похож ни на какой другой. Она теперь постоянно ходила в черном платке: выходя в мир *гаджё,* она завязывала его под подбородком, а дома — на затылке. Она была красивой женщиной, колоритной фигурой, но не каждый согласился бы иметь такую мать.

Мамуся жила в мире тайн и в высшей степени разделяла убеждение, что цыгане — утонченные существа, а все остальные — *гаджё,* то есть лохи, доверчивые простачки, предназначенные для того, чтобы их обманывать. Это убеждение сидело в

ней очень глубоко; иногда она была вынуждена принимать какого-нибудь *гаджё* почти как равного, признавая, что и у них есть своя хитрость. Но твердая вера в собственное хитроумие и превосходство никогда не убывала надолго.

Именно это убеждение приводило к самым жестоким ссорам между нами. Мамуся неустанно и виртуозно воровала в магазинах. Мы питались в основном краденой едой.

Когда я протестовала, она говорила:

— Но они такие тупые! В этих ихних супермаркетах длиннющие коридоры заставлены чем попало, и нужными вещами, и всякой дрянью, на которую только *гаджё* и польстится. Если они не хотят, чтобы у них воровали, пускай поставят охрану.

— Но они доверяют людям, — объясняла я, и мамуся разражалась чудовищным, жестким цыганским смехом. Я продолжала, уже правдивей: — Ну, если честно, охрана обошлась бы дороже, чем стоят украденные вещи.

— Значит, они этого ожидают. Так чего ты шумишь?

И мне нечего было ответить.

— Но если тебя поймают — подумай, какой позор! Ты вдова Тадеуша Феотоки! Как это будет

выглядеть, если ты попадешь под суд?

(Я думала и о позоре, который ждет меня, если все узнают, что моя мать воровка.)

— Но я не собираюсь попадаться, — отвечала она.

И действительно, она ни разу не попалась. Она не ходила слишком часто в один и тот же супермаркет, а перед входом становилась сутулой, трясущейся, растерянной; шаркая по проходам супермаркета, она устраивала потрясающий спектакль со старомодными очками: то поправляла их, пытаясь закрепить на носу, то начинала с превеликим трудом читать инструкции на этикетке консервной банки, которую держала в правой руке; левой же в это время ловко переносила товар с нижней полки во внутренние карманы потертого черного пальто, которое всегда надевала в эти пиратские рейды. На подходе к кассе в руках у матери оказывались лишь одна или две мелкие упаковки, и она открывала кошелек, стараясь, чтобы кассир хорошенько разглядел его жалкое содержимое; иногда она откапывала целых восемнадцать центов одноцентовыми монетками, чтобы наскрести нужную сумму. Бедная! Как жаль этих одиноких старушек, перебивающихся на скудную пенсию по

старости! (Грозная старая разбойница, надувающая глупых *гаджё!*)

Я старалась как можно меньше питаться дома — не только потому, что не одобряла мамусиного способа приобретения продуктов, но еще и потому, что плоды ее преступлений составляли невкусный и нездоровый рацион. В любом случае цыгане готовят, по современным понятиям, просто ужасно, а хозяйственный порядок, который поддерживался у нас дома при Тадеуше, отошел в прошлое. В день великой битвы из-за Холлиера на ужин была свинина с бобами, густо посыпанная паприкой, и особый мамусин кофе — она готовила его, добавляя чуть-чуть нового кофе к спитой гуще старого и ставя на огонь, чтобы кипел, пока не понадобится.

Как я и предвидела, за бурей последовало затишье, на мое избитое лицо наложили примочки, мы с матерью всласть пообнимались, и я немного порыдала. Поцелуи считаются у цыган слишком важным действием, чтобы обмениваться ими после обычной семейной размолвки; их приберегают для важных случаев, так что мы не поцеловались.

— Зачем ты рассказала ему про *бомари?* — спросила мамуся.

— Потому что это важно для его работы.

— Это важно и для моей работы, но уже не будет важно, если все об этом узнают.

— Я уверена, он сохранит тайну.

— Тогда он будет первым *гаджё,* который так сделал.

— О мамуся, а как же отец?

— Твой отец был связан со мной великой клятвой. Брак — это великая клятва. Никакая сила не заставила бы твоего отца выдать мою тайну — или меня выдать какую-нибудь его тайну. Мы были мужем и женой.

— Я уверена, что профессор Холлиер поклянется, если ты его попросишь.

— Поклянется не произносить ни единого слова про *бомари?*

Я поняла, что сваляла дурака.

— Конечно, он захочет об этом написать, — сказала я, ожидая, не начнется ли снова ужасный скандал.

— Что написать?

— Статьи в ученых журналах; может быть, даже книгу.

— Книгу про *бомари?*

— Нет, нет, не только про *бомари,* про разные вещи, которые мудрые люди вроде тебя сохрани-

ли по сей день.

Это была цыганская лесть с моей стороны: мамуся убеждена в своей необыкновенной мудрости. У нее и доказательство есть: когда она родилась, ее отцу и матери на двоих было больше ста лет. Это верная примета.

— Странный он учитель, если хочет учить *бомари* этих плосколобых бездельников в университете. Они не управятся с *бомари,* даже если им все про него рассказать.

— Мамуся, он не для того хочет узнать, чтобы рассказывать студентам. Он хочет написать об этом для немногих очень ученых людей, таких как он сам, которые интересуются сохранившейся древней мудростью и древними поверьями. Современному миру ужасно не хватает этой мудрости. Он хочет воздать почести таким людям, как ты, которые страдали и молчали, чтобы сохранить древние тайны.

— Он запишет мое имя?

— Никогда, если ты его попросишь не называть тебя; он напишет, что узнал то-то и то-то от очень мудрой женщины, которую ему посчастливилось встретить при обстоятельствах, которые он поклялся не открывать.

— Ах, вот как?

— Да. Ты же сама знаешь, что *гаджё* не смогут сделать *бомари,* даже если им все объяснить и рассказать. У них нет твоего опыта и твоей великой родовой мудрости.

— Ну что ж, маленькая *пошрат,* ты это затеяла, и, надо думать, мне придется довести дело до конца. Я это делаю для тебя, потому что ты — дочь Тадеуша. Ничто меньшее меня не убедило бы. Приводи своего мудреца.

2

«Приводи своего мудреца». Но это лишь начало; нужно провести встречу моего мудреца и мамуси так, чтобы никто из них не возненавидел меня на всю жизнь. Какая я дура! Зачем я это затеяла? Дура-*гаджи!* Удастся ли мне хоть ноги унести, не говоря уже про обожание, благодарность и, может быть, любовь Холлиера, которые я надеялась завоевать в результате? Зачем я только решила помочь ему изучать лечение грязью! Я как ученик волшебника из сказки: затеяла нечто такое, чего уже не могла остановить, и, может быть, в итоге волшебник меня накажет.

Мне хватило времени поразмышлять о своих бедах — весь вечер я провела в обществе мамуси, лежа на диване и меняя примочки каждые полчаса, а мамуся играла мне на скрипке и иногда пела.

Она была хитра и знала, как раздражает меня эта музыка. Я очень люблю музыку, в особенности утонченную, интеллектуальную; она уверяет меня в существовании порядка, а таких уверений очень мало в моей запутанной жизни. Но мамусина музыка — подлинно венгерская, цыганская:

жалобная, скорбная, воющая и вдруг переходящая в безумное веселье; пальцы скользят по грифу, извлекая глиссандо, похожие на первобытные вопли какого-то непостижимого для меня экстаза. Цыганская гамма — малая терция, увеличенная кварта, малая секста и большая септима — терзала мои нервы; благородному экстазу Баха почему-то довольно было диатонической шкалы. С этой музыкой мне приходилось бороться; ее первобытность и сентиментальность шли вразрез со всем, чем был для меня университет, но я знала, что это часть моего наследия, которое не удастся отсечь, как бы я от него ни отрекалась. О, я прекрасно знала, что со мной не так: я хотела быть интеллектуалкой, убежать от всего, что значила мамуся и стоящие за ней поколения кэлдэраров. И еще я знала, что этого можно добиться только предельным насилием над собой. Я подозревала, что даже моя мучительная страсть к Холлиеру проистекала лишь от желания сбежать из моего мира в его мир. Любовь это или нет?

Мамуся тем временем перешла на глубоко личную музыку — такое она никогда не играла в офицерских столовых и модных ресторанах. Она звала эту музыку медвежьей песнью: ее играли и пели цыгане, ходящие с медведем, своим зверям,

но я думаю, что эта песня гораздо старше: для цыган, сложивших ее в незапамятные времена, медведь был не только ценным имуществом и средством заработка, но спутником и, может быть, объектом поклонения. Вам не верится? Подумайте о том, как люди в наши дни беседуют со своими кошками и собаками; обычно это умилительные слова, подходящие, по мнению хозяев, не слишком опасному животному. Но как говорить с медведем, который может тебя убить? Как предложить ему дружбу? Как попросить у него мудрости, которая так непохожа на человеческую, но все же постижима для человека? Этой просьбой, кажется, и была медвежья песнь — музыка медленная, с длинными вопросительными паузами и сильным напором на низкие гортанные звуки, так редко слышные в той музыке, которую я понимаю и ценю. «Скырлы-скырлы». Как ты, братец Мартын? Что видишь? Что слышишь? А потом: «Грры-грры» — это братец Мартын (ибо всех цыганских медведей зовут Мартынами) говорит свое веское слово. Сыграет ли мамуся это для Холлиера? И (я не знала, насколько он чувствует такие вещи) поймет ли он что-нибудь в этой музыке?

«Приводи своего мудреца»; что подумает он о

доме, в котором я живу?

Это был большой и красивый дом в тяжеловесном банкирском стиле, каких так много в Роуздейле, самом дорогом, засаженном самыми роскошными деревьями квартале Торонто. Дом номер 120 по Уолнат-стрит был не самым красивым, но и не самым простеньким в этом квартале. Стены из сплошного кирпича, деревянные части выкрашены в белый цвет, на углах — импозантная рустовка; красивые деревья, за ними ухаживают и обрезают их; прекрасный газон, явно созданный профессионалом, густая трава без единого сорняка. Идеальный дом для польского инженера, преуспевшего в Новом Свете и желающего занять место в мире соответственно своим деньгам, способностям и очевидной респектабельности. Как гордился этим домом Тадеуш и как по-доброму смеялся, когда мамуся говорила, что дом слишком велик для пары с одним ребенком, даже если считать экономку, которая жила в своей собственной отдельной квартире на третьем этаже. Хороший дом, обставленный добротной мебелью, ухоженный наемными уборщиками и садовниками. Любой прохожий подумал бы, что это и до сих пор так.

Внутри, однако, произошли катастрофические

перемены. Когда Тадеуш умер, мамуся заговорила о продаже дома и покупке лачуги, более соответствующей ее финансовому положению нищей вдовы. Но брат Ерко убедил ее не глупить: она сидит на мешке с деньгами. Именно Ерко вспомнил, что при покупке дом оказался зарегистрированным в муниципалитете как многоквартирный и предназначенный для сдачи комнат внаем; это разрешение было получено в войну по какой-то временной надобности и впоследствии так и не отозвано, хотя Тадеуш занимал весь дом целиком. Ерко заявил, что нужно снова переделать дом в многоквартирный с меблированными комнатами и зарабатывать на этом. *Гаджё* всегда хотят жить в хороших местах.

Я не знаю, как выглядел дом раньше, но после того, как мамуся и Ерко с ним разделались, дом 120 по Уолнат-стрит, несомненно, стал одним из самых причудливых человеческих ульев в этом городе, славящемся своими причудливыми человеческими ульями. Из экономии Ерко почти всю работу сделал сам; руками он мог делать что угодно и с помощью одного рабочего превратил прекрасный, гордый дом Тадеуша в десять квартир: лучшая, состоящая из гостиной, кухни, спальни и солнечной веранды, досталась мамусе.

На первом этаже появились, кроме этого, две однокомнатные квартирки, темные и неудобные, как собачья конура; у одной после добавления кухни (больше похожей на стенной шкаф) и кукольной душевой кабинки оказалось не менее семи углов. Эти жилища были сданы двум молодым людям, мистеру Кольбенхайеру и мистеру Витраку. Кольбенхайер был скелетоподобен и объяснялся исключительно шепотом; насчет Витрака меня постоянно мучили мрачные предчувствия, потому что он выглядел как человек, твердо намеренный совершить самоубийство, а его квартира казалась идеальным фоном для такой несчастной кончины.

На втором этаже, где когда-то располагались спальни Тадеуша, мамуси и моя, появилась квартира с одной спальней, собственной ванной и крохотной кухонькой, а также гостиной, делившей окно с кухней благодаря архитектурному выверту Ерко, разгородившего окно пополам. В этой квартире жила королева наших съемщиков, миссис Файко, и три ее кошки. На том же этаже были три комнаты с общей кухней и ванной; в них обитали мисс Гретцер, миссис Новачински и миссис Шрайфогель, все старухи, хозяйки в общей сложности четырех пуделей и двух кошек.

Они согласились между собой, что, поскольку мало пользуются душем (из боязни застрять в нем и погибнуть в кипятке), его поддон можно заполнить рваной газетой и использовать как туалет для домашних животных. Предполагалось, что старухи вычищают его время от времени, но они были забывчивы и слабы здоровьем, так что эта работа обычно доставалась мне. В конце концов, мисс Гретцер было восемьдесят семь лет; насколько было известно, она уже три года не выходила из дому; миссис Новачински любезно совершала для нее все нужные покупки.

На верхнем этаже располагались две однокомнатные квартиры с общей ванной. В них проживали мистер Костич, который, по слухам, как-то был связан с химчистками, и мистер Хорн, санитар. Каждый раз, как мамуся упоминала профессию мистера Хорна, он орал: «Да уж точно, что не санитарка!» — и оттого пользовался среди жильцов репутацией остряка.

В подвале располагалась очень большая пятикомнатная квартира, где жил дядя Ерко, где стоял его самогонный аппарат и где мамуся делала свою самую важную и секретную работу.

Отделкой всех этих комнат и квартир тоже занимался Ерко. Он удачно купил по дешевке

партию краски и обоев, залежавшуюся на складе. Обои были синие, с большими темно-синими розами — совершенно ужасный фон для многочисленных семейных портретов и свадебных фотографий, которыми старухи украшали свои комнаты. Что же до краски, она была розовая. Не нежно-розовая и не какого-либо оттенка розового цвета, а РОЗОВАЯ. Для укрепления сил Ерко, работая, постоянно отхлебывал сливовицы собственного производства, в результате чего ни одно полотно обоев не легло прямо, а на полу возникли большие пятна краски. Когда цыганская парочка начала наконец принимать жильцов (предпочтительно *гаджё,* не слишком богатых хитростью), это был пьяный, опустившийся, изнасилованный дом. В нем воняло; из каждого угла разило по-своему. Это была траурная симфония в ключе «кот-минор», с низкими басовыми нотами в ключе «старый пес» и модуляциями старости, увядающих жизней и утраченных надежд.

Куда же смотрели муниципальные инспекторы, призванные следить за подобными заведениями? Почему не закрыли этот ужасный кроличий садок? Ерко знал свое дело. Инспекторы взяток не берут, это всем известно. Но им мало платят (во всяком случае, они так думают), а им и их женам

хочется иметь хорошие вещи — посудомоечные машины, электрические газонокосилки и кондиционеры. Ерко мог доставать для них эти вещи по оптовым ценам: у него остались связи в промышленности еще со времен работы с Тадеушем. Он оказывал инспекторам любезность и не только организовывал доставку бытовых приборов прямо с фабрики, но каким-то образом устраивал так, что счет за доставленные приборы, даже по оптовым ценам, так и не приходил. А как все знают, в мире *гаджё* даже небольшая любезность приносит обильные плоды.

А где же во всей этой картине была я? Ерко и мамуся единодушно согласились, что было бы очень глупо держать целую комнату под девчонку, которая все равно весь день пропадает в университете, и что я прекрасно могу спать на диване у мамуси. У меня были свои деньги, я ни от кого не зависела, и ничто не мешало мне снять собственную отдельную квартиру, отчитываться исключительно перед собой, убраться подальше от вони дряхлых собак и немытых старух, не слышать за стенкой жутких воплей мистера Витрака, увидевшего плохой сон. Точнее, ничто, кроме любви и верности. Потому что, как ни мучительно по временам было жить с мамусей

и как ни раздражало меня общество Ерко, лишь изредка трезвого, я любила их обоих. Если я их покину, думала я, одному Богу известно, что с ними будет.

3

Очень скоро визит моего мудреца устроился: он мог прийти к нам через три дня после того, как я передала ему приглашение. «Моя мать приглашает вас на чай», — сказала я, движимая незнамо каким безумием. Наверное, при этих словах у него в голове нарисовался образ хрупкой, благоуханной старушки, обитательницы дома в Роуздейле, наливающей изысканный китайский чай в тонкостенный дорогой фарфор. Но в этой истории, как и в любых нерабочих отношениях с Холлиером, я, кажется, совершенно перестала соображать. Во всем, что касалось учебы и научной работы, я беседовала с ним вполне осмысленно, но в любом деле, хоть как-то касавшемся личных отношений, даже самых обыденных, становилась полной дурой.

Обоих нас изумило превращение Парлабейна. Ряса исчезла, а с ней — наигранно монашеские манеры. В хорошем сером костюме он был почти элегантен. Кажется, костюм был сшит на более высокого и плотного человека: в плечах он явно жал, а жилет был слишком просторен. Чтобы брюки не волочились по земле, Парлабейн вы-

нужден был донельзя подтягивать их вверх. Но галстук солидной расцветки, чистая рубашка, белый платок в нагрудном кармане, — право, большего нельзя было бы ожидать и от самого опрятного ученого.

Лучше всего было то, что он перестал роптать на скудное жалованье преподавателя вечерних курсов. Я спросила, не нашел ли он дополнительных источников дохода.

— Я пока присматриваюсь к тому-сему, — сказал он, — и нашел в университете кое-что, это поможет мне перебиться, пока я не получу аванс за роман.

Роман? Это что-то новое.

— Это довольно крупное произведение, — объяснил он, — и его еще надо редактировать. Но уже можно показывать. Я еще немного пошлифую его и попрошу Клема на него взглянуть, посоветовать насчет публикации.

Впервые в жизни я услышала, что Холлиер — специалист по романам. Наверно, мое удивление было заметно.

— Клем поймет его лучше многих. Понимаете, мой роман не из бестселлеров. Это настоящий

roman philosophique,[65] и я хочу спросить мнения знающих людей, прежде чем отдавать его издателю.

— О, у вас уже есть издатель?

— Пока нет; тут мне тоже понадобятся советы. В какое издательство пойти? Я не хочу, чтобы мой роман попал не в те руки и получил неправильную рекламу.

Это был совсем новый Парлабейн — невинный, полный надежд. Говорят, женщины обязаны время от времени видеть в знакомых мужчинах мальчиков. Мне кажется, это несправедливо; но, бесспорно, когда Парлабейн, склоняя голову набок, говорил о своем романе, в изувеченном, словно размытом лице вдруг проступил маленький мальчик.

---

[65] Примечания и комментарии: 65
Философский роман *(фр.)*.

4

Со дня нашего знакомства Артур Корниш трижды приглашал меня на ужин, и два раза я соглашалась. Он был непохож на университетских мужчин: либо женатых, либо «не из тех, кто женится», либо молодых ученых, которым нужно, чтобы кто-нибудь сидел и слушал, пока они будут говорить о себе и своих научных перспективах. В первый раз Артур говорил о еде, политике и путешествиях и, кажется, не торопился открывать мне какие-то личные тайны. Кроме того, он, по-видимому, не думал, что за этот ужин я буду ему что-то должна. Он держался слегка отстраненно, но был очень мил и ожидал, что по меньшей мере половину всего времени буду говорить я. Поэтому я говорила о еде, политике и путешествиях, хотя мало что знала о том, другом и третьем. Но Артур умел создавать легкое, расслабленное настроение, а это было для меня в новинку.

— Давайте еще как-нибудь выберемся на ужин, — сказал он, высаживая меня у дома 120 по Уолнат-стрит после того первого ужина. — Я не люблю есть в одиночку.

— Но у вас, наверно, куча знакомых.

Он, несомненно, хорошо обеспечен: машина скромная, но дорогая. Надо думать, у состоятельного молодого человека достаточно знакомых девушек.

— Не таких красивых девушек, как вы, — сказал он, но эта реплика явно не была задумана как прелюдия к дальнейшим комплиментам или возне, которую иные мужчины считают справедливой платой за ужин.

Я без ложной скромности выслушиваю похвалы своей красоте. Она — факт, и для меня лучше быть красавицей, чем уродиной, но я не фиксируюсь на этом. Рано или поздно все знакомые мужчины как-то комментируют мою внешность. И я решила, что этот милый, холодноватый молодой человек счел меня украшением, с которым приятно появиться в ресторане, и что это честный обмен. Артур мне нравился, потому что был богат; я нравилась ему, потому что была красива. Вполне разумно.

Я отказалась от второго приглашения, потому что мне нужно было пойти на одну лекцию, и решила, что на этом делу конец. Однако Артур пригласил меня в третий раз, на ужин и симфонический концерт, и это меня слегка удивило, потому что в нашу первую встречу он ничего не

говорил про музыку.

Мы пошли в хороший, но не показушный ресторан, и по столику, который нам дали, было ясно, что Артура там знают. Еда была очень хорошая, совершенно из другого пространства кулинарной мысли, чем меню «Обжорки». Я постаралась одеться соответственно и выглядеть как можно лучше и была готова к очередному раунду разговоров о еде, политике и путешествиях, но Артур удивил меня, заговорив о музыке. Мне показалось, что он говорит как меценат, и я вспомнила, что он — племянник Фрэнсиса Корниша. Он начал говорить о дяде:

— Дядя Фрэнк оставил свою коллекцию нотных рукописей университету; жаль, что не мне. Я бы сам хотел заняться чем-то в этом роде. Конечно, скупать рукописи у современных композиторов нетрудно, я и этим тоже понемножку занимаюсь. Но я бы хотел получить в коллекцию кое-что из его ранних вещей; в них — в самих рукописях — есть особая красота, которой лишены современные работы. Многие старинные композиторы писали ноты исключительным, прекрасным почерком. Им приходилось писать разборчиво, чтобы переписчики не ошибались. Но, кроме этого, они гордились своим почерком.

— Вы хотите сказать, что рукописи нравятся вам больше самой музыки?

— Нет, но в действительно хорошем оригинале есть неподражаемая спокойная красота. Люди покупают рукописи книг и наслаждаются ими, совершенно отдельно от интереса к самой книге. Так почему бы и не музыка? В рукописи Мендельсона весь Мендельсон — она точна, прекрасна, самую чуточку подчиняется условностям, чувствительна, но не слаба. Она рисует портрет автора. А Берлиоз! Яростный дух, но рукопись абсолютно разборчива и вся испещрена замечаниями, написанными его собственным почерком — почерком романтика, получившего прекрасное классическое образование. Или Бах. Его рукописи — это рукописи человека, которому приходилось экономить линованную бумагу: она стоила денег, а он не любил тратиться. Бетховен — сплошные каракули. Рукопись сохраняет отпечаток личности автора. У моего дяди было несколько прекрасных рукописей Листа, и мне жаль, что я их не получил. Мы сегодня слушаем Листа. Эгресси исполняет последние три Венгерские рапсодии.

— Я ненавижу подобную музыку.

— Правда? Жаль.

— Я заткну уши, когда он будет играть.

— За что вы ее ненавидите?

— За все. Ее дух, накал страстей, нецеломудренные виньетки.

— Именно то, что люблю я.

— Для вас это разнообразие, а мне приходится в этом жить.

— Феотоки ведь греческая фамилия?

— Да, это фамилия моего отца, но по матери я цыганка, а быть цыганкой в современном мире — особенно университетском — просто не годится.

— Вы не любите этого в себе?

— Мне пришлось бы гораздо сильнее уверовать в наследственность, чтобы согласиться, что во мне этого много. Я — канадка, собираюсь делать карьеру в науке, и мне не нужно ничего от цыганского мира.

Ради всего святого, почему я это сказала? Я сама удивилась, услышав свои слова. Они прозвучали так агрессивно, так похоже на университетских девушек-всезнаек, которых я не любила. Я не хотела говорить об этом, я вообще не собиралась говорить Корнишу, что во мне есть цыганская кровь, потому что это прозвучало так, как будто я хочу придать себе дешевой привлекательности. Переменим тему.

— Вы никогда не говорили дяде, что интересуетесь нотными рукописями?

— Он это знал.

— Разве не странно, что он вам ни одной не оставил?

— Вовсе не странно. Намекнуть коллекционеру, что вам интересна его коллекция, — ужасная ошибка: он может заподозрить вас в том, что вы вожделеете его вещей. Он начинает думать, что вы только и ждете его смерти. Ну так я ему покажу, говорит себе коллекционер и оставляет всю коллекцию другим людям.

— Должно быть, коллекционеры — очень странные люди.

— Да, из самых странных.

— А вы тоже странный? Но вы работаете с цифрами, — наверно, это помогает сохранить рассудок.

— А я работаю с цифрами?

— Но вы же работаете с деньгами.

— О, моя работа заключается совершенно в другом. Я направляю деньги в нужные места, как электричество.

— Электричество?

— Как большие энергосистемы, подстанции и все такое. Распределение и передача электриче-

ства — очень важная отрасль инженерного дела. Нужно рассчитать, куда направить энергию и как ее туда доставить, чтобы получить нужный результат. Деньги — разновидность энергии.

— Большинство людей считает, что этой энергии у них слишком мало.

— Это совсем другое. Личные деньги, из-за которых люди поднимают столько шуму, сильно зависят от того, куда идут деньги-энергия: какие долговые обязательства, какие отрасли получают массированную поддержку и когда. Люди, которые не работают с деньгами профессионально, любят говорить о том, как «делать деньги», но они могут делать деньги только потому, что люди вроде меня принимают решения о деньгах-энергии. Деньги, которые нужны людям для личных трат, — это часть большой картины, точно так же как электричество, которое они включают у себя дома, нажав на кнопку, — крохотная часть того, что происходит в большой энергосистеме. Освещает им жизнь, но в глобальном масштабе ничего не весит. Способов распорядиться деньгами для чисто личного удовлетворения очень немного. Вот власть над деньгами-энергией завораживает.

— Только не меня.

— Вас не интересует власть?

— Это явление не из моего мира.

— Но я думал, что университетский мир — мир власти.

— О нет, вы плохо знаете университеты. Они не просто ульи классных комнат, где на студентов лепят этикетки, чтобы они могли получить работу получше. Это мир научных исследований: беззаветное стремление к знаниям и иногда к истине.

— Беззаветное?

— Иногда.

Конечно, я думала о Холлиере и о том, как мне хочется идти по его стопам.

— Я, конечно, не могу судить. Я никогда не учился в университете.

— Не учились?!

— Я — хорошо замаскированный самоучка. Мне удается многих обмануть. У меня нет даже степени бакалавра, не говоря уж о магистре, но обычно я успешно скрываю этот факт. Вы же меня не выдадите?

— Но… как же…

— Как я достиг такого светского лоска и умения вращаться в высших кругах? В университете суровых тычков, я полагаю.

— Расскажите мне про УСТ.

— Не так давно в банковской сфере с предубеждением относились к людям, учившимся в университете, особенно если эти люди собирались подняться на самый верх. Разве университет может научить чему-нибудь полезному? Диплом экономиста? Экономику можно изучить лучше и быстрее, прочитав несколько книг. Опыт в управлении бизнесом? Да я прирожденный бизнес-администратор! Светский лоск и шлифовка манер? Мои опекуны решили, что для этого достаточно путешествовать и общаться с разными Ротшильдами. Я так и сделал.

— Ваши опекуны? Почему опекуны?

— О, у меня был дед — настоящий закоренелый денежный мешок. Вы бы его возненавидели: он думал, что ученые — это такие оборванцы, которых можно кормить любой дрянью, они не заметят, потому что все равно за едой читают древнегреческие книжки. Это от него сбежал дядя Фрэнк. Но мой отец, который был на самом деле очень хорошим банкиром и не таким дикарем, как дед, женился довольно поздно и после моего рождения погиб в автомобильной аварии, в которой погибла и моя молодая красивая мать. Так что у меня был дедушка и опекуны — члены

его кружка банкиров. Поэтому я, как ни крути, сирота. Более того, к отчаянию психиатров, я был очень богатым сиротой. У меня не было родителей, которые, в великой традиции канадского высшего общества, смиряли бы меня, не разрешали быть собой, заставляли быть похожим на них. Так что я рос совершенно свободным — в рамках цивилизованного воспитания, конечно. И, будучи свободным, я понял, что вовсе не склонен к бунту, — напротив, меня тянуло ко всему ортодоксальному. Возможно, это странно, если вы ищете странности. У меня было прекрасное детство: меня кормили две груди, доверительное управление и капитал. Потом я путешествовал, и именно тогда у меня родилась великая идея.

— Что за идея?

— Хотите, чтобы я вам рассказал? А с какой стати?

— С самой лучшей: потому что мне любопытно. Я хочу сказать, не можете же вы быть обыкновенным скучным банкиром.

— Мария, это высокомерно и глупо. Вы ни черта не знаете о работе банкира и презираете ее, потому что она, как вам кажется, не имеет ничего общего с университетской жизнью. А что, по-вашему, поддерживает работу универси-

тета? Деньги, вот что. Преподаватели — члены профсоюза; обслуживающий персонал — члены профсоюза;[66] докторам и инженерам нужны всякие винтики; все это стоит громадных денег, и как альма-матер их получает? Да, частично от выпускников: университет — воистину матерь кормящая, если ей удается тянуть бабки с выпускников, так давно ее покинувших. Но кто управляет этими деньгами? Кто превращает их в энергию? Люди вроде меня, и не смейте об этом забывать.

— Ладно, ладно, ладно! Я на коленях прошу прощения, я пресмыкаюсь на полу. Я только хотела сказать, что в вас есть что-то интересное, а банковское дело меня не интересует. Значит, это может быть ваша великая идея. Расскажите, пожалуйста.

— Ну ладно, хотя вы и не заслужили.

— Я буду тихой и почтительной.

— Я думал об этом еще в школе, а в путешествиях только укрепился в этой мысли, потому что

---

[66] Примечания и комментарии: 66

Преподаватели — члены профсоюза; обслуживающий персонал — члены профсоюза… — В Канаде работодатели вынуждены платить членам профсоюза более высокую зарплату, так как профсоюз выторговывает для своих членов более выгодные условия найма по коллективному трудовому соглашению. Сотрудники канадских университетов в обязательном порядке должны быть членами Канадского союза государственных служащих (Canadian Union of Public Employees).

встретил людей, у которых это получалось. Я буду покровителем искусств.

— Как ваш дядя Фрэнк?

— Совершенно не так, как мой дядя Фрэнк. Он был в своем роде покровителем искусств, но зато скрягой в более широком масштабе. Он был накопителем: покупал произведения искусства, а потом не мог и мысли допустить, чтобы с ними расстаться. В результате получилась куча-мала, которую мне теперь приходится разгребать с помощью Холлиера, Макварриша и Даркура. Это совсем не то, что я подразумеваю под меценатством. Конечно, дядя Фрэнк что-то платил ныне живущим художникам, замечал отдельные таланты, поощрял их и давал им то, в чем они больше всего нуждались, — сочувственное понимание. Но по большому счету он не был покровителем искусств. Все, что он делал, служило исключительно удовлетворению Фрэнсиса Корниша.

— А что такое покровитель искусств по большому счету?

— Великий вдохновитель, человек, вдыхающий жизнь в начинания. Наверное, можно сказать, что он поощряет, но, кроме этого, он зачинает идею, он режиссер, не дающий арти-

стам отвлечься от своих ролей, он обеспечивает движущую их энергию — это не только деньги, отнюдь. Он такой человек — очень редкий тип личности, — который должен работать в театре, опере, балете. Он — центральная точка опоры для группы разных художников, и он должен быть диктатором. Такая работа требует такта и твердости, но превыше всего — исключительного вкуса. Это должен быть диктаторский вкус, который признают артисты и художники и которому они желают угодить.

Наверное, я смотрела на него удивленно и недоверчиво.

— Вы растерялись, потому что я претендую на исключительный вкус. Странное дело, некоторыми вещами позволено хвастаться, а некоторыми — нет; если бы я сказал, что чрезвычайно ловко умею обращаться с деньгами и у меня к этому особый дар, вы бы совсем не удивились. Почему же тогда я не могу сказать, что у меня исключительный вкус?

— Это просто… необычно, наверное.

— Да, это действительно необычно, в том смысле, о котором я говорил. Но такие люди были в истории.

Я порылась в памяти, ища пример.

— Как Дягилев?

— Да, но не в том смысле, который вы, должно быть, имеете в виду. Его считают какой-то экзотической личностью; на самом деле он был жестким и неуступчивым человеком, а карьеру свою начал юристом. А вот Кристи из Глайндборна[67] вовсе не был экзотичен и достиг, по-моему, большего, чем Дягилев.

— Все равно, все это кажется чуточку… я пытаюсь подобрать слово, которое вас не рассердит… чересчур грандиозным.

— Посмотрим. Во всяком случае, я посмотрю. Но я не хочу быть скрягой от искусства, как дядя Фрэнк; я хочу показать миру плоды своих трудов и себя самого.

— Я от души желаю вам удачи.

— Спасибо. У меня, конечно, будет нужная энергия, но без удачи она ничего не стоит. Нам пора. Хотите после концерта встретиться с Эгресси? Я с ним довольно хорошо знаком.

---

[67] Примечания и комментарии: 67

Кристи из Глайндборна. — Джон Кристи (1882–1962) — британский меценат, основатель Глайндборнского оперного фестиваля.

5

Мне не очень понравилась первая часть концерта — «Фестивальная увертюра» Донаньи и какие-то вещи Кодая. Дирижер решил устроить вечер венгерской музыки. Когда на подиум вышел Эгресси и приготовился играть Второй фортепианный концерт Листа, я на него разозлилась. Я отключила слух, как и собиралась, но человек, подлинно любящий музыку, не может отключиться до конца, точно так же как невозможно отключиться от ужасной «музычки», играющей в общественных зданиях. Можно только стараться в нее не втягиваться. Но когда во второй части программы Эгресси заиграл последние три Венгерские рапсодии, я не смогла не слушать. Не-слушание требовало решимости, такого отрицания духа, которое мне совершенно не под силу. Во время Пятнадцатой рапсодии, в которой так часто в разных обличьях звучит марш Ракоци, я развалилась на куски, не только эмоционально, но в какой-то степени и физически: я рыдала и не могла остановиться, и мой носовой платок не в силах был вместить эти слезы.

Конечно, Артур знал, что я плачу, зрители со

всех сторон знали, хотя я плакала бесшумно. Как ни удивительно, он не пытался ничего сделать: не протягивал великодушно большой белый носовой платок, не похлопывал меня по руке, не бормотал «ну-ну». Но я чувствовала, что он уважает мои слезы и знает, что они — глубоко личное, что он ничего не может исправить, что мне нужно плакать. Потом он повез меня домой — уже ничего не говоря о встрече с Эгресси, — и никто из нас не упомянул о моих слезах.

Почему я плакала? Во-первых, потому, что за ужином вела себя как дура, заговорив о своей цыганской крови, словно это мелкий грешок против этикета, а не благословение и проклятие. Какое мещанство, какая низость, как это в духе *гаджё!* Что меня дернуло так говорить с чужим человеком о том, что я вообще никогда ни с кем не обсуждала? Ребенком я невинно думала, что быть наполовину цыганкой — очень интересно, пока мои одноклассники не просветили меня. Цыгане — грязнули, воры, знают всякие гадкие штуки. Некоторым детям родители просто запретили со мной играть; я была чуждым, странным ребенком.

Действительно, у меня были свои странности: мысли не по возрасту. Порой я задумывалась,

каково быть одной из этих улыбающихся бледнокожих и часто бледноглазых канадских матерей, за чьими приятными манерами так часто скрывался косный и жесткий дух. Отражением матерей были бледные дети, которые считали меня странной, потому что я была не бледна, а румяна, черноглаза и черноволоса; даже канадские зимы не смогли отбелить меня до правильного цвета — цвета галет из амарантовой муки.

От вопроса «каково быть ими?» один шаг до попыток стать ими. Я делала все, что могла: подражала их походке, осанке, жестким высоким голосам, но главное — выражениям их лиц. Я не «снимала» их, как некоторые девочки в монастырской школе «снимали» монахинь и «маму-супер». Я «надевала» их, как плащ, чтобы понять, каково им живется, чтобы узнать их получше. В четырнадцать лет я называла свои приемы «технологией Феотоки по взаимозаменяемости личности» и страшно наслаждалась ими. И действительно, это очень многому меня научило: попробуйте ходить, как другой человек, стоять, как он, выяснить, как он говорит таким голосом, — и вы удивительно много о нем узнаете.

Возможно, я была странным ребенком, но я и щепки не дам за ребенка, который не странен.

Любой ребенок окажется странным в глазах взрослых, стоит лишь узнать его поближе. Если в ребенке нет странности, что с него проку? Он вырастет в очередную двуногую брюкву. Но я была страннее других. Другие гордились шотландской, французской, ирландской, какой угодно кровью. Но цыганская кровь не была предметом для гордости — разве что она есть и у тебя, и тогда ты знаешь, что такое цыганская гордость. Это не самоуверенная гордость хвастливых кельтов, тевтонов и англосаксов, но нечто родственное гордости евреев: чувство, что ты — другой и особенный.

У евреев, которых так жестоко третировали нацисты в Германии — унижали, пытали, морили голодом и доводили до смерти всевозможными способами, от утонченнейших до брутальнейших, — есть одно слабое утешение: цивилизованный мир за них; они сами объявили, что никогда не позволят миру забыть об их страданиях. Но как бы евреи ни гордились своим прошлым, они современные люди, в их распоряжении все средства современного мира, и они умеют добиться, чтобы их услышали. Цыганам подобные средства неизвестны, но цыгане тоже были жертвой безумства нацистов.

История цыган покрыта странным налетом рациональности, обманувшим столь многих людей в мире. Сначала сам фюрер выразил интерес к цыганам; они оказались пережитком индоарийской расы, и для науки было желательно сохранить их образ жизни в первозданной чистоте. Для этого их следовало собрать, пересчитать, пронумеровать и записать их имена. Их должны были исследовать ученые, и в том, что цыгане, живые люди, были объявлены епархией Министерства исторических памятников, есть чудовищный юмор. Цыган согнали вместе, а затем те же ученые, что превозносили их, обнаружили, что они — нечистая этническая группа, угроза чистоте высшей расы; очевидным решением была стерилизация с целью положить конец нечистой наследственности и порожденной ею неисправимой преступности. Но по мере того как Германия захватывала все большую часть Европы, цыган оказалось проще убивать.

Цыгане умеют убегать и прятаться, и многие сбежали, укрывшись в сельской местности, которая всегда была им родным домом. Тут и началось самое страшное; войска охотились на цыган, как на зверей, и стреляли их на месте. Те, кто не смог убежать, попали в руки *Einsatzgruppen*,

эскадронов смерти, и были отправлены в газовую камеру. Цыган на свете мало, так что статистика их уничтожения не ужасает, если вас впечатляют в основном цифры: людей, погибших такой смертью, было чуть меньше полумиллиона, но, когда умирает хотя бы один человек, вместе с ним уходит целый мир надежд, воспоминаний и чувств. Если тебя лишили возможности умереть своей смертью — это чудовищная кража человеческого достоинства.

Именно про этих людей думала я, канадка по рождению, но наполовину цыганка по крови, слушая три последние Венгерские рапсодии Листа, все в миноре, все — о мрачном и торжествующем протесте средневековых людей, живущих в современном мире, где неисправимые преступные склонности заставляют их тащить белье с чужой бельевой веревки и пудрить мозги *гаджё;* где *гаджё* хотят, чтобы им предсказали судьбу люди, якобы сохранившие древнюю мудрость, утраченную самими *гаджё* в изобретенном ими сложном мире, где жульничество и кражи возведены в степень государственных институтов.

Полмиллиона цыган умерли по воле мира *гаджё;* кто их оплакивает? Я — иногда.

Я.

6

— Значит, моя гадкая дочь рассказала вам про *бомари?*

— Очень мало; я так и не понял, что это такое на самом деле. Но достаточно, чтобы возбудить во мне великое любопытство.

— Зачем вам знать? Что вам до этого?

— Понимаете, мадам Лаутаро, я лучше объясню, вкратце. Я историк, но я изучаю не историю войн и правительств, не историю наук и искусств — во всяком случае, наук, как мы их сейчас понимаем. Я изучаю историю убеждений. Я стараюсь фиксировать не только факт, что люди тогда-то верили в то-то и то-то, но и причины, и логику, стоящую за этими убеждениями. Пускай даже это убеждение было ошибочным или кажется нам ошибочным сегодня; меня интересует само его существование. Видите ли, я не думаю, что люди глупы и верят в полную глупость; может быть, они заблуждаются, но это значит, что у них есть причины верить в неправду, — она заполняет брешь в ткани того, что они хотят знать, или того, что им, по их мнению, нужно знать. Мы часто отбрасываем такие верования, не поняв

их сути. В наши дни о приближении вражеской армии сообщает рация или полевой телефон, но в старину в каждом войске были люди, которые могли узнать о приближении врага, приложив ухо к земле. Сегодня этого недостаточно, потому что армии движутся быстрее и мы атакуем, еще не видя врага, но несколько тысяч лет этот прием неплохо работал. Это простой пример; я не хочу утомлять вас сложностями. Но чуткий слух, позволяющий услышать приближение армии за несколько миль без каких-либо приборов, почти не встречается в наше время. Сотни миллионов людей теряют ощущение себя как части природы, умение полагаться на естественные явления и даже не осознают своей потери. Я занимаюсь этими вещами не потому, что предпочитаю все старое всему новому; я уверен, нам стоит исследовать то, что знали люди в старину, прежде чем это знание исчезнет с лица земли, — их знания и образ мышления, стоящий за ними. Я узнал про *бомари* совсем немного, но то, что я знаю, наводит на мысль, что это может быть очень важно для моей работы. Надеюсь, в моих словах есть какой-то смысл.

К моему изумлению, мамуся кивнула:

— Вполне здравый смысл.

— Смогу ли я убедить вас поговорить со мной об этом?

— Мне нужно соблюдать осторожность: тайны — это очень серьезно.

— Я вас прекрасно понимаю. Уверяю вас, я пришел сюда не для того, чтобы разнюхивать. Мадам Лаутаро, мы с вами понимаем всю важность секретов.

— Мария, принеси чаю, — велела мамуся, и я поняла, что победила во многом — может быть, во всем.

Холлиер оказался на высоте. Его искренность и серьезность пробили броню даже моей подозрительной матери. А ее способности к пониманию оказались намного больше, чем я предполагала. Дети часто недооценивают умственные способности родителей.

Заваривая излюбленный мамусей обжигающий крепкий чай, подходящий к этой встрече больше, чем любой общепринятый светский напиток, я слушала доверительную беседу мамуси и Холлиера. Я передам их разговор, но не мамусин ломаный английский — его сложно воспроизводить и утомительно читать. Кроме того, это выставит ее в смешном свете, хотя на самом деле она вовсе не смешна. Когда я вернулась, мамуся,

похоже, брала с Холлиера клятву.

— Никогда, никогда не рассказывать этого ради денег, вы понимаете?

— Абсолютно. Я тружусь не ради денег, мадам, хотя мне и нужны деньги, чтобы жить.

— Нет, нет, вы трудитесь, чтобы постичь мир; весь мир, не только маленькое «здесь» и мелкое «сейчас», а это означает тайны, верно?

— Без сомнения.

— Тайны — кровь жизни. Каждая важная вещь — тайна, даже если ее знаешь, потому что никогда не узнаешь ее всю. Если можно узнать о чем-нибудь все, это знание того не стоит.

— Прекрасно сказано, мадам.

— Тогда поклянитесь, поклянитесь могилой своей матери.

— У нее нет могилы — она живет примерно в миле отсюда.

— Тогда поклянитесь ее чревом. Клянитесь чревом, вас носившим, и сосцами, вас питавшими.

Холлиер с блеском выполнил это весьма неканадское требование.

— Я торжественно клянусь чревом, меня носившим, и сосцами, меня питавшими: я никогда не выдам то, что вы мне рассказали, ради выгоды или по любой другой недостойной причине, что

бы мне это ни принесло.

— Мария! Кажется, мисс Гретцер упала: что-то грохнуло наверху. Сходи проверь, все ли с ней в порядке.

Черт! Но от моего послушания зависело многое, и я пошла наверх, где обнаружила мисс Гретцер, живую и вполне здоровую, на кровати в обществе пуделя Азора; она уплетала свое любимое лакомство — фаршированные финики. К тому времени как я вернулась, клятва была скреплена, но чем именно поклялся Холлиер, кроме указанных органов своей матери, я так и не узнала. Мамуся устраивалась на диване, готовясь произнести речь.

— Как вы поняли по табличке на двери, моя фамилия Лаутаро. Мой муж, Нимцевич-Феотоки, упокой Господь его душу, скончался, и я вернулась к своей девичьей фамилии. Почему? Потому что она обозначает то, чем я занимаюсь. Лаутаро — то же, что лютьер. Вы знаете, что такое лютьер?

— Скрипичных дел мастер?

— Мастер, творец, любовница, мать, рабыня скрипок и всего семейства смычковых. Цыганский род, из которого я происхожу, сделал скрипки своим ремеслом, а в каждом ремесле

есть тайны. Это мужская работа, но отец стал меня учить, потому что увидел у меня особый дар, а мой брат Ерко захотел стать кузнецом; вы знаете — да? — работать с драгоценным металлом, и особенно с медью, в лучших цыганских традициях, и у него так хорошо получалось, что было бы черным грехом его остановить. Кроме того, он был нужен нам, лютьерам, но причинам, о которых вы узнаете в свое время. Я научилась ремеслу лютьера от отца, который научился от своего отца и так далее. Мы были самые лучшие. Я скажу вам — и плюньте мне в рот, если я вру, — что Изаи, великий Эжен Изаи, не позволял дотрагиваться до своих скрипок никому, кроме моего деда. Я переняла все знания своих предков.

— Да, это поистине великое искусство.

— Делать скрипки? Нет, мое искусство выше. Мое искусство оживляет их. Кому нужна новая скрипка? Ребенку. Для них делают скрипки в половину, в четверть размера, да, но великому артисту не нужна новая скрипка: ему нужна старая. Но старые скрипки — как старые люди: они с причудами, их нужно умасливать, посылать на курорт, делать притирания и все такое.

— Значит, вы в основном занимаетесь ремонтом?

— Ремонтом? О да, я делаю и обычный ремонт. Но это больше ремонта. Это означает отдых, восстановление юности. Вы знаете, что такое волк?

— Наверное, не в том смысле, в котором вы употребляете это слово.

— Будь вы скрипачом, вы боялись бы волка. Это — жужжание или вой, которые возникают на одной струне, когда вы играете на другой, и его могут вызвать самые разные мелочи — даже капля отслоившегося клея, — а убрать его дьявольски трудно. Конечно, если использовать эпоксидный клей и все такое, можно многого достичь, но хорошую скрипку нужно ремонтировать тем же клеем, какой использовал ее создатель, а выяснить, что это был за клей, совсем непросто, потому что клей был одним из ревностно охраняемых секретов. Но волка можно убить и другим способом, а именно — после ремонта поместить инструмент в *бомари.* Вы понимаете, я говорю не о дешевых скрипках, но о работах великих мастеров. Например, к Гоффриллеру, к Бергонци, к чему угодно от Маркненкирхена до Мирекура или хорошего Бэнкса нужно подползать на коленях, если хочешь выманить их обратно в жизнь.

— И для этого используется *бомари?*

— Для этого используется *бомари,* если вы смо-

жете его найти.

— И *бомари* представляет собой лечение теплом — что-то вроде запекания?

— Как, во имя дьявола, вы об этом догадались?

— Моя профессия — отгадывать такие вещи.

— Вы, должно быть, великий маг!

— В мире, где мы с вами трудимся, мадам Лаутаро, с моей стороны было бы глупо отрицать ваши слова. Творить магию — значит производить эффект, для которого нет видимой причины. Но мы с вами также знаем, что причина есть всегда. Так что я объясню свое волшебство: я подозреваю — и, судя по вашим словам, правильно, — что *бомари* — искажение, или цыганская форма, того, что первоначально называлось *bain-marie. Bain-marie* вы найдете в любой хорошей кухне: это всего лишь водяная баня, которая держит в тепле то, что свернется или испортится, если остынет. Но почему это называется *bain-marie?* По преданию, водяную баню изобрела вторая величайшая Мария в мире — Мириам, сестра Моисея, великая волшебница. Говорят, что она умерла от поцелуя Бога. Нам позволительно сомневаться в ее истории, хотя никогда не следует сбрасывать предания со счетов, не исследовав их сначала. Кажется более вероятным, что *bain-marie*

— изобретение Марии Профетиссы,[68] которая считается автором книг; Корнелий Агриппа[69] верил, что она — историческая личность, хотя она жила на несколько веков раньше его. Она была величайшей из женщин-алхимиков, а это, надо сказать, весьма устрашающая компания. Мария Профетисса была еврейкой, она открыла соляную кислоту, а также изобрела *balneus mariae,* или *bain-marie,* алхимический инструмент, дошедший до наших дней; хотя его унизили и изгнали на кухню, все же он овеян определенной славой. Так вот — от *bain-marie* до *бомари.* Я прав?

— Не совсем, волшебник, — сказала мамуся. — Пойдемте-ка со мной.

Мы пошли вниз, в подвал, где жил Ерко и где располагалась тщательно спрятанная мамусина мастерская. Мамусино ремесло, как и ремесло Ерко, было почти бесшумным, хотя порой, должно

---

[68] Примечания и комментарии: 68

…изобретение Марии Профетиссы… — Мария Профетисса (Мария Еврейка, Мария Коптская) — женщина-алхимик, жившая в I или III в. н. э.; возможная основательница Александрийской алхимической школы, изобретательница ряда химических аппаратов и процессов, используемых по сей день. Некоторые ошибочно отождествляли ее с сестрой Моисея Мириам-пророчицей или с Марией Магдалиной.

[69] Примечания и комментарии: 69

Корнелий Агриппа (Генрих Корнелиус, Агриппа из Неттесгейма, 1486–1536) — даровитый и богатый познаниями, склонный к мистике писатель, врач, философ, астролог и адвокат. Корнелий родился в Кёльне и имя Агриппа взял в честь основателя своего родного города.

быть, звяканье молоточка медника доносилось наверх. Кузня Ерко была совсем маленькой: цыгане не пользуются большими наковальнями и огромными мехами обычных кузнецов, потому что им приходится носить свою кузню на спине, а таскать лишнюю тяжесть не в цыганском стиле. В мастерской располагались кузня Ерко и рабочий стол мамуси. Здесь мы нашли и самого Ерко — он в кожаном фартуке возился с чем-то мелким, шпилькой или защелкой совершенно ювелирных размеров.

Мой дядя Ерко, подобно мамусе, радикально изменил образ жизни после смерти Тадеуша. Пока Ерко работал как подручный моего отца и главный техник фабрики, он выглядел отчасти как деловой человек, хотя ему всегда было не по себе в приличных костюмах. Но когда Тадеуш умер, Ерко тоже вернулся к цыганскому образу жизни, бросив жалкие попытки стать человеком Нового Света. Как он старался, когда они только приехали в Канаду! Он даже имя хотел сменить, чтобы стать, как он думал, неотличимым от своих новых соотечественников. Его звали Мия Лаутаро, и он хотел поменять свое имя на точный эквивалент: Мартин Лютер. Кажется, он так и не понял, почему отец решительно запретил ему

это делать. Ерко было его ласкательное, семейное прозвище, и я ни разу не слышала, чтобы его называли Мией. Когда умер Тадеуш, Ерко горевал не меньше мамуси; он сидел часами в мрачных раздумьях, рыдая, бормоча время от времени: «Мой добрый батюшка скончался».

И действительно, Тадеуш был ему вместо отца, наставлял его, следил за выгодным вложением его солидных заработков, поднимал его в мире бизнеса настолько, насколько Ерко мог подняться. То есть не дальше изготовления чертежей и моделей, потому что Ерко не мог руководить другими, совершенно не умел объяснять вещи, которые сам делал с легкостью, и по временам уходил в недельные запои.

Цыгане, как правило, пьют немного, но если уж пьют, то не останавливаются; Ерко не то чтобы окончательно спился, но был ненадежен в работе со всеми, кроме Тадеуша. Мамуся пыталась делать хорошую мину при плохой игре, убеждая отца, что пьяница лучше неисправимого бабника, но Тадеушу приходилось держать Ерко в ежовых рукавицах: пьяный, он был подобен медведю, братцу Мартыну, — тяжелый, непредсказуемый и требующий очень осторожного обращения. В мастерской у Ерко стоял самогонный аппарат;

Ерко ни в какую не желал платить правительству налоги за слабенькое пойло и гнал собственную сливовицу, которая оглушила бы и быка — или любого человека, кроме самого Ерко.

— Ерко, я собираюсь показать *бомари,* — сказала мамуся.

Ерко страшно удивился, но не возразил. Он никогда не перечил своей сестре, хотя, насколько я знала, мог ее ударить и даже с размаху треснуть молотком медника.

Мамуся подвела Холлиера к тяжелой деревянной двери работы Ерко; я думаю, даже самый ловкий медвежатник не смог бы ее открыть, столько на ней было всяких задвижек и замков. Ерко отпер замки — он считал, что замков должно быть много, и посложнее, — и мы вошли в комнату, которая когда-то, видимо, освещалась электричеством, но сейчас нам пришлось использовать свечи, потому что вся проводка была снята.

Комната была не особенно большая, — думаю, когда-то в ней располагался винный погреб. Сейчас все бочки и стеллажи были убраны. Первое, что привлекало внимание, — запах: не отвратительный, но очень сильный, тяжелый и теплый; я могу его описать только как сочетание

сильно сгущенных запахов мокрой шерсти и конюшни. Вдоль стен выстроились большие, тяжело-элегантные силуэты: они были округлые и больше всего напоминали немые человеческие фигуры. На полках по центру комнаты стояли такие же штуки, но поменьше, выпуклые и блестящие. Они блестели, потому что были сделаны из меди, и каждый дюйм нес на себе отпечаток молотка Ерко; оттого они мерцали и отражали свет — почти как драгоценные камни, но более приглушенно. Это была не тонкая, дешевая медь кувшина или украшения заводской работы, но лучший металл, очень дорогой по нынешним рыночным ценам. Казалось, мы пришли в пещеру, где спрятан клад.

Мамуся начала представление.

— Это великие знатные дамы и господа, — сказала она и присела в глубоком реверансе.

Она подождала, пока Холлиер не воспримет все окружающее и не запросит еще.

— Вы хотели знать, что такое *бомари,* — сказала она. — Но я не могу потревожить «сон красоты» этих древних знатных господ. Однако вот эту даму мы запечатали только неделю назад, и если я ее сейчас открою, а потом запечатаю снова, большой беды не будет, ибо она собирается отдыхать

шесть месяцев.

По указанию мамуси Ерко взял нож и ловко вскрыл тяжелую восковую печать на горле одного из малых медных сосудов. Поднял крышку — потребовалась немалая сила, потому что крышка прилегала очень плотно, — и из сосуда вырвалась мощная эссенция запаха, который пропитывал помещение. В сосуде, на ложе из чего-то напоминающего темно-бурую землю, лежала фигура, закутанная в шерстяную ткань.

— Настоящая шерсть, соткана тщательно, чтобы я знала, что в ней нет ни единой нитки мусора. Это должна быть настоящая овечья шерсть, иначе ничего хорошего не выйдет.

Мамуся размотала фигуру, укутанную не меньше чем в шесть слоев, и мы увидели скрипку.

— Знатная дама разделась, чтобы отойти ко сну, — сказала мамуся, и действительно, у скрипки не было ни кобылки, ни струн, ни колков, и она была очень похожа на человека в дезабилье. — Видите, она засыпает: лак уже немного потускнел, но она дышит, она погружается в транс. Через шесть месяцев я, хитрая служанка, ее разбужу, снова одену, и она вернется в мир, и ее голос будет в полном порядке.

Холлиер протянул руку и потрогал бурую пыль,

лежащую на шерстяной ткани.

— Влажное, — сказал он.

— Конечно влажное. И живое. Вы знаете, что это?

Он понюхал свои пальцы и покачал головой.

— Лошадиный навоз. Самый лучший: хорошенько перепревший и просеянный, от лошадей в расцвете здоровья. Этот навоз — из беговых конюшен, и вы не поверите, сколько за него дерут. Но дерьмо от каких-нибудь старых кляч не годится. Для самых лучших требуется самое лучшее. Эта спящая красотка — Бергонци, — сказала мамуся, слегка постукивая по скрипке. — Невежды болтают про Страдивари и Гварнери, и, конечно, они великолепны. Я люблю Бергонци. Но лучше всех — скрипки Лемана из Санкт-Петербурга; вон там стоит одна, на четвертом месяце, точнее, четвертый пойдет с новолуния. Их нужно укладывать в постель в соответствии с луной.

Она покосилась на Холлиера, чтобы посмотреть, как он это воспримет.

— А откуда берутся эти знатные дамы и господа? — спросил он, оглядывая комнату, в которой стояло штук сорок разнокалиберных футляров.

— От моих друзей, великих артистов, — ответила мамуся. — Я не могу вам открыть, чьи это

скрипки. Но великие артисты меня знают, и, когда они приезжают сюда — а они все приезжают в этот город, иногда ежегодно, — они привозят мне скрипки, которые нуждаются в отдыхе или у которых какая-то беда с голосом. У меня есть нужное умение и любовь, чтобы все исправить. Потому что, видите ли, для этой работы нужно понимание — превыше того, что знает даже самый лучший ремесленник. Мастер должен сам быть скрипачом, чтобы испытывать скрипки и судить о них. Я очень хороший скрипач.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Холлиер. — Надеюсь, когда-нибудь мне выпадет честь послушать вас. Это будет все равно что слушать голос веков.

— Вы верно сказали, — отозвалась мамуся, которая наслаждалась каждой секундой этой галантной беседы. — Я играла на благороднейших инструментах в мире, потому что, вы же знаете, в семействе смычковых есть не только скрипки, но и альты, а вон те здоровые парни в углу — виолончели, а эти, самые большие, — толстяки-дураки, контрабасы, у них есть привычка хрипнуть из-за переездов. А у меня они рассказывают свои секреты, как у доктора. Великий музыкант — о да, он заставит их петь, но у Ораги

Лаутаро они шепчут, что с ними не так, а затем поют от радости, когда хворь ушла. Эту комнату нельзя держать открытой; Ерко, закутай мадам, а я потом вернусь и снова уложу ее.

Мы вновь поднялись наверх, мамуся и Холлиер долго отвешивали друг другу грандиозные комплименты, а потом я повезла Холлиера домой на своей машинке.

Какой успех! Стоило перенести несколько пощечин и залпов мамусиной ругани, потому что успех снова сблизил меня с Холлиером. Я ощущала его энтузиазм. Но он не был направлен непосредственно на меня.

— Я знаю, что вы не обидитесь, но ваша матушка — удивительное открытие, живая окаменелость. Она могла бы жить в любую эпоху, от Венгрии девятнадцатого века до любого места в Европе шестьсот-семьсот лет назад. Какая восхитительная похвальба! Сердце радуется, потому что я словно слышу самого Парацельса, великого человека и короля хвастунов. И вы же помните, что он писал: «Никогда не надейтесь найти мудрость лишь в университетах: говорите со старухами, цыганами, магами, скитальцами, всевозможными крестьянами; учитесь у них, ибо они знают о таких вещах больше всех ученейших

университетов».

— А профессор Фроутс? Он ищет в навозной куче драгоценный камень, про который лишь подозревает, что он может там найтись, но природу которого даже не может отгадать.

— И с ним тоже стоит говорить, и, если он что-нибудь найдет, я позаимствую у него все открытия, которые можно обратить на пользу моих исследований по лечению грязью. То, что делает ваша матушка, — лечение грязью в его высшей форме. Хотя назвать превосходную субстанцию, в которой она хоронит скрипки, грязью — значит пасть жертвой глупейшего современного предрассудка. Но я склонен воспринимать Ози как современного алхимика: он ищет всепобеждающий философский камень именно там, где алхимики велели его искать, — в самом низком, самом презренном, самом отвергнутом. Пожалуйста, устройте мне еще одну встречу с вашей матушкой. Она меня завораживает. Она в высшей степени носительница того самого духа, который нельзя назвать необразованным, но который не скован пошлыми условностями. Его можно звать дикой душой.

Я вернулась в дом 120 по Уолнат-стрит, и оказалось, что устроить следующую встречу легче

легкого.

— Твой мужчина очень красивый, — сказала мамуся. — Как раз такой, как мне нравится: красивые глаза, большой нос, большие руки. К этому должна прилагаться большая штука. У него большая?

Она проказничала, стараясь выбить меня из колеи и заставить покраснеть. Ей это удалось.

— Смотри, дочь моя, будь с ним осторожна: он чаровник. Какая элегантная речь! Ты его любишь, правда ведь?

— Я им восхищаюсь. Он великий ученый.

Мамуся взвыла от смеха.

— «Он великий ученый», — пропищала она пародийным фальцетом, подобрала юбки и прошлась по комнате на цыпочках — надо думать, это должно было изображать меня или ее представление о моей университетской работе. — Он мужчина, точно так же как твой отец был мужчиной. Будь осторожна, или я его у тебя заберу! Я могла бы полюбить этого человека!

«Только попробуй — пожалеешь», — подумала я. Но недаром же я наполовину цыганка: я ответила ей так, чтобы хорошенько умаслить — пускай захлебнется в масле.

— Он от тебя в восторге. Пока мы ехали, он

только и говорил что о тебе. Он говорит, что ты истинная *пхури дай.*[70]

Это почетное звание высокопоставленных цыганок: не так называемых королев, существующих часто лишь напоказ для *гаджё,* но великих старых цыганок, советниц, без чьей мудрости ни один вожак кэлдэраров и не подумает принимать важные решения. Я была права: она клюнула.

— Он подлинно великий человек, — сказала она. — И в мои годы я лучше буду *пхури дай,* чем игрушкой для постели. Слушай: я сделаю так, чтобы ты его заполучила. Тогда он достанется нам обеим.

Боже мой! Что теперь?

---

[70] Примечания и комментарии: 70
Старая женщина *(цыг.).*

Новый Обри IV

1

Только ближе к концу ноября мы наконец рассортировали наследство Корниша и приготовили к отправке в учреждения, которым оно предназначалось. Работа, которая поначалу казалась непосильной, требовала непрестанного тяжкого труда, и мы с Холлиером упорно трудились, отрывая столь нужное и желанное время от собственной работы. Эркхарт Маквариш не столь утруждался; каким-то волшебством он переложил большую часть работы по разбору и описи вещей на секретаршу из конторы Артура Корниша, которая, в свою очередь, пригласила двух крепких мужчин, чтобы те поднимали, таскали и перекладывали.

Нам с Холлиером некого было винить, кроме самих себя. Маквариш разбирал картины и другие произведения искусства, среди которых попадались тяжелые и неухватистые. Вряд ли можно было требовать, чтобы он таскал их в одиночку. Но Холлиер занимался книгами, а он был из тех людей, что костьми лягут, но не дадут никому другому дотронуться до книги, пока не исследуют ее собственноручно, после чего с тем же успехом

можно сразу положить ее куда надо. Но беда в том, что у книг редко бывает окончательное «куда надо»: те, кто разбирает книги, все время словно жонглируют ими, пихая семо и овамо, строя на полу пирамиды, если на столах больше нет места. Мне выпало разбирать и раскладывать рукописи и папки с рисунками, и эту работу я вряд ли мог кому-то перепоручить. По правде сказать, я не желал ничьей помощи.

Все мы противились идее чужого вмешательства — по причине, в которой так до конца и не признались. В завещании Корниша был особый раздел, подробно перечисляющий все завещанное Национальной галерее, галерее Онтарио, университетской библиотеке и колледжу Святого Иоанна и Святого Духа. Список был составлен за два или три года до смерти Корниша. Но и после составления списка Корниш до конца жизни продолжал пополнять коллекцию — как обычно, жадно и неразборчиво. Несколько больших посылок пришло уже после похорон. Поэтому многое из коллекции, в том числе первоклассные экземпляры, не было упомянуто в завещании. Но в нем был пункт, позволяющий каждому из исполнителей выбрать что-нибудь для себя из того, что еще не завещано, — в знак признательности

за выполненную работу и как дар от старого друга. Все остальное попадало в ту часть наследства, которой должен был распорядиться Артур Корниш. Понятно, что мы хотели выбирать из недавних приобретений. Я полагаю, такое поведение можно назвать коварством. Но мы не хотели допускать жадные глаза галерей и библиотек до всего наследства, чтобы не пришлось потом спорить или даже судиться из-за выбранных нами вещей. Наше право было неоспоримым, но общественные организации так жадны, так твердо уверены в собственном праве, так влиятельны и иногда так злобно-хитроумны, что мы не хотели без нужды дразнить их.

Поэтому мы никоим образом не собирались подпускать к коллекции библиотекарей, архивариусов и кураторов, пока не будет проведено последнее собрание; когда оно кончится, пускай обдирают жилище Корниша, как им угодно.

В ту судьбоносную пятницу, в ноябре, я пришел на место первым. За мной явился Эркхарт Маквариш. Мне представился случай исполнить неприятное дело.

— По моему ведомству все оказалось на месте, кроме одной вещи; она упомянута в записных книжках Корниша, и я никак не могу понять, что

это. Он пишет об определенной рукописи, а я не смог ее найти.

Эрки вопросительно взглянул на меня, но, кажется, не очень обеспокоился.

— Вот, — сказал я, доставая записную книжку из ящика, уложенного для отправки в университетские архивы. — Видите, он пишет про «рук. Раб.», которую одолжил «Макв.» в апреле прошлого года. Что это может быть?

— Понятия не имею, — ответил Эрки.

— Но «Макв.» — это явно вы. Вы что-то у него одалживали?

— Я никогда ничего не одалживаю, потому что сам терпеть не могу давать вещи взаймы.

— Тогда как вы объясните эту запись?

— Никак.

— Но это ставит меня в трудное положение.

— Даркур, не будьте занудой. Здесь, должно быть, несколько тысяч книг, рукописей и прочего. Ни один нормальный человек не ожидает, что мы проверим каждый клочок бумаги и все старые письма. Лично я свалил кучу всего в рубрику «Прочее» и не сомневаюсь, что вы с Холлиером поступили так же. Корниш постоянно тащил богатства к себе в нору, но какой-либо порядок был ему совершенно чужд. У такого человека вещи

неминуемо теряются. Не берите в голову.

— Но я беспокоюсь. Если рукопись, которая должна быть в коллекции, куда-то делась, я обязан ее найти и проследить, чтобы она попала в университетскую библиотеку.

— Простите, ничем не могу вам помочь.

— Но «Макв.» — это, несомненно, вы.

— Даркур, мне не нравится, как вы на меня давите. Уж не хотите ли вы сказать, что я что-нибудь украл?

— Нет-нет, ни в коем случае. Но войдите в мое положение: я должен что-нибудь сделать по поводу этой записи.

— И на основании этой записи, найденной среди накаляканных адресов и телефонов, среди напоминаний о бог знает каких давно прошедших событиях, вы на меня наседаете. Вы что, нашли все остальные работы, которые упоминаются в этих каракулях?

— Нет, конечно. Но эта запись не похожа на прочие: там определенно сказано, что он одолжил вам нечто. Я просто спросил.

— Даю вам слово, что я ничего об этом не знаю.

Когда тебе дают слово, ты вынужден либо его принять, либо устроить неприятный шум. Здесь нужна решимость, но я заколебался и пропустил

нужный момент. В таких стычках побеждает человек с более сильной волей, а я, наверное, съел что-нибудь не то, а может, просто от природы не люблю скандалов — или же у шелдоновского типа Эрки есть натуральное преимущество перед моим шелдоновским типом в таких ситуациях. Как бы то ни было, я упустил свой шанс. Я злился, но кодекс чести, регулирующий отношения ученых, приказывал мне оставить эту тему. Конечно, мне было не по себе, и я укрепился в уверенности, что Эрки прикарманил рукопись Рабле, про которую говорил Холлиер. Но раз я своим допросом не смог вырвать рукопись у Эрки, должен ли я теперь обличить его и потребовать… чего? Домашнего обыска? Невозможно! Воззвать к Артуру Корнишу? Но поймет ли Артур всю важность пропавшей рукописи, а если и поймет, захочет ли что-либо предпринять? Поддержит ли меня Холлиер? А если я действительно устрою скандал и возьму верх и рукопись в итоге попадет в университетскую библиотеку, достанется ли она Холлиеру с его Марией? Если Маквариш отдаст рукопись, он вполне может вытащить важные письма из отделения на крышке и заявить, что никогда в жизни их не видел. У меня в голове за несколько секунд пронеслась буря доводов, как

всегда бывает у человека, проигравшего в споре. Лучше смотреть в лицо фактам: я отступил, и конец делу. Эрки победил, а я, скорее всего, нажил себе врага.

От дальнейших неприятных разговоров меня избавило появление человека из адвокатской конторы, другого — из «Сотби» и секретарши, назначенной Корнишем разбирать наследство. Вскоре после них пришли Холлиер и Артур Корниш. Мы выполнили необходимые формальности: представитель «Сотби» засвидетельствовал под присягой, что оценка произведений искусства была проведена его фирмой в соответствии с действующими рыночными ценами; мы трое — что выполнили свой долг в полную меру своих способностей. На том официальная часть закончилась. На самом деле эти клятвы ничего не стоили, потому что не было другого способа выяснить точную цену коллекции Корниша, кроме как продать ее, а наши способности как исполнителей зиждились на мнении Корниша, а не на профессиональных качествах. Юрист и человек из «Сотби» ушли, и настал момент, которого мы все ждали.

— Ну, джентльмены, что вы выбрали? — спросил Артур Корниш.

Он поглядел на Макварища, который был старше всех.

— Я — вот это, — сказал Эрки, подходя к столу в дальнем конце комнаты и кладя руку на бронзовую фигуру, стоящую в кучке похожих.

Похожих, но не столь же ценных. Эрки выбрал лучшую, но почему бы и нет?

Статуя изображала Венеру; представитель «Сотби» определил, что это работа Кановы, причем хорошая.

Я был рад, что Эрки задал такой тон для нас с Холлиером: выбранная им вещь была, несомненно, ценной, но в коллекции Корниша не выделялась. Безусловно, тут нашлись бы вещи получше. Это был выбор обстоятельного, но не жадного человека.

— Профессор Холлиер, — пригласил Артур.

Я знал, как неприятно Холлиеру останавливать на чем-либо свой выбор. Он стоял с лицом ребенка, которого щедрые взрослые в день рождения привели в конфетную лавку и велели выбирать. Для такого скрытного человека сама ситуация была чрезвычайно неприятной. Наконец он заговорил;

— Я хотел бы взять эти книги, если никто не возражает.

Он выбрал четыре тома *Historia Animalium* Конрада Геснера — жемчужину книгоиздательского искусства шестнадцатого века.

— Отлично, Холлиер, — сказал Эрки. — Немецкий Плиний, как раз из вашей оперы.

— Профессор Даркур, — объявил Артур.

Наверное, мне было неприятно объявлять свой выбор — не меньше, чем Холлиеру. Но сглупить нельзя. Когда еще подвернется такая возможность? Никогда. Я какое-то время притворялся, что не знаю, куда смотреть, и наконец положил на стол коричневую бумажную папку с двумя карикатурами, элегантно нарисованными и раскрашенными в бледные цвета. Их мог создать только один человек на свете.

— Бирбом! — воскликнул Эрки, бросаясь вперед. — Симон, какой вы хитрец! Если бы я знал, что здесь есть Бирбомы, я бы и сам, может быть, выбрал что-нибудь другое.

Он вроде бы не сказал ничего особенного, но почему мне вдруг захотелось его убить?

Мы перенесли выбранные вещи на центральный стол, чтобы все могли их хорошенько разглядеть. Секретарша попросила нас дать описания этих вещей для занесения в официальные бумаги. Она была приятная женщина; я пожалел, что

ей ничего не полагается. Артур спросил Холлиера про Геснера, и Холлиер оказался неожиданно красноречив:

— Он швейцарец на самом деле, не немец. Чрезвычайно знающий человек, но больше всего, я думаю, отличился как ботаник. В этих четырех томах он объединил все сведения обо всех животных, известных науке на тысяча пятьсот пятидесятый год. Это издание — сокровищница фактов и предположений, но задумано оно было как научный труд. В отличие от средневековых бестиариев, содержащих исключительно легенды и бабкины сказки.

— А я думал, бабкины сказки — это как раз то, чем вы занимаетесь в своей лавочке, — вставил Эрки.

— В своей лавочке, как вам угодно было выразиться, я изучаю накопление научных знаний, — без всякого выражения ответил Холлиер.

— Давайте посмотрим на Бирбомов, — сказал Эрки. — О, какая красота! «Портреты колледжей»: посмотрите на колледж Святой Магдалины! Какая прелесть! А Баллиол — сплошь высокий лоб и высокоумная гордость! Брейзноуз — дет-

ская головка на широченных плечах! Мертон[71] — боже, это очаровательный портрет самого Макса! А вторая карикатура? «Старый и молодой: Космо Гордон Лэнг». Что они говорят? «Молодой: — Не могу решить, куда пойти, на сцену или по духовной части. И там, и там открываются такие возможности… Старый: — Ты сделал правильный выбор. Положение в Церкви дало мне возможность поучаствовать в настоящем отречении от трона».[72] Ах, Симон, хитрюга! Это очень ценные вещи, знаете ли.

Конечно они ценные, но дело же не в этом; это настоящий Макс Бирбом. Как они понравились бы Эллерману!

— Я не собираюсь их продавать, — парировал я. Может быть, не стоило говорить так резко. — Я оставлю их как сокровище своим наследникам.

— Надеюсь, не «Душку», — сказал Эрки.

---

[71] Примечания и комментарии: 71

…колледж Святой Магдалины… Баллиол… Брейзноуз… Мертон… — Колледжи в составе Оксфордского университета.

[72] Примечания и комментарии: 72

Положение в Церкви дало мне возможность поучаствовать в настоящем отречении от трона. — Космо Гордон Лэнг (1864–1945) — архиепископ Йоркский. Известен в числе прочего резко непримиримой позицией, занятой им в ситуации отречения от престола короля Эдуарда VIII (1936). Подпись к карикатуре иронически противопоставляет участие в настоящем отречении участию в театральном (во многих пьесах английских драматургов рассматривается ситуация отречения от престола).

Что за манера лезть не в свои дела!

Артур понял, что меня заклевали. Он провел рукой по роскошной линии бронзовой спины.

— Очень красиво, — сказал он.

— Да, но видите ли вы, почему я выбрал именно ее? — спросил Эрки. — Поглядите хорошенько. Разве она не похожа кое на кого? На женщину, которую мы все четверо знаем? Посмотрите внимательно. Это же вылитая Мария Магдалина Феотоки.

— Да, определенное сходство есть, — согласился Артур.

— Хотя мы не можем… точнее, я не могу поручиться за всю фигуру, — поправился Эрки. — Но все же современная одежда позволяет многое угадать. Интересно, кто послужил моделью? Раз это работа Кановы, скорее всего, какая-нибудь наполеоновская придворная дама. Наверное, он был с ней близок. Посмотрите, как проработаны детали.

Бронзовая Венера была высотой дюймов двадцать пять; она сидела, закинув одну ногу на колено другой и старательно завязывая ленты сандалии. Необычная деталь: вульва, которую скульпторы обычно изображают гладким бугорком, была сделана реалистично. Это была не

порнография; статуэтка дышала женской грацией и любовью скульптора, которые Канова так хорошо умел передавать в своих работах.

Мне тяжело быть беспристрастным к Эрки. Разумеется, он оценил красоту фигуры, но глаза у него сально блестели, намекая, что он ценит ее и с эротической стороны… Но почему бы и нет, о невыносимый пуританин? Что тебе мешает — дурацкое заблуждение девятнадцатого века о недопустимости эротики в искусстве или дурацкое заблуждение двадцатого века о том, что человеческое тело — не более чем набор масс и плоскостей? Нет, мне не нравилось отношение Эрки к статуе, потому что он связал ее со знакомой нам девушкой, которую Холлиер знал особенно близко; Эрки явно старался поставить нас в неловкое положение. То, что я принял бы без слов от другого человека, было невыносимо, когда исходило от Эрки.

— Холлиер, вы согласны, что она похожа на Марию?

— Похожа, я совершенно согласен, — неожиданно сказал Корниш.

— Красотка, верно? — спросил Эрки у Артура, поглядывая на Холлиера. — Скажите мне, чисто ради интереса, сколько бы вы ей дали по шкале

Раштона?

Мы непонимающе посмотрели на него.

— Разве вы не знаете? Эту шкалу разработал У. А. Х. Раштон, великий математик из Кембриджа. Если в двух словах, то неоспоримой красавицей всех времен считается Елена Троянская, «что в путь подвигла тысячу судов».[73] Следовательно, красота женщины, подвигшей в путь тысячу судов, равна одной Елене. Как же мы оценим красоту женщины, которая подвигла в путь только один корабль? Очевидно, она равна одной миллиелене. Любую женщину, хоть сколько-нибудь претендующую на красоту, можно оценить промежуточным значением по этой шкале. Возьмем, например, Грету Гарбо: вероятно, ей можно дать семьсот пятьдесят миллиелен, потому что при поразительно красивом лице у нее тощая фигура и большие ноги. Что касается Марии, то она кажется мне чудом во всех отношениях, которые я имел удовольствие исследовать. И ее одежда явно не прячет под собой никаких дефектов. Я даю ей восемьсот пятьдесят миллиелен. Артур, что скажете?

— Я скажу, что мы с ней друзья, а друзей я не

---

[73] Примечания и комментарии: 73

…«что в путь подвигла тысячу судов». — Слова из пьесы Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста».

оцениваю с помощью математических величин, — ответил Артур.

— О, какой вы добропорядочный! «Никогда не упоминать имени дамы в офицерской столовой», да?

— Называйте как хотите. Но я думаю, что есть разница между статуей и человеком, которого я лично знаю.

— И «да здравствует маленькая разница»! — воскликнул Эрки.

Холлиер тяжело и громко дышал, и я задался вопросом: а что знает Эрки? Потому что если он знает хоть что-нибудь, то скоро это станет известно всему миру, причем в той форме, которую придаст этой новости неприятный ум Эрки. Но я не понимал, как при сложившихся обстоятельствах Эрки мог узнать хоть что-то про Холлиера с Марией. Я также не понимал, почему меня это задевает, хотя, очевидно, задевало. Я понял, что пора переменить тему. Секретарше было явно не по себе: она видела, что назревает неприятная ситуация, но не понимала, о чем идет речь.

— Я хочу кое-что предложить, — сказал я. — В завещании нашего старого друга Фрэнсиса Корниша говорится, что все исполнители должны выбрать что-нибудь на память о нем, и мы

все время действовали в предположении, что это касается нас троих. Но ведь Артур тоже исполнитель! Артур, в первый день, когда мы тут встретились, вам понравилась одна картина, маленький набросок Вэрли.

— Она предназначалась галерее Онтарио, — сказал Эрки. — Очень жаль, но она занята.

— Да, я знаю, — сказал я. Непонятно, почему Эрки думает, что только он один все знает. — Но мне сказали, что вы, Артур, любите музыку. И даже собираете музыкальные рукописи. Кое-какие из незанятых вещей могут вас заинтересовать.

Артур был польщен, как часто бывает с богатыми людьми, когда кто-нибудь вспоминает, что они, вообще говоря, тоже люди и не все в их власти. Я выудил конверт, заранее положенный поближе, и преподнес Артуру. У него загорелись глаза при виде элегантного, тонкого почерка на четырехстраничном олографе[74] песни Равеля и листа бумаги с шестью или восьмью тактами, написанными неподражаемой сильной рукой Шенберга.

— Я с большим удовольствием приму это, — сказал он. — И большое спасибо, что вы обо мне

---

[74] Примечания и комментарии: 74

Олограф — документ, полностью и собственноручно написанный человеком, чья подпись под ним стоит.

подумали. Мне приходило в голову что-нибудь выбрать, но после случая с Вэрли я не хотел настаивать.

Да, но теперь мы узнали его лучше, и он стал нам симпатичнее, чем тогда, когда жадно смотрел на Вэрли. Артур учился на ходу.

— Если мы всё решили, я хотел бы на этом закончить, — сказал я. — Мы ждем вас в Плоурайте в шесть, и мне, как заместителю декана, еще надо кое-что сделать.

Я взял своих Бирбомов, Холлиер засунул под мышку по два тома Геснера с каждой стороны, а Маквариш, чей трофей был тяжел, попросил секретаршу вызвать ему такси. За счет наследства Корниша, я не сомневался.

Я с сожалением покидал жилой комплекс, где располагались квартиры Корниша и где я часто проклинал взваленную им на меня работу. Мы опустошили пещеру Аладдина, и это было приключение.

2

Обязанности заместителя декана необременительны, и я с радостью принял эту должность, поскольку к ней прилагалась хорошая квартира в колледже; в Плоурайте не было бакалавриата — только магистратура и аспирантура, поэтому он был приятным оазисом тишины и спокойствия посреди университета. Когда наш колледж устраивал гостевые вечера, я должен был присматривать, чтобы все шло хорошо, чтобы гости не чувствовали себя покинутыми, а еда и питье были настолько хороши, насколько этого можно ожидать в университете. Гостевые вечера недешево обходились колледжу, но поддерживали традицию, о которой в современных университетах часто забывают, — старинный обычай ученого гостеприимства. Мы устраивали эти встречи не для того, чтобы люди могли, жуя и запивая, торговаться и заключать сделки; это были не унылые, вызывающие изжогу «рабочие обеды», не скучные «симпозиумы» на определенную тему. Ужины проводились раз в две недели, и колледж приглашал гостей, чтобы они могли поесть, выпить и повеселиться. Просто потому,

что так выражается торжество цивилизации над варварством, человеческих чувств над пыльной ученостью и утверждается постулат, что жизнь ученого — хорошая жизнь. Ози Фроутс определил, что я люблю церемонии, и не ошибся. Наши гостевые вечера были церемониями, и я прилагал особые усилия, чтобы они были церемониями в лучшем смысле этого слова, то есть чтобы люди приходили, потому что им очень хочется, а не потому, что не удалось отвертеться.

На эту ноябрьскую пятницу мы пригласили миссис Скелдергейт из парламента провинции Онтарио, главу комитета по распределению финансирования для университетов. Я устроил приглашения Холлиеру и Корнишу — а потому пришлось позвать и Макварища тоже, — чтобы скромно отпраздновать завершение работы над наследством Корниша. Артур, конечно, мог пригласить нас на обед ради такого случая, но я решил его опередить: мне не нравится идея, что самый богатый человек в компании всегда должен платить за всех.

Кроме перечисленных людей, на ужин должны были прийти четырнадцать сотрудников Плоурайта, не считая декана и меня. Мы были спаянной группой, несмотря на разнообразие

научных интересов. Гилленборг — выдающийся сотрудник медицинской школы нашего университета, Дердл и Делони — с кафедры английского, но с разных направлений, Эльза Чермак — экономист, Хитциг и Бойз — с кафедр физиологии и физики, Стромуэлл — медиевист, Ладлоу — юрист, Пенелопа Рейвен — с кафедры сравнительного литературоведения, Аронсон — компьютерщик, Роберта Бернс — зоолог, Эрценбергер и Ламотт — с кафедр немецкого и французского, а Мукадасси — гость кафедры стран Юго-Восточной Азии. Если учесть, что Маквариш — историк, Холлиер представляет плохо определенную, но вызывающую большие споры область медиевистики, декан — философ (зоилы утверждали, что он был бы счастливее в университете девятнадцатого века, где еще существовало отделение философии морали), а сам я — специалист по классической филологии, наши интересы чрезвычайно разнообразны, и я надеялся, что разговор выйдет оживленным.

И не я один. Когда мы спускались из большого зала, чтобы продолжить ужин в зале профессуры, Эрки Маквариш взял меня под руку и прошептал на ухо медоточивым голосом — а он умел быть сладкозвучным, когда хотел:

— Восхитительно, Симон, совершенно восхитительно! Вы знаете, что мне это напоминает? Конечно, вы знаете, что я страстный поклонник Рабле. Все из-за моего великого предка. Ну так вот, мне это напоминает ту прелестную главу о деревенских жителях на празднике, во время рождения Гаргантюа, когда они выпивают, болтают и шутят. Помните, как сэр Томас перевел название главы? «Как они болтали во хмелю». Наша беседа в зале была великолепна, а эти младшие преподаватели очень милы, но я с нетерпением жду, когда мы водворимся в зале профессуры, где, несомненно, ученые будут болтать во хмелю с удвоенной силой.

Он метнулся в мужской туалет. Мы специально устраиваем перерыв в ходе гостевого вечера, чтобы каждый мог сходить в туалет, освежиться, при необходимости прополоскать вставную челюсть и приготовиться к тому, что будет дальше. Я знаю, что моя чувствительность к любым словам Эрки Макварiша доходит до абсурда. Но все же мне было неприятно, что он сравнил нашу приятную трапезу с раблезианским обжорством. Да, через несколько минут мы должны были сесть за стол, где стоят вино, орехи и фрукты, но главное в этом застолье — беседа. Эрки совершенно не

обязательно было выражаться так, как будто мы — выпивохи-крестьяне из книги его любимого автора. Но все же Эрки не дурак: я, как замдекана, должен был следить, чтобы графины с вином не пустели, чтобы у Эльзы Чермак была ее сигара, а у подагрика Ламотта — его минеральная вода. А потому я, единственный из собравшихся, обладал свободой перемещения вокруг стола и мог слушать, как ученые болтают во хмелю.

— О, какая красота! — воскликнула миссис Скелдергейт, входя в зал профессуры вместе с деканом. — Какая роскошь!

— Не такая уж и роскошь, — возразил декан, для которого это была больная тема. — И я вас уверяю, на этот стол не пошло ни цента из госбюджета; вы — наш гость, а не угнетенных налогоплательщиков.

— Но все это столовое серебро, — сказала дама из правительства. — Такое совсем не ожидаешь увидеть в колледже.

Декан не мог оставить эту тему в покое, и, учитывая, с кем он беседовал, трудно его винить.

— Это все подарки колледжу, и поверьте мне на слово, что, если все содержимое этого стола продать с аукциона, не хватило бы даже на неделю работы такой лаборатории, как… — он

лихорадочно искал в уме, кого бы назвать, — как у профессора Фроутса.

Миссис Скелдергейт была тактична, как любой политик.

— Мы все надеемся, что профессор Фроутс совершит большое открытие. Может быть, прольет новый свет на природу возникновения рака.

Она повернулась налево, туда, где стоял Арчи Делони, и спросила:

— Кто вон тот красивый, но мрачный мужчина, ближе к тому концу стола?

— О, это Клемент Холлиер, он роется в мусорных кучах идей далекого прошлого. Он красив, правда? Когда ректор в своей речи назвал его украшением университета, мы не могли решить, что имеется в виду, — его внешность или его труды. Но заботы его старят. «Еще хранит в руинах величавых былую мощь»,[75] как выражался Байрон.

— А вон тот человек, который всех рассаживает по местам? Я точно знаю, что мы уже встречались, но у меня ужасная память на имена.

— Это наш замдекана Симон Даркур. Бедняга Симон борется с тем, что Байрон называл «жиро-

---

[75] Примечания и комментарии: 75

«Еще хранит в руинах величавых былую мощь»... — Дж. Г. Байрон. Манфред. Акт 111, сц. IV. Пер. И. Бунина.

вой водянкой», а попросту — с полнотой. Очень достойный человек. Священник, как видите.

Интересно, Делони все равно, услышу ли я? Или он даже хочет, чтобы я услышал? «Жировая водянка», подумать только! О, как злобны эти костлявые эктоморфы! По всей вероятности, я еще буду радоваться жизни, когда Арчи Делони скрутит артритом. Выпьем же за мои сорок футов кишок и все, что к ним прилагается!

Профессор Ламотт был бледен и промокал лоб носовым платком: судя по всему, Роберта Бернс только что наступила ему на подагрическую ногу. Роберта расстраивалась, а Ламотт, идеал вежливости, ее успокаивал:

— Ничего страшного, это совершенно не имеет значения.

— Нет, имеет, — сказала Роберта, которая обожала спорить, как все шотландцы, но при этом была добросердечна. — Все имеет значение. Вселенной приблизительно пятнадцать миллиардов лет, и я клянусь, что за это время не случилось ни одного незначительного происшествия, — все, что произошло, каким-то образом повлияло на общий итог. Может быть, вам полегчает, если вы меня ударите? Я вам разрешаю заехать мне кулаком в ухо.

Но Ламотт, к которому уже вернулся нормальный цвет лица, только игриво хлопнул ее по уху пальцами.

Декан услышал их разговор и отозвался:

— Роберта, я вас слышу и совершенно согласен: все имеет значение. И это порождает целый сонм рассуждений на темы этики.

Декан совершенно не умеет вести светскую беседу, и профессора помоложе любят над ним подтрунивать. В разговор вмешался Делони:

— Но вы не можете не признавать существования тривиальных, совершенно бессмысленных предметов и явлений. Таких, как великая распря, бушующая ныне на кафедре кельтских исследований. Вы слышали?

Декан не слышал, и Делони стал рассказывать:

— Вы знаете, как они там вечно квасят — причем крепкое, а не кровь виноградной лозы, как цивилизованные люди вроде нас. На прошлой неделе Дарраг Туми набрался до изумления и храбро заявил, что «Мабиногион»[76] на самом деле ирландский эпос, а валлийцы его украли и совершенно испортили. Профессор Джон Джен-

---

[76] Примечания и комментарии: 76

«Мабиногион» («Mabinogion», букв.: «то, что должен знать рассказчик — ученик барда») — единственный дошедший до нас памятник древневаллийского прозаического эпоса. Важная часть кельтской культуры.

кин Джонс поднял перчатку, и дело дошло до кулачной драки.

— Не может быть! — воскликнул декан, прикидываясь, что он в шоке.

— Арчи, это совершеннейшая неправда, — сказала профессор Пенелопа Рейвен: она обходила стол, ища карточку со своим именем. — Они не обменялись ни одним ударом; я там была, я знаю.

— Пенни, вы их просто выгораживаете, — сказал Делони. — Удары были. Я слышал это из неопровержимо авторитетного источника.

— Не было никаких ударов!

— Ну, толчки.

— Да, возможно, они толкались.

— И Туми упал.

— Поскользнулся. Вы раздуваете этот инцидент до эпических размеров.

— Может быть. Но университетское насилие так мелко. Душа просит чего-нибудь полнокровного. Какого-нибудь достойного мотива. Приходится преувеличивать, чтобы не чувствовать себя пигмеем.

У нас на гостевых вечерах не положено так себя вести. Усевшись за стол, следует вежливо беседовать с соседями слева и справа, но люди

типа Делони и Пенни Рейвен имеют привычку кричать через стол, влезая в чужие разговоры. Декан принял горестный вид — так он выражал свое неодобрение. Пенни повернулась к Аронсону, а Делони — к Эрценбергеру, и оба начали вести себя хорошо.

— А правда, что если вскрывать ирландцев, то у четырех из пяти окажется луженый желудок? — шепотом спросила Пенни.

Гилленборг, швед, подумал и ответил:

— Это не входит в мою тематику.

— Чем вы сегодня занимались? — спросил Хитциг у Ладлоу.

— Читал газеты, — ответил Ладлоу, — и они мне порядком надоели. Каждый день десяток храбрых цыплят кричит в заголовках, что небо падает.

— Только не спрашивайте меня, почему все большие новости — обязательно плохие, — сказал Хитциг. — Человечество радуется прегрешениям, всегда радовалось и всегда будет радоваться.

— Да, но эти прегрешения очень однообразны, — сказал юрист. — Все одни и те же старые темы, без вариаций. Как жаловались наши друзья на другом конце стола, примитивность преступлений делает их обыденными. Потому так популярны детективные романы: в них преступники

всегда хитроумны. Настоящее преступление не хитроумно: все те же сюжеты повторяются снова и снова. Если бы я хотел совершить убийство, я придумал бы совершенно новое орудие. Думаю, я пошел бы на кухню к жене, залез в морозилку и вытащил замороженную буханку хлеба. Вы видали такие? Они как большие камни. Треснуть таким жертву — скажем, свою жену — по голове, потом испечь хлеб и съесть. Полиция тщетно ищет орудие убийства. Нестандартное мышление, понимаете?

— Вас найдут, — сказал Хитциг, который знал очень много о Ницше и был склонен к мрачности. — По-моему, такую схему уже пробовали.[77]

— Вполне возможно, — согласился Ладлоу. — Но, по крайней мере, я добавлю что-то новое к монотонной повести Отелло. И войду в анналы истории преступлений как «убийца хлебом». Я признаю, что мы живем в мире, полном насилия, но меня не устраивает единообразие этого насилия.

— Надо полагать, время студенческих беспоряд-

---

[77] Примечания и комментарии: 77

...вытащил замороженную буханку хлеба. <...> Треснуть таким жертву... по голове, потом испечь хлеб и съесть. <...> По-моему, такую схему уже пробовали. — Аллюзия на рассказ Роальда Даля «Агнец на заклание», только там был не хлеб, а окорок.

ков уже прошло, — говорила в это время миссис Скелдергейт, обращаясь к декану.

— И слава богу, — ответил он. — Хотя мне кажется, что люди сильно преувеличивали те беспорядки, которые были; в университетах всегда бунтуют, и студенты неустанно лезут в политику. Фраза «студенты устроили беспорядки на улицах» отдается эхом во всех уголках и закоулках истории. Но конечно, мы относимся к своим студентам гораздо гуманнее, чем европейские университеты когда-либо относились к своим. Некоторые мои коллеги из Сорбонны хвастаются, что никогда не говорили со студентом за пределами аудитории, так как предпочитают избегать всякого сближения. Как видите, разительное несходство с англо-американской традицией.

— Господин декан, значит, вы думаете, что бунты ничего не изменили?

— О, изменили, спору нет. Согласно нашей традиции, отношения преподавателя и студента — это отношения адепта и ученика, ищущего посвящения. Желание заменить их на отношения поставщика услуг и клиента послужило одной из причин беспорядков. Эта идея и публике понравилась, и, соответственно, правительства начали говорить с университетами в том же духе, если

мне позволено будет так выразиться. «В следующие пять лет нам понадобятся инженеры числом семьсот голов: профессор, извольте всё устроить». И так далее. «Профессор, вам не кажется, что философия в наше время — ненужное излишество? Неужели вы не можете сократить штаты?» Образование для немедленного эффективного употребления — эта идея сейчас популярна, как никогда, и никто не желает смотреть вперед, никто не хочет думать об интеллектуальном тонусе страны.

Миссис Скелдергейт растерялась: она открыла кран, который уже не могла закрыть, и декан пошел вразнос. Но она умела слушать, и на ее лице не отразилось ничего, кроме интереса к словам собеседника.

Профессор Ламотт еще не пришел в себя после атаки на его подагрическую ногу и был донельзя шокирован, когда Маквариш, перегнувшись через него, спросил у профессора Бернс:

— Роберта, я вам уже показывал свою косточку пениса?

Профессор Бернс, зоолог, даже бровью не повела:

— А у вас правда есть? Раньше они все время попадались, но я уже давно ни одной не видела.

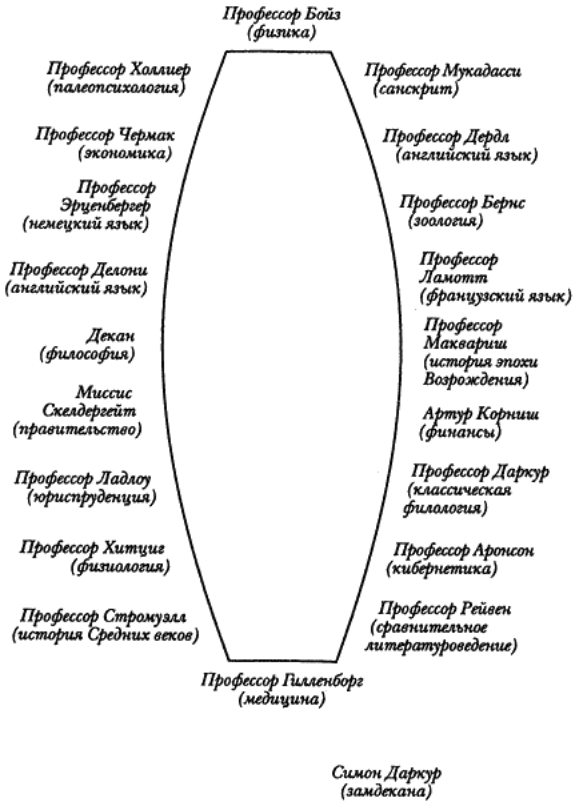
Эрки отсоединил от часовой цепочки оправленный в золото предмет и протянул Роберте:

— Восемнадцатый век, прекрасный экземпляр.

Зал профессуры

Схема расположения гостей за столом

27 ноября



— О, какая красота. Профессор Ламотт, посмот-

рите, это косточка пениса енота; раньше они были очень популярны в качестве зубочисток. А портные ими распарывали наметку. Спасибо, Эрки, очень мило. Но спорим, что у вас нет кисета из мошонки австралийского кенгуру; мне брат прислал такой из Австралии.

Профессор Ламотт с отвращением разглядывал косточку пениса.

— Вы не находите ее чрезвычайно неприятной? — спросил он.

— Я не ковыряю ею в зубах, — объяснил Эрки. — Только показываю дамам на светских приемах.

— Вы меня поражаете, — сказал Ламотт.

— Подумать только, Рене, а еще француз! Тонкие умы любят освежаться ветерком, несущим легкий аромат непристойности. *La nostalgie de la boue*[78] и все такое. Непристойность и даже грязь — но утомленный интеллект надо время от времени спускать с цепи. Вспомните хотя бы Рабле.

— Я знаю, вы очень любите Рабле, — сказал Ламотт.

— Это семейное. Мой предок, сэр Томас Эркхарт, сделал первый и до сих пор непревзойденный перевод Рабле на английский язык.

---

[78] Примечания и комментарии: 78
Тоска по грязи *(фр.)*.

— Да, его перевод значительно лучше оригинала, — сказал Ламотт.

Но Эрки был совершенно глух к чьей бы то ни было иронии, кроме собственной. Он продолжал рассказывать профессору Бернс про сэра Томаса Эркхарта, перемежая свой рассказ похабными цитатами.

Я обходил стол кругом, исполняя свои обязанности. Приятно было видеть, что Артур Корниш оживленно беседует с профессором Аронсоном, компьютерной звездой нашего университета. Они говорили о фортране — языке программирования, к которому у Артура, как финансиста, был профессиональный интерес.

— Как вы думаете, стоит чуть позже допросить миссис Скелдергейт, что говорят в парламенте насчет бедняги Фроутса? — спросила Пенелопа Рейвен у Гилленборга. — Они его совершенно неправильно понимают, честное слово. Правда, я ничего не знаю о его опытах, но человек не может быть таким идиотом, каким его пытаются выставить эти дураки.

— Я бы на вашем месте не стал этого делать, — ответил Гилленборг. — Помните наше правило: на гостевых ужинах никогда не говорить о делах

и не просить об одолжениях. И я добавлю еще одно: никогда не пытайтесь ничего объяснять про науку людям, которые хотят понять вас неправильно. С Фроутсом все будет в порядке: знающие люди не сомневаются в ценности его работы. А то, что сейчас, происходит в парламенте, всего лишь разгул демократии: каждый некомпетентный человек должен высказать свое плохо обоснованное мнение. Никогда не объясняйте и не оправдывайтесь — это правило всей моей жизни.

— Но я люблю объяснять, — возразила Пенни. — У людей бывают совершенно безумные представления об университетах и людях, которые там работают. Вы видели в газетах некролог бедняге Эллерману? Невозможно догадаться, что это о человеке, которого мы все знали. Факты более-менее правильные, но не передают его сути, а суть в том, что он был ужасно хороший человек. Конечно, если бы они хотели его распять после смерти, это было бы проще простого. Он писал какой-то безумный любовный роман с продолжениями, вроде бы держал его в секрете, но признавался каждому встречному и поперечному: что-то вроде женщины-мечты, которую он придумал для собственного наслаждения и

признавался ей в любви квазиелизаветинской прозой. Если кто-нибудь доберется до этого романа…

— Не доберутся, — сказал Стромуэлл с другой стороны стола. — Его больше нет.

— Правда? — спросила Пенни. — Что случилось?

— Я его сжег собственноручно, — ответил Стромуэлл. — Эллерман хотел, чтобы его не стало.

— Но разве его не следовало передать в архивы?

— По-моему, в архивы и так попадает слишком много всего, а попав туда, приобретает несообразно большое значение. Людей надо судить по тому, что они публикуют, а не по тому, что они держали в нижнем ящике стола.

— И что, этот роман действительно был такой неприличный, как намекал Эллерман?

— Не знаю. Он просил меня не читать, и я не стал.

— И так человечество потеряло еще один великий любовный роман, — произнесла Пенни. — А вдруг его автор был великим художником от порнографии?

— Только не Эллерман, он был слишком предан университетскому идеалу, — возразил Хитциг. —

Будь он в первую очередь художником, он не был бы так счастлив в университете. Недовольство — важнейшая черта художника. Университеты могут выпускать хороших критиков, но не художников. Мы, университетские люди, — прекрасные ученые, но склонны забывать об ограниченности познания: оно не может творить и зачинать.

— Ну, это вы хватили! Я могу назвать кучу художников, которые жили в университетах, — возразила Пенни.

— А я на каждого вашего назову двадцать, которые не жили, — сказал Хитциг. — Лучше всего и в самых больших количествах у университетов получаются ученые. Наука состоит из открытий и откровений — а они не искусство.

— Ага! Почтительно вопрошать Природу, — сказала Пенни.

— Нет, искать зияющие дыры в точных науках и затыкать их к вящей пользе мира, — сказал Гилленборг.

— Тогда как вы назовете гуманитарные науки? — спросила Пенни. — Цивилизацией, наверное?

— Цивилизация покоится на двух вещах, — сказал Хитциг. — Это открытие ферментации, производящей алкоголь, и способность добро-

вольно задерживать дефекацию. И скажите на милость, без этих двух — где был бы наш сегодняшний восхитительно цивилизованный вечер?

— Ферментация, несомненно, относится к науке, — сказал Гилленборг. — А вот управление дефекацией — к психологии. И если кто-нибудь сейчас скажет, что психология — это наука, я завизжу.

— Нет-нет, вы вступили на мою территорию, — вмешался Стромуэлл. — Задержка дефекации — процесс по природе своей теологический и, несомненно, является одним из последствий грехопадения человека. А это, по общепринятой ныне точке зрения, знаменует собой зарю персонального сознания, отделение личности от племени, или массы. Животные не способны задерживать дефекацию; это вам объяснит любой режиссер, который хоть раз пытался вывести на сцену лошадь и обойтись без казусов. Животные лишь смутно сознают себя: еще более смутно, чем мы, повелители мира. Когда человек съел плод с древа познания, он начал осознавать себя как нечто отличное от окружающей природы и в последний раз беззаботно опорожнил кишечник, пока, ступая боязливо, шел из Эдема в одинокий

путь. После этого он, конечно, вынужден был вести себя осторожно, глядеть под ноги и в буквальном смысле слова не гадить где попало.

— Вы такая же кислятина, как Мильтон! — воскликнула Пенни Рейвен. — «Шел в одинокий путь»![79] А как же Ева?

— Каждый ребенок заново переживает опыт осознания себя уникальным существом, — сказал Хитциг, не обращая внимания на этот взрыв феминистических эмоций.

— Каждый ребенок заново переживает всю историю развития жизни на Земле, начиная с рыб, прежде чем научиться задерживать дефекацию, — сказал Гилленборг.

— Каждый ребенок заново переживает изгнание из рая — материнской утробы — и извергается в мир, который на каждом шагу причиняет боль, — сказал Стромуэлл. — Господин заместитель декана, скажите, пожалуйста, эти люди совсем забыли, что графины с вином надо передавать по кругу?

Я оторвался от интереснейшей речи Корниша про акул-ростовщиков (разумеется, он не одобрял этого промысла, но чрезвычайно интересовался

---

[79] Примечания и комментарии: 79

…ступая боязливо, шел из Эдема в одинокий путь. — Перефразированная цитата из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай».

им) и еще раз обошел вокруг стола, чтобы убедиться, что всем собравшимся хорошо и удобно, и ускорить продвижение графинов. Оказалось, что графины застряли у непьющего профессора Мукадасси, который заслушался речами Холлиера. Я был рад, что Клем получает удовольствие от вечера, потому что он на самом деле не очень компанейский человек.

— Культурными окаменелостями, — говорил он, — я называю убеждения и сценарии, которые так глубоко вросли в окружающую жизнь, что уже не вызывают никаких вопросов. Помню, мальчиком я пошел в церковь с какими-то родственниками из Англии и заметил, что многие деревенские женщины делают крохотный реверанс перед пустой стеной. Я спросил почему. Никто не знал, но потом мой кузен спросил у священника, и оказалось, что до Реформации здесь стояла статуя Девы Марии. Солдаты Кромвеля уничтожили ее, но не смогли уничтожить местный обычай, как явствовало из поведения женщин. Много лет назад я ненадолго заехал на остров Питкэрн — и словно оказался в самом начале девятнадцатого века; последними иммигрантами, прибывшими на остров, были солдаты Веллингтона. Их потомки все еще гово-

рили языком Сэма Уэллера: «Нужды нет, сударь» и «Если угодно вашей милости». Когда мой отец был мальчиком, любой благовоспитанный канадский ребенок знал, что первая буква в слове «herb» не произносится. Такое произношение все еще можно услышать кое-где, и современные англичане думают, что это невежество, а на самом деле это история культуры. Это мелочи, но среди народов, живущих замкнуто, — выживших настоящих цыган, некоторых кочевых племен Востока — сохранились самые разные идеи, достойные внимания. Мы склонны думать, что человеческое познание прогрессивно: поскольку мы сами знаем все больше и больше, из этого должно следовать, что наши деды знали меньше нас, а прадеды еще меньше. Но правдоподобна и другая теория: может быть, мы просто в разное время узнаем вещи с разных сторон и разными путями. И это проливает новый свет на всю мифологию: мифы не мертвы, просто мы их теперь по-другому понимаем и по-другому применяем. Если вы думаете, что суеверие умерло, зайдите как-нибудь на экзамен и посмотрите, сколько всяческих амулетов и талисманов притаскивают с собой студенты.

— Неужели вы это серьезно? — спросил Бойз.

— Совершенно серьезно, — ответил Холлиер.

— Вы говорите об одной из великих пропастей непонимания, существующих между Западом и Востоком, — сказал Мукадасси. — Мы, жители Индии, знаем: люди ничем не хуже нас верили в разные вещи, которые сейчас образованные члены общества считают нелепостью. Но я согласен с вами, профессор: наша задача не презирать эти верования, а стараться понять, что имели в виду древние люди и какого результата намеревались добиться с их помощью. Научная гордыня толкает нас на величайшее безумие и мракобесие — презрение к прошлому. Но мы, люди Востока, в повседневной жизни уделяем Природе намного больше внимания, чем вы. Может быть, потому, что у нас есть возможность гораздо больше времени проводить под открытым небом. Но если я могу так выразиться — и, пожалуйста, не думайте, что я хочу задеть ваши чувствительные места, профессор, — нет, нет, ни за какие сокровища мира, — ваше христианство не очень помогает в общении с Природой. Природа все равно скажет свое слово, и даже та Человеческая Природа, которую христианство так часто порицает. Надеюсь, я никого не оскорбил?

Холлиер не оскорбился: Мукадасси явно пре-

увеличил степень его приверженности христианским идеям.

— Одна из моих любимых культурных окаменелостей — садовый гном. Вам попадались такие? Они очень милы, весьма симпатичны. Но неужели люди покупают их лишь за симпатичность? Я уверен, что нет. Гномы — это сахар в напитке веры; западные религии больше не кладут сахара в этот напиток, а сильно разбавленный филантропизм, который для многих сходит за религию, его и вовсе не предлагает. Гномы говорят о тоске человека — неосознанной, но тем более сильной — по садовому божеству, духу земли, кобольду, кабиру,[80] хранителю домашнего очага. Гномы ужасны, но в них есть истина, которой нету в купальнях для птиц и солнечных часах.[81]

Профессор Дердл в это время плакался на свою судьбу Эльзе Чермак. Эльза успела пожаловаться

---

[80] Примечания и комментарии: 80

…духу земли, кобольду, кабиру… — Кобольды в мифологии Северной Европы — духи домашнего очага или горные, подземные духи. Кабиры (др.-греч. κάβειροι) — древние божества древнегреческой и более ранней мифологии.

[81] Примечания и комментарии: 81

Гномы ужасны, но в них есть истина, которой нету в купальнях для птиц и солнечных часах. — Купальни для птиц, солнечные часы — наряду с садовыми гномами традиционные украшения садов в англосаксонской культуре.

ему на двухдневный «семинар выходного дня» по экономике, который она посетила в дружественном университете.

— Вы хотя бы говорите на свои темы, — сказал Дердл. — Вам не приходится слушать атмосферный треск.

— В самом деле? Много же вы знаете.

— А разве можно трещать об экономике? Я думал, нет. Но вам уж точно не приходится слушать белиберду, на которую я сегодня убил полдня. У нас находится с визитом Большой Человек из Блумсбери,[82] вы знали? Он произнес речь о могучих и славных делах прошлого, частицей коих был и сам. Большая часть речи звучала примерно так: «Конечно, в те въемена в Блумсбеъи мы были совсем *бэзумные.* Слуги были *бэзумные.* Бывало,

[82] Примечания и комментарии: 82

…с визитом Большой Человек из Блумсбери… — Группа Блумсбери (иначе — «Блумсберийский кружок») — группа английских интеллектуалов, писателей и художников, выпускников Кембриджа, объединенных сложными семейными, дружескими, творческими отношениями. Группа начала регулярно собираться в 1905–1906 гг. в в лондонском районе Блумсбери. В группу входили писатели-модернисты Вирджиния Вулф, ее подруга Вита Сэквилл-Уэст, Литтон Стрейчи, Э. М. Форстер, Д. Гарнетт, художники Дора Каррингтон и Дункан Грант, художник и писатель Уиндем Льюис, историки искусства К. Белл и Р. Фрай, экономист Джон Мейнард Кейнс, ориенталист Артур Уэйли, философ и математик Бертран Рассел и др. Блумсберийцы противостояли викторианскому ханжеству, отстаивали принципы художественного поиска, независимость в жизни и в искусстве.

садишься за стол, а на стуле у тебя таъелка с едой. Потому что все гоъничные были *бэзумные*… У нас была къасная двей. У всех были синие двеи, зеленые двеи, коичневые двеи, но у нас была къасная двей. Полное *бэзумие!*» Щедрость университетов к людям, знавшим великих мира сего, просто изумительна. Мне кажется, это какая-то форма романтизма. Любой приблудный англичанин, помнящий Вирджинию Вулф, Уиндема Льюиса или Э. М. Форстера, может называть любую сумму гонорара, есть и пить, пока его не хватит кондрашка, за счет любого университета Северной Америки. Чисто средневековое явление: бродячие жонглеры и шпагоглотатели. Впрочем, американские нахлебники еще хуже: обычно они — поэты или миннезингеры, желающие показать свою близость к молодежи. Их манера постоянно подлизываться к студентам меня просто убивает, потому что платят-то им не студенты. Господи, слышали бы вы сегодняшнюю речь этого слабоумного осла! «Я никогда-а-а не забуду, как Виъджиния ъазделась совеъшенно догола, завеънулась в полотенце и изобъазила Аънольда

Беннетта, как он диктует в турецких банях.[83] Мы пъосто визжали! Бэзумие! Бэзумие!»

— У нас есть свои *бэзумные* рассказчики, — сказала Эльза. — Вы когда-нибудь слыхали байку Делони про директора колледжа Святого Брендана, у которого ручная майна говорила по-латыни? Она умела говорить: «Liber librum aperit»[84] — и разные другие классические фразы, но у нее было тяжелое детство, и она могла заорать «Пойдем бухнём, старик» в тот момент, когда директор отчитывал непутевого студента. Надо сказать, что Делони прекрасно исполняет эту байку, и если он решит стать гастролирующим лектором, вполне возможно, что это будет его коронный номер. Экономисты — они точно такие же: часами рассказывают, как Кейнс не мог наскрести ме-

---

[83] Примечания и комментарии: 83

…Виъджиния… изобъазила Аънольда Беннетта, как он диктует в турецких банях. — Арнольд Беннетт (1867–1931) — английский писатель-реалист, которого модернисты-блумсберийцы считали чересчур старомодным; Вирджиния Вулф полемизировала с ним в прессе в течение десяти лет.

[84] Примечания и комментарии: 84

«Книга открывает книгу» *(лат.)* — пословица алхимиков.

лочь на такси[85] и тому подобное. Университеты — великие хранилища подобных бесполезных мелочей. Джим, вам пора в саббатический отпуск, вы начинаете скисать.

— Может, и так, — ответил Дердл. — По правде сказать, я сейчас работаю над собственной байкой — о том, как мы встречали инспекцию из Канадского совета, которая должна была провести «осмотр на месте». Вы ведь знаете, как они работают? Очень похоже на средневековый визит епископа. Вы убиваете несколько месяцев на документацию к заявке на грант, который нужен для выполнения какой-нибудь особенной работы. Когда все бумаги собраны, Канадский совет посылает комитет из шести-семи человек на встречу с вашим комитетом из шести-семи человек, вы их кормите, поите, смеетесь над их анекдотами, заново рассказываете им все, что уже рассказали, и вообще обращаетесь с ними по-дружески — даже как с равными. Потом они возвращаются в Оттаву и оттуда пишут, что, по

---

[85] Примечания и комментарии: 85

…Кейнс не мог наскрести мелочь на такси… — Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) — английский экономист. Создал оригинальную теорию вероятностей, не связанную с аксиоматикой Лапласа, фон Мизеса или Колмогорова. Возникшее под влиянием идей Кейнса экономическое течение впоследствии получило название кейнсианства. Кейнс также считается одним из основателей макроэкономики как самостоятельной науки.

их мнению, ваш план недостаточно хорошо проработан и потому не заслуживает их поддержки. Зажравшиеся шавки мещанского филистерства! Сидят на тепленьких местечках с хорошими окладами и пенсиями!

— *Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens,* — сказал Эрценбергер.

— Переведите, пожалуйста, — попросила Эльза.

— Против глупости сами боги бороться бессильны, — перевел Эрценбергер и добавил, не в силах скрыть нотку жалости в голосе: — Шиллер.

Эльза проигнорировала жалость и снова повернулась к Дердлу:

— Ну так вот, кто ходит по миру, тот должен знать, что время от времени люди будут захлопывать дверь у него перед носом или спускать собак. Ученые — побирушки. Так всегда было и всегда будет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Помоги нам Господь, если ученые когда-нибудь дорвутся до контроля над настоящими деньгами.

— Боже, Эльза, ну зачем такой пессимизм! Это все ваши дурацкие сигары: они порождают ощущение обреченности. Любой ученый, который хоть чего-нибудь стоит, хочет стать царем-философом. Но для этого нужна куча денег. Хотел бы

я иметь маленький независимый доход: я бы все бросил и стал писать.

— Нет, Джим, не бросили бы. Университет навеки запустил в вас когти. Научная работа — она проникает в кровь, как сифилис.

На гостевых вечерах никто не напивается. Вино вершит свою древнюю магию — люди делаются в большей степени сами собой, и то, что вплетено в ткань их натуры, проступает явственнее. Ладлоу, преподаватель-юрист, смотрел с точки зрения закона, а миссис Скелдергейт, которую больше всего занимали язвы общества, пыталась возбудить в Ладлоу негодование, а может быть, жалость или что угодно, только не хладнокровное рассудочное созерцание картин упадка нравов в нашем городе.

— Конечно, в первую очередь надо думать о детях, потому что многим взрослым помочь уже нельзя. О детях и молодежи. Когда я начала заниматься этой работой, труднее всего мне было осознать, что многим женщинам абсолютно безразличны их собственные дети. Эти дети выброшены в мир, которого совершенно не понимают. На прошлой неделе одна девочка рассказала мне, что к ним домой пришел старик и подрался с ее мамой на кровати. Разумеется, де-

вочка не поняла, что это было половое сношение. Кем она станет, когда поймет, а это неминуемо случится очень скоро. Ребенком-проституткой. Я уверена, это одно из самых трагических зрелищ в мире. Я пыталась как-то помочь другой девочке, которая не умеет говорить. С ее речевым аппаратом все в порядке: она не говорит, потому что ею не занимались вообще. Она не знает самых простых слов. Ее ягодицы покрыты треугольными ожогами: любовник матери прижигает девочку утюгом, чтобы излечить ее от глупости. Другой ребенок боится говорить: он живет в немом ужасе, а мать, видя его мучительные, умоляющие гримасы, бьет его.

— Вы описываете чудовищный мир, какую-то достоевщину, — сказал Ладлоу. — Тяжело сознавать, что все это происходит меньше чем в двух милях от зала, где мы сейчас сидим в окружении удобства и даже роскоши. Но что же вы предлагаете?

— Я не знаю, но что-то нужно делать. Мы не можем просто закрывать глаза. Неужели у вас, университетских преподавателей, нет никакого ответа? Раньше думали, что спасение — в образовании.

— Живя в университете, неизбежно понима-

ешь, что образование не спасает вообще ни от чего, разве что оно сопровождается прививкой здравого смысла, доброго сердца и понимания, что все люди — братья, — сказал Ладлоу.

— И признания отцовства Бога, — добавил декан.

— Позвольте, я не буду высказывать свое мнение на этот счет, — сказал Ладлоу. — Прения о Боге не для юристов, они для философов вроде вас и священников вроде Даркура. Мы с миссис Скелдергейт видим общество, как оно есть: она — как социальный работник, я — в ходе своей работы в суде; нам приходится работать с тем, что общество нам предоставляет. И вот что еще, миссис Скелдергейт, я никоим образом не недооцениваю серьезность проблем, причиной которых вы считаете бедность и невежество, но мне приходилось работать с поистине ужасными судебными делами, и я знаю: ровно то же самое встречается в слоях общества, которые вовсе нельзя назвать бедными или — по крайней мере, в обычном смысле этого слова — невежественными. Бесчеловечность, жестокость и преступный эгоизм встречаются отнюдь не только у бедняков. Массу примеров такого поведения можно наблюдать прямо здесь, в университете.

— О Ладлоу, конечно же, вы преувеличиваете ради красного словца, — сказал декан.

— Вовсе нет. Любой, кто долго проработал в университете, знает, например, как распространено в этой среде воровство. Но все сговорились о нем молчать. И думаю, правильно, потому что представьте себе, какой шум поднимется, если это выйдет наружу. Но чего вы хотели? Подобный университет — сообщество из пятидесяти тысяч людей; если взять город с населением в пятьдесят тысяч, среди жителей неминуемо найдутся воры. Что крадут в университете? Все, что угодно, от мелочей до недешевой техники, от ножей и вилок до целых комплектов священных сосудов из университетских часовен — их, как я случайно узнал, вывозят контрабандой в Южную Америку. Глупо было бы притворяться, что студенты не имеют к этому никакого отношения. И вероятно, сотрудники тоже, только мы об этом не знаем. Это можно объяснить: все учреждения пробуждают в сердце человека склонность к воровству, а украсть что-нибудь у *alma mater* — значит отомстить матери кормящей за ее высокомерные претензии от имени какой-то — не признаваемой даже ее владельцем — части человеческого духа. Не случайно наши предки прозвали студентов

«клерками святого Николая» — тяга к знаниям и склонность к воровству.[86] Ну неужели вы не помните, как три года назад приглашенный лектор, который жил в нашем колледже, пытался прихватить с собой занавески с окон? Он ученый человек, но заразился всеобщим желанием что-нибудь стянуть.

— Послушайте, Ладлоу, я никогда не поверю, что это всеобщее желание.

— Тогда я задам вам другой вопрос: вы никогда в жизни ничего не крали? Впрочем, нет, я беру его назад: в силу своей должности вы по определению честны; декан колледжа не ворует, хотя человек, облаченный в мантию декана, может что-нибудь украсть. Я не буду спрашивать этого человека. Но вот вы, миссис Скелдергейт, вы никогда ничего не крали?

— О, если бы я могла сказать, что нет! — улыбаясь, ответила миссис Скелдергейт. — Но увы. Мелочь, конечно, — книгу из библиотеки колледжа. Я сделала все, чтобы компенсировать украденное, даже более чем компенсировать. Но отрицать я не могу.

---

[86] Примечания и комментарии: 86

…прозвали студентов «клерками святого Николая» — тяга к знаниям и склонность к воровству. — Святой Николай, по преданию, покровитель моряков, купцов и детей, а также бродяг и воров.

— Душа человеческая — неисправимая воровка, — сказал Ладлоу. — И в оливковых рощах Академа, и повсюду. Поэтому можно ожидать, что студенты, прислуга и преподаватели будут по-прежнему воровать книги и другое имущество университета, а доверенные лица — предавать доверившихся. Мир без греха был бы поистине странен — и чертовски негостеприимен для юристов, вот что я вам скажу.

— Вы говорите так, словно верите в дьявола, — сказал декан.

— Дьявол, как и Бог, не входит в компетенцию юристов. Но вот что я вам скажу: я ни разу в жизни не видел Бога, зато дьявола — дважды, оба раза в суде: один раз на скамье подсудимых, а другой — в судейской мантии.

Маквариш и Роберта Бернс уже сцепились, как кошка с собакой, над телом Ламотта, который, судя по всему, не получал удовольствия от их беседы.

— Не стоит говорить с зоологом о любви, если вы подразумеваете секс, — говорила профессор Бернс. — У братьев наших меньших — если их можно считать таковыми — мы видим секс, как он есть. И можно по пальцам пересчитать виды, в которых партнеры проявляют друг к другу хоть

какую-то нежность. Все прочие лишь следуют непреодолимому инстинкту.

— А у людей? — спросил Ламотт. — Неужели вы согласны с этим ужасным Стриндбергом, что любовь — фарс, изобретенный Природой, чтобы обманом заставить людей размножаться?

— Нет, не согласна, — ответила Роберта. — Это вовсе не фарс. Человечество благополучно размножалось задолго до того, как понятие любви вообще появилось, иначе мы бы сейчас тут не сидели. Это можно видеть и среди студентов: одни больны от любви, другие аж бурлят от похоти, некоторые это совмещают.

— Один мой студент хотел иметь бешеный успех у девушек, — встрял Эрки, — и для этого покупал у шарлатана какую-то гадость — что-то вроде супа из бычьих яиц. На самом деле это не помогало, но он думал, что помогает, и, вероятно, это действовало, только не говорите Гилленборгу. В то же время другой мой студент влюбился в балерину, к которой у него не было ни единого шанса даже подойти. Но каждый раз, как она танцевала, он посылал ей орхидею и совершенно разорился. Конечно, оба студента — дураки. Но, Роберта, неужели вы действительно разделяете любовь и старое доброе «туда-сюда-обратно»? Не

слишком ли это радикально?

— Старое доброе «туда-сюда-обратно», как вы изволили выразиться, хорошо на своем месте, но не стоит воспринимать его как мерило любви. А то я вспомню, что я зоолог, и скажу, что с точки зрения статистики величайший любовник в природе — кабан: он извергает восемьдесят пять миллиардов сперматозоидов при каждом совокуплении. Ему уступает даже племенной жеребец с тринадцатью миллиардами. Но человек знает, что такое любовь, а кабан и жеребец, сделав свое дело, даже не взглянут на партнершу.

— Я рад, что не получил естественно-научного образования, — сказал Ламотт. — Я всегда думал и продолжаю думать, что женщина — чудо Природы.

— Разумеется, она — чудо, — согласилась Роберта. — Вы даже не представляете какое. Вы слишком духовны. Посмотрите на красивую девушку — разве она дух? Конечно, у нее есть дух, но помимо этого — куча совершенно роскошных, прямо-таки завораживающих вещей. Да хоть и на меня посмотрите: я, конечно, не собираюсь рекламировать свои увядшие прелести, но вот я сижу, и в ушах у меня вырабатывается сера, в носу застывает слизь, во рту булькает слюна,

слезы всегда наготове. А после еды — вроде того ужина, который мы только что съели, — какие чудеса творятся у меня внутри! Желчный пузырь и поджелудочная железа трудятся вовсю, фекалии деловито слипаются в комки, почки выполняют свою чудесную работу, моча заполняет мочевой пузырь, а мои сфинктеры — вы даже не представляете, как женский пол должен быть благодарен сфинктерам! А любовь принимает все это как должное, словно жадный ребенок, видящий только глазурь на торте!

— Я вполне обойдусь глазурью, спасибо, — ответил Ламотт. — Мне претит видеть в женщине ходячую мясную лавку.

— Эта глазурь так разнообразна, что ее одну можно изучать всю жизнь, — сказал Маквариш. — К каким только трюкам не прибегают женщины! Знакомый парикмахер рассказывал о просьбах женщин, которые приходят в его салон к маникюрше, она же специалист по излишним волосам. Женщины хотят, чтобы их лобковым волосам придали форму сердечка или стрелки, и терпят любые пытки горячим воском, чтобы получить нужный результат. А потом требуют, чтобы эти волосы покрасили хной! «Там внизу огонь пылает», как поется в матросской песне. Да

уж, запоешь, когда увидишь результат!

— Только зря мучаются, — сказала Роберта. — Ради «туда-сюда-обратно» люди терпят что угодно. Точнее, Природа им в этом любезно помогает. Во время полового сношения острота восприятия сильно снижается: притупляются зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, что бы там ни писали в книгах по технологии секса. Некрасивая партнерша на время становится красивой; кровавые прожилки и красный нос едва заметны, сопение не кажется комичным, зловоние изо рта словно пропадает. И это, Рене, вовсе не любовь: это Природа идет на помощь любви. И еще человек — единственное создание, знающее любовь как сложное чувство; кроме того, человек — единственное во всей природе существо, которое занимается сексом ради развлечения. О, это богатейший предмет для исследования.

— «Люби не так, как любит узник плоти»,[87] — процитировал Ламотт, делая вид, что затыкает уши. — Готов спорить, что никто из вас не знает этого сонета.

Время шло, и скоро я уже должен был пред-

[87] Примечания и комментарии: 87

«Люби не так, как любит узник плоти»… — Джордж Сантаяна (1863–1952), сонет VI. Строка дана в переводе Елены Калявиной.

ложить декану перейти к кофе и коньяку для желающих. Мне пришлось потрудиться, чтобы привлечь внимание декана: он, миссис Скелдергейт и Ладлоу по-прежнему бились насмерть из-за природы университетов.

— Ладлоу говорит, что университет — это город, но я не уверен, что это определение подходит, — говорил декан.

— Безусловно, университет — город молодежи, — сказала миссис Скелдергейт.

— Отнюдь, — возразил декан. — Да, к счастью, в университетах много молодежи, но одна молодежь не могла бы поддерживать их существование. Это город мудрости, а сердце университета — его ученые; университет не может быть лучше, чем они, и это к их огню приходят греться молодые люди. Потому что молодежь приходит и уходит, а мы остаемся. Они — минутная стрелка научных часов, а мы — часовая. Разумные общества всегда собирали своих ученых мужей в разного рода учреждения, где их главной задачей было — быть мудрыми, сохранять плоды мудрости и пополнять их в меру своих сил. Разумеется, в университеты как-то пролезают педанты и беспринципные люди, и нам не дают об этом забыть; и, как правильно заметил Ладлоу, у нас есть свои

негодяи и воры — вот уж действительно «клерки святого Николая». Но мы — хранители и стражи цивилизации, особенно теперь, когда уже нет аристократии, когда-то выполнявшей эту задачу. Город мудрости — с вашего позволения, я бы остановился на этой формулировке.

Но ему не позволили остановиться на этой формулировке, потому что в университетах никто никогда не удовлетворяется чужими определениями. Заговорил Делони:

— Знаете, декан, я думаю, это не просто город: большой университет вроде нашего скорее похож на империю, он состоит из множества когда-то независимых колледжей, еще сохраняющих толику независимости, под эгидой федерации, которая есть сам университет. Ректор университета — император, он председательствует над совокупностью государств, у каждого из которых — свой правитель, а деканы, директора и так далее подобны великим князьям, главам могучих княжеств; здесь и там меж ними встречается

князь-епископ,[88] как глава колледжа Святого Брендана, или митрофорный аббат, как декан «Душка». Все они ревниво охраняют свою власть, но все подчиняются императору. Университеты родились в Средние века и до сих пор сохраняют в себе много от той эпохи: не только в одеяниях и официальной атрибутике, но и глубоко в сердцах.

— Декан, когда вы говорите «ученые мужи», не следует ли добавлять «и жены», чтобы никого не обидеть? — спросила миссис Скелдергейт.

— Как юрисконсульт декана, я могу вас уверить, что ссылки на мужской род во всех формулировках включают в себя женский род, — сказал Ладлоу.

— А также любой другой род, чтобы не дискриминировать никого из университетского сообщества, — добавил декан, не совсем лишенный чувства юмора.

— Господин декан, не желаете ли кофе? — произнес я установленную формулу.

---

[88] Примечания и комментарии: 88

Князь-епископ — епископ, который, помимо осуществления священнических функций, обладал светской властью на определенной территории и являлся сувереном соответствующего территориального образования — церковного княжества. Князья-епископы существовали в Священной Римской империи, Англии (епископ Дарема), Франции, Черногории и в некоторых других странах.

Декан поднялся, все остальные тоже встали, и образовались новые группы — на оставшиеся несколько минут вечера.

Ко мне подошел Артур Корниш:

— У меня не было случая сказать, что я вам чрезвычайно благодарен за сегодняшнее. Конечно, все думают, что я и так получу от дяди Фрэнка огромное наследство, но в большой семье все это происходит очень безлично, а мне хотелось иметь какую-нибудь памятку о дяде. Мы с ним больше похожи, чем может показаться. Он совсем молодым ушел от дел и посвятил себя собирательству предметов искусства; думаю, он специально притворялся еще менее практичным, чем на самом деле, чтобы избежать бремени участия в бизнесе. Знаете, когда он охотился за произведениями искусства, у него была невероятная хватка. В сделках с торговцами антиквариатом он украл бы и дохлую муху у слепого паука. Но ко многим художникам он был добр; так что, я думаю, одно в каком-то смысле компенсирует другое. Но скажите, откуда вы узнали, что меня интересуют музыкальные рукописи?

— Мне рассказал наш общий друг — мисс Феотоки. Как-то после занятия мы разговорились с ней о средневековых методах записи музыки, и

она упомянула о ваших интересах.

— Я помню, что однажды говорил с ней об этом, но не думал, что она слушает.

— Она слушала. Она пересказала мне все ваши слова.

— Это приятно. Наши с ней музыкальные вкусы сильно различаются.

— Она интересуется средневековой музыкой и старается выяснить все, что можно, о более ранней. О ней почти ничего не известно: мы знаем, что Нерон играл на скрипке, но что именно он играл? Иисус с апостолами, воспев, пошли на гору Елеонскую,[89] но что именно они пели? А вдруг, услышав это пение, мы бы ужаснулись тому, как Спаситель гнусаво скрипит и воет? Мы можем восстановить музыку прошлого лишь за последние несколько веков, но музыка очень часто — ключ к человеческим чувствам. Холлиер мог бы этим поинтересоваться.

— Может быть, Мария это делает как раз для него. Она, кажется, им совершенно очарована.

— Я, кажется, слышал имя Марии? — К нам подошел Макварииш. — Это чудесное создание постоянно всплывает в разговорах. Кстати, я на-

---

[89] Примечания и комментарии: 89

…воспев, пошли на гору Елеонскую… — Евангелие от Матфея, 26: 30.

деюсь, что не был сегодня излишне фамильярен с ее образом? Просто с тех самых пор, как я заметил эту Венеру в куче другого имущества вашего дядюшки, я был одержим ее сходством с Марией, а теперь, когда я забрал ее домой и рассмотрел в деталях, я в еще большем восторге. Она всегда будет рядом со мной — так невинно завязывая сандалию, словно рядом никого нет. Артур, если вам захочется вспомнить, как она выглядит, я всегда рад видеть вас у себя. Она к вам очень тепло относится, знаете ли.

— Почему вы так думаете? — спросил Артур.

— Потому что я вообще много знаю о ее мыслях. Один мой друг, вы с ним незнакомы, — очень забавный типчик, некто Парлабейн, — с ней близок. Он трудится на Холлиера — называет себя его *фамулюсом,* подумайте, какая прелесть, — и потому все время видит Марию, она работает в комнатах Холлиера. Они постоянно болтают по душам, и Мария рассказывает ему абсолютно все. Ну, не прямо, конечно, но он умеет читать между строк. Разумеется, она обожает Холлиера, но вы ей тоже очень нравитесь. Вас нельзя не любить, дорогой мой мальчик.

Он легонько тронул Артура за рукав, как часто трогал и меня. Эрки обожает хватать людей

руками.

— Только ни в коем случае не подумайте, что я сам стараюсь втереться к ней в симпатию, — продолжал он. — Хотя, конечно, Мария ходит ко мне на лекции и сидит в нервом ряду. И мне это чрезвычайно приятно, потому что студенты в среднем не украшают обстановку, а я не могу устоять перед женщинами, которые украшают. Знаете, я обожаю женщин. Этим я непохож на Рабле, зато очень похож на сэра Томаса Эркхарта.

И он ушел прощаться с деканом.

— Сэра Томаса Эркхарта? — переспросил Артур. — Ах да, это переводчик. Мне, кажется, уже ненавистен сам звук его имени.

— Если вы знакомы с Эрки, вам придется все время слушать про сэра Томаса, — сказал я. И добавил — желчно, я в этом признаюсь, но Эрки меня бесит: — Посмотрите энциклопедические статьи о нем и его биографии, и вы обнаружите: по всеобщему мнению, сэр Томас был самовлюблен до умопомрачения.

Артур ничего не сказал, только подмигнул. Затем тоже пошел прощаться с деканом, а я вспомнил, что, как замдекана, обязан вызвать такси для миссис Скелдергейт. Выполнив долг, я поспешил к себе в надвратные комнаты, чтобы

записать для «Нового Обри» все, что услышал за вечер. «Как они болтали во хмелю».

3

«Новый Обри» начал внушать мне ужас. Он был задуман как портрет университета, нарисованный с натуры, но стал слишком напоминать личный дневник, причем такой, в котором его хозяин исповедуется в постыдных вещах. Слишком мало про других людей; слишком много про Симона Даркура.

Я мало пью, и спиртное не бросается мне в голову, но после гостевого вечера я был сам не свой — и несколько стаканов вина, выпитых в промежутке между шестью и десятью часами вечера, этого не объясняли. Этот день должен был оставить по себе приятное чувство: утром я неплохо поработал, после обеда завершил дела с наследством Корниша, заполучил два первоклассных рисунка Бирбома, которые никогда не публиковались, а следовательно, были совершенно мои — лакомый кусочек для коллекционера: любому из них известна эта страсть к единоличному обладанию. Гостевой вечер прошел удачно, исполнители завещания Корниша хорошо провели время за мой счет. Но я был в меланхолии.

Священник, получивший профессиональную

подготовку, должен уметь разбираться с такими вещами. Я задал себе пару откровенных вопросов, и все стало ясно. Дело в Марии.

Она первоклассная студентка и очаровательная девушка. Ничего необычного. Но она занимала слишком большое место в моих мыслях. Я глядел на нее, слушал ее ответы на занятиях и тревожился из-за того, что знал про нее и Холлиера. То, что он однажды поимел ее на старом диване, было неприятно, но такое случается и не стоит излишнего расстройства, особенно если учесть, что Холлиер явно находился в состоянии притупленного восприятия, так хорошо описанном Робертой Бернс. Но Холлиер думал, что Мария в него влюблена, и это меня тревожило. Что она в нем нашла? Конечно, он выдающийся ученый, но она же не такая дура, чтобы влюбиться в этот внешний атрибут человека, во всех других отношениях совершенно неподходящего. Он красив, если вам нравятся лица с резкими чертами, мрачные, словно их владельцев преследуют призраки или терзает повышенная кислотность желудка. Но если оставить в стороне способности ученого, Холлиер — полный осел.

Нет, Даркур, это несправедливо. Он умеет глубоко чувствовать: посмотри, как он верен этому

безнадежному неудачнику Парлабейну. Чертов Парлабейн! Он разболтал Макваришу про Марию, и, когда Эрки сказал «умеет читать между строк», мне стало совершенно очевидно, что они обсуждали ее и делали какие-то выводы — совершенно несправедливые, как все выводы мерзких характером мужчин относительно женщин.

Артур Корниш ей нравится, подумать только! Нет, «очень нравится» — это Эрки сказал. Очередное преувеличение. Но преувеличение ли? Зачем ей понадобилось упоминать Корниша, когда мы говорили о методах записи средневековой музыки? Что-то насчет коллекции его дяди, но имело ли это отношение к делу? Мне прекрасно известна привычка влюбленных вставлять в любой разговор имя любимого человека — только для того, чтобы лишний раз произнести это волшебное слово, ощутить его во рту.

Твоя проблема, Даркур, в том, что ты позволяешь себе одержимость этой девушкой.

Это вызвало очередную внутреннюю бурю, после чего я попытался применить ряд освоенных мною методов теологической критики для изучения собственного сознания.

Твоя проблема, Даркур, в том, что ты начинаешь влюбляться в Марию Магдалину Феотоки.

Что за имя! Мария Магдалина, женщина с семью бесами; и Феотоки, Божественное материнство Девы Марии. Конечно, у людей бывают самые удивительные имена, но какой контраст! Именно он не давал мне покоя.

О болван! О кретин! О тварь втройне безумная![90]

«До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может сам себя обманывать?» — «Ты — полнеющий священник средних лет…» — *«да, но твоя Церковь разрешает священникам вступать в брак, не забывай об этом…»* — «Заткнись, разве я сказал хоть слово о браке?» — *«…но ты о нем думал, и, кроме того, у тебя ископаемые, мещанские взгляды, для тебя любовь и брак неразрывно связаны…»* — «вернемся к делу. До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может сам себя обманывать? Ты сделал неплохую карьеру, живешь обеспеченной жизнью…» — «…но *одинокой…*» — «кто разгладит подушку, на которую опустится твоя голова в час смерти?» — *«…ты что, всерьез ожидаешь, что эта прекрасная женщина проводит тебя до могилы?»* — «До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может

[90] Примечания и комментарии: 90

«О тварь, втройне безумная!» — Перефразированная цитата из пьесы У. Шекспира «Антоний и Клеопатра», акт IV, сц. 10, пер. М. Донского.

сам себя обманывать? Что ты можешь ей предложить? Поклонение». — *«Подумаешь! Ей будут поклоняться десятки мужчин — молодых, красивых, богатых, как Артур Корниш».* — «Он, должно быть, ее любит: вспомни, как ему неприятны были сегодняшние разговоры Эрки о ней, сначала днем, а потом вечером. Есть ли у тебя хоть один шанс в соперничестве с ним? А с Красавчиком Клемом? Даркур, ты дурак».

Разумеется, я могу любить ее безнадежно. История знает множество таких случаев. Начиная со времен, упомянутых Робертой Бернс, — с тех пор, как наши волосатые предки перестали кусать своих женщин и кидать им кости от своего ужина, съеденного сырым. Человечество понесло еще больший груз безнадежной любви с тех пор, как Идеалист и Бабник стали разными аспектами одного и того же влюбленного человека.

Да, я идеалист, несомненно. У меня есть определенный опыт, но я довольно давно не… и не могу сказать, что мне этого сильно не хватало… Но Мария молода и в расцвете красоты. Одного обожания и остроумных разговоров ей будет недостаточно.

О боже, как я вообще в это вляпался?

4

Однако я вляпался. По уши влюблен в собственную студентку — в такой ситуации преподаватель выглядит либо негодяем, либо дураком. В течение многих недель я делал все, что мог: не разговаривал с Марией вне занятий, чрезвычайно скрупулезно оценивал ее работы, но они были настолько безупречны, что это не составило особой разницы. Я был полон решимости держать свое безумие взаперти.

Но моей решимости был нанесен страшный удар, а в сердце разгорелся могучий огонь, когда после последнего занятия перед Рождеством Мария задержалась и робко сказала:

— Профессор Даркур, вы бы не согласились прийти на ужин к моей матери на следующий день после Рождества? Мы будем очень рады, если вы сможете.

Рады! Рады!! Рады!!!

Второй рай V

1

Парлабейн стал постоянным атрибутом моей жизни, и я приняла это без радости, но философски, если мне будет разрешено использовать такое слово. Я не уверена: в результате более глубокого знакомства с Парлабейном стало ясно, что словом «философия» разбрасываться нельзя. Это была его специальность: он — профессиональный философ, по сравнению с которым большинство людей, обращающих умы к великим вопросам, — лишь путаники с кашей в голове. Но если мне позволят употребить слово «философски» для обозначения мрачной капитуляции перед лицом неизбежного, то я приняла почти ежедневное одно-двухчасовое пребывание Парлабейна в комнатах Холлиера философски.

Вместе с монашеской рясой он отбросил особую манеру держаться — полуподобострастную-полупрезрительную. Он больше не был нищенствующим монахом, втайне презирающим тех, у кого просит милостыню. Но вязанье он по-прежнему носил с собой, в коричневом бумажном пакете из магазина, где, кроме этого, лежало несколько книг и что-то похожее на грязное полотенце.

Вспоминая его слова, я слышу щелканье вязальных спиц, которое их сопровождало. Теперь Парлабейн преподавал философию на вечерних курсах, где люди зарабатывали университетский диплом медленно, по крупицам. Мне страшно думать, чему он их учил, потому что от вещей, которые он говорил мне, у меня иногда стыла кровь в жилах.

— Молли, я отношусь к числу настоящих философов-скептиков, которых очень немного в мире. О да, проповедники скептицизма существуют, но они своей жизнью доказывают, что сами не верят в свои проповеди. Они любят своих родных, жертвуют в фонд борьбы с раком, терпеливо и порой одобрительно слушают всю ту чушь, из которой в основном состоят разговоры о политике, обществе, культуре и прочем, — даже в университете.

Однако подлинный скептик все время живет в атмосфере тщательно поддерживаемого сомнения во всем; для скептика любое утверждение или предположение недостаточно хорошо, чтобы с ним согласиться. Разумеется, если какой-нибудь глупец скажет скептику, что сегодня хорошая погода, тот, скорее всего, кивнет, потому что у него нет времени спорить с дураком о подлинном значении слова «хороший». Но во всех важных

вопросах он воздерживается от суждений.

— Неужели он не признает хотя бы некоторые вещи хорошими, а некоторые — плохими? Желательными или нежелательными?

— Это было бы решение из области этики. Цель скептика в вопросах этического характера — разоблачить всякие претензии; суждения такого типа, про которые вы говорите, претенциозны, ибо непременно основаны на какой-либо метафизике. Метафизика же — это попросту болтовня, хотя, надо признать, часто увлекательная. Скептицизм стремится помочь метафизическим суждениям уничтожить самих себя — повеситься на собственных подтяжках, так сказать.

— Но тогда у вас вообще ничего не остается!

— Не совсем так. Остается осторожное согласие с тем фактом, что противоположность любого общего утверждения можно доказать с тем же основанием, как и само это утверждение.

— Я не верю, что вы это всерьез! Месяца не прошло, как вы разгуливали в рясе. Значит, у вас не было никакой веры? Все это один циничный маскарад?

— Ни в коем случае. Вы делаете вульгарное предположение о связи скептицизма с цинизмом. Цинизм — дешевка, циники обычно — ворчли-

во-сентиментальные люди. Христианство, да, пожалуй, и любая вера, достойная уважения в интеллектуальном плане, приемлема для скептика, поскольку он сомневается в способности чисто человеческого разума что-либо объяснить или оправдать; но христианство учит, что именно с грехопадением человека в мир пришло сомнение. За этим миром неуверенности и скорби лежит истина, и вера указывает путь к ней, поскольку она основана на существовании чего-то, что превыше человеческого познания и опыта. Скептицизм — от мира сего, дорогая моя, а вот Бог — не от мира сего.

— О боже!

— Вот именно. Таким образом, моя вера не мешала и не мешает мне быть скептиком по отношению ко всему, что находится в сем мире. Без Бога скептик повисает в вакууме, и его сомнение — его победный венец — одновременно является его трагедией. Трагедия человека без Бога так ужасна, что я не могу думать о ней дольше минуты или двух зараз. Падение человека было столь огромным несчастьем, что большинство людей просто не способно его вынести.

— Ни в чем нет уверенности, кроме Бога?

— Семь слов. В семистах тысячах, может быть,

мне удалось бы изложить эту идею убедительнее, чем ваша резолюция в стиле «Ридерс дайджест».

— Можете не беспокоиться. Меня вы не убедили.

— Дражайшая Молли, я не могу назвать себя вашим старым другом, но все же, надеюсь, я ваш друг, так что рискну быть откровенным: я не пытаюсь вас ни в чем убедить. Поскольку ваш ум находится на той стадии развития, на которой находится, и ваш возраст и состояние здоровья таковы, каковы они есть, а ваш пол — фактор, который сейчас модно не брать в расчет в интеллектуальных дискуссиях, крайне маловероятно, что я смогу вас убедить в правдоподобии выводов, к которым я сам шел более тридцати лет и пришел ценой больших душевных страданий. Я не собираюсь обращать вас в скептицизм. Но этот университет платит мне — довольно скудно — за высказывание утверждений, которые я считаю истинными, перед лицом разнообразных студентов. Именно это я и делаю.

— Но если это их сломает? Нет истины, нет уверенности ни в чем.

— Значит, это их сломает. Они будут в нехудшем положении, чем миллионы других людей, сломленных другими средствами, гораздо ме-

нее элегантными, чем мои курсы философии. Разумеется, я говорю им то же, что сказал вам: если человеческий разум отказывается признать свое подчинение чему бы то ни было, кроме самого себя, то жизнь становится трагедией. Бог — фактор, изгоняющий эту трагедию. Но очень часто мои студенты обращаются к философии, чтобы изгнать Бога — обычно какого-нибудь мелкого божка, сотворенного их собственными родителями. Как у многих людей, лезущих в интеллектуалы, у моих студентов — тривиальные умы; они обожают трагедию и сложность.

Это был один из Парлабейнов. Я знала еще как минимум одного, не считая того Парлабейна, который пожирал спагетти, хлестал дешевое вино и вел похабные разговоры в «Обжорке», и того, который почти еженедельно брал у меня взаймы. Этот Парлабейн отнюдь не был философом-скептиком.

— Молли, вы не можете требовать, чтобы я постоянно обитал на головокружительных интеллектуальных высотах. Вот тогда я точно был бы последним шарлатаном. К тому же многие философы, которые увлекались этим, плохо кончили. Взять хотя бы высокоумного романтика Ницше. Он постоянно держал себя на цепи.

Разумеется, он тайно верил в свою чепуху, в то время как я, скептик, предан неверию ни во что, в том числе в свои самые заветные философские концепции. Ницше однажды сказал, что боги не могут существовать, потому что, если бы они существовали и он не был бы одним из них, он бы этого не вынес. Это все равно что сказать «никакая картина мира не может быть истинной, если в ней Фридрих Ницше не сидит на дереве выше всех». Я не таков: я признаю, что дерево состоит не из одной вершины; помимо кроны, у него есть еще и корень. Точнее, это предположение, которым я пользуюсь для практических целей, поскольку никогда не видел деревьев без корней и не слышал о существовании таковых.

Я много думал о деревьях. Они мне нравятся. Они красноречиво говорят о сбалансированном сомнении, которое, как я уже сказал, представляет собой отношение скептика к миру. Не может быть роскошной кроны без сильного корня, который трудится в темноте, вытягивая питание из почвы среди камней, подземных вод и мелких, буравящих почву тварей. Таков и человек: его великолепие, его плоды должны быть на виду, должны приносить ему любовь и восхищение. А что же корень?

Вы когда-нибудь видели, как бульдозер расчищает участок земли? Бульдозер наезжает на большое дерево и толкает, толкает его неумолимо, пока не вывернет, не повалит; дерево кричит и стонет, когда огромные корни выдираются из земли. На такую смерть особенно тяжело смотреть. А когда дерево наконец падает, оказывается, что его корневая система по размерам не уступает кроне.

А что служит корнем человеку? Все, что питает его видимую часть, но самый глубокий корень, стержневой, — это ребенок, которым человек когда-то был: об этом я говорил, когда развлекал вас историей своей жизни. Этот корень уходит глубже всего, потому что тянется вниз, к предкам.

Предки — как торжественно звучит! Но корень тянется не к надутым лордам в париках на старинных портретах, так гордо выставляемых потомками; он идет в наши незримые глубины, то есть к жизненной грязи, которая питает все подлинное творчество и все достижения. Корни гораздо больше похожи на огромную плаценту, чем на генеалогические деревья, которые, кажется, состоят из одних ветвей.

— Вы говорите совсем как Озия Фроутс.

— Из-Дерьма-Конфетку? Вы его знаете? Можете

нас познакомить?

— И не подумаю, если будете его так обзывать. Я считаю, что он — Парацельсов маг; он видит гораздо более широкую картину, чем любой другой человек, за исключением разве что профессора Холлиера. Истина лежит в скрытом и непризнанном.

— Да, в дерьме. Но что именно, по его мнению, там скрыто?

— Он не говорит, и я, скорее всего, не пойму его терминов, даже если он скажет. Но мне кажется, что это своего рода личная печать, и, может быть, она сильно меняется в зависимости от состояния умственного и физического здоровья; это будет новая мера… я не знаю чего, но чего-то вроде личности или индивидуальности. Мне не следует строить догадок.

— Я знаю, это не ваша область.

— Но если он прав, это область каждого человека, потому что открытие Озии Фроутса пойдет на благо каждого.

— Ну что ж, удачи ему. Но я, как скептик, сомневаюсь в науке — точно так же как и во всем остальном, за исключением случаев, когда сам ученый — скептик, а таких немного. Вонь формальдегида не хуже аромата ладана стимулирует

идолопоклонничество, присущее человеку от природы.

Я начала осознавать, что Парлабейн не просто капитальная помеха в моей жизни, а нечто более важное. Он создавал собственную атмосферу, и стоило ему посидеть пять минут на старом диване Холлиера, как эта атмосфера начинала распространяться по всей комнате. Глупо было бы называть ее гипнотической, но она определенно сковывала. Она заставляла меня соглашаться с Парлабейном в его присутствии, но сразу после его ухода осознавать, что я согласилась с очень многим, чего на самом деле не думаю. Все дело было в его двойственности: когда он был философом, он побеждал, потому что мог переспорить меня в два счета; а когда он становился человеком, говорящим о корнях древа личности, то был настолько возмутителен и хитроумен, что я не могла за ним угнаться.

Его «внешний человек» тем временем опускался все ниже. Монахом он смотрелся странно в канадском контексте — даже в «Душке», — но сейчас стал выглядеть как зловещий бомж. Подаренный неизвестным благодетелем костюм был из хорошего серого английского сукна, но и с самого начала плохо сидел, а теперь превратился

в мешковатое рубище, покрытое пятнами от еды. Брюки были слишком длинны — Парлабейну, видимо, надоело укрощать их с помощью подтяжек, и теперь он подпоясывался чем-то вроде старого галстука; края штанин, грязные и обтерханные, волочились по земле. Рубашка была постоянно грязна, и мне пришло в голову, что, может быть, с точки зрения развитого скептицизма обыкновенная чистоплотность кажется безумием. От него разило: не просто нестираной одеждой, а смрадом живой плоти. С приходом зимы Холлиер подарил ему собственное пальто, уже очень сильно поношенное; я звала его «звериным», потому что его манжеты и воротник были отделаны каким-то мехом, уже свалявшимся и облезлым; к пальто прилагалась меховая шапка, которая была Парлабейну велика и походила на замызганный парик. Из-под шапки на воротник свисали давно не стриженные волосы.

Безусловно, бомж, но не имеющий ничего общего с теми бомжами, которые шатались по университету, надеясь выпросить доллар у сердобольного профессора. То были конченые люди, у которых в глазах не светился разум, — на лицах отражались только растерянность и отчаяние. У Парлабейна вид был почему-то значительный:

покрытое шрамами, словно размытое, лицо впечатляло, а за толстыми стеклами очков плавали глаза, пригвождающие взглядом к месту.

Ко мне он относился примерно так, как предсказал Холлиер. Он не мог оставить меня в покое. Он явно думал, что я — безмозглая баба, желающая развлечения ради получить научную степень (не думайте, что в этом есть какое-то противоречие: безмозглые люди вполне способны защитить диссертацию). Но, несмотря на это, он явно хотел быть рядом со мной, разговаривать со мной, сбивать меня с толку своим интеллектуальным блеском. Это не было мне в новинку: в университетах вечно говорят о «преследовании женщин», или «харассменте», или называют это как-нибудь по-другому, согласно моде. Но гораздо чаще тебя лапают и задирают юбку в интеллектуальном смысле, причем люди, которые это делают, не подозревают, что их действия хоть как-то связаны с сексом. Парлабейн был не таков: его интеллектуальное соблазнение было грандиознее масштабом и гораздо интереснее, чем у среднего сотрудника университета. Конечно, он мне не нравился, но играть с ним было весело — на этом уровне. Сексуальные восторги не всегда телесны, и хотя Парлабейн вряд ли соблазнил бы меня

— даже в интеллектуальной плоскости, — ясно было, что этой продолжительной щекоткой он хотел в конце концов довести меня до умственного оргазма.

Конец ноября в Канаде может быть довольно романтичной порой. Голые деревья, морозный воздух, кружащийся ветер, зловещий свет, который иногда царит весь день, а около четырех пополудни тонет в стальной тьме. Все это навевает готичные настроения. В «Душке», столь готичном по архитектуре, поневоле впадаешь в северные фантазии. Иногда я ловила себя на мысли: уж не работаю ли я, будучи в таком расположении духа, на самого доктора Фауста, ибо Холлиер обладал Фаустовой неотступностью и во многом — его внешностью пытливого ученого. Но нет Фауста без Мефистофеля, и вот он — Парлабейн, такой же острый на язык, такой же забавный и иногда такой же страшный, как сам дьявол. Конечно, в пьесе Гёте дьявол носит элегантный костюм странствующего школяра. Парлабейн был внешне полной противоположностью, но по своей власти надо мной в любом разговоре, по своей способности при любых обстоятельствах убедить, что худшее — это лучшее, он, несомненно, годился в Мефистофели.

Я презираю женщин, которые ни разу в жизни не пожелали вступить в союз с дьяволом. Я не какая-нибудь деревенская дурочка вроде Гретхен, которую дьявол дал Фаусту в игрушки: я сама себе хозяйка, и, даже если получу то, чего желаю, и Холлиер объяснится мне в любви и предложит стать его женой или любовницей, я не собираюсь полностью в нем растворяться. Я знаю, это смелые слова, ибо лучших, чем я, женщин полностью поглотила любовь, но я надеюсь сохранить часть себя — пускай лишь как еще один дар возлюбленному. В любви я не хочу играть в старую игру — подчинение — и точно так же не терплю современной игры «может-да-может-нет-в-любом-случае-берегись»: дочь Тадеуша, наполовину цыганка, не опустится до подобного жалкого и тухлого жульничества. Парлабейн пытался соблазнить меня интеллектуально: повалить на спину, а потом оставить — растрепанной, задыхающейся; и все это — исключительно словами. Я решила посмотреть, не удастся ли мне сбить его с ног.

— Брат Джон, — сказала я как-то раз ноябрьским вечером, когда внешняя комната Холлиера начала погружаться в полумрак, — я налью вам чашку чаю и задам вопрос. Вы рассказывали мне

о мире философского скептицизма и о Боге как единственной возможности бегства из мира, проклятого трагической двойственностью. Но я постоянно работаю с трудами людей, которые думали по-другому, и нахожу их весьма убедительными. Я имею в виду Корнелия Агриппу, Парацельса и моего милого Франсуа Рабле.

— Желчные лютеране, все до единого, — парировал он.

— Возможно, еретики, но не лютеране. Разве могли такие высокие души согласиться с человеком, считавшим общество тюрьмой, полной грешников, в которой следует поддерживать порядок силой? Видите, я и о Лютере кое-что знаю. Но не пытайтесь отвлечь меня на Лютера. Я хочу говорить о Рабле, а он сказал, что свободное человеческое существо ищет кодекс поведения в собственном чувстве чести…

— Минуточку, он не говорил «свободное человеческое существо». Он писал о мужчинах: «Men that are free, well born, well-bred, and conversant in honest companies».

— Нечего цитировать по-английски; я знаю этот текст и по-французски: «Gens libres, bien nes, bien instruits, conversant en compagnies honngtes», и хотела бы я посмотреть, как вы будете дока-

зывать, что «gens» означает только мужчин.[91] Это значит «люди». Вы, как и многие, решили, что Рабле — женоненавистник, потому что читали только этот дурацкий перевод сэра Томаса Эркхарта…

— По правде сказать, я его недавно перечитывал, Эрки Маквариш мне его одолжил…

— Я дам вам его на французском, и вы обнаружите: намечая план идеального сообщества — которое почти что можно назвать университетом, — Рабле включает в него и женщин.

— В качестве развлечения, полагаю.

— Не полагайте. Читайте. Только по-французски.

— Молли, вы становитесь ужасным дятлом от науки.

— Грубостью вы меня с толку не собьете. А теперь отвечайте на мой вопрос: является ли чувство чести достаточным в качестве кодекса поведения?

— Нет.

— Почему нет?

---

[91] Примечания и комментарии: 91

«Людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе…» (пер. Н. М. Любимова). Французское слово «gens» означает «люди». Английское «men» может означать как «люди», так и «мужчины».

— Потому что оно не может быть больше своего носителя — или носительницы, если уж вы намерены придираться. А понятия чести у дурака, малодушного человека, тупой деревенщины, крайнего консерватора и убежденного демократа капитально различаются. Причем любой из них, если обстоятельства сложатся нужным образом, пошлет вас на костер, перестанет выплачивать вам зарплату или просто выпихнет на улицу замерзать. Честь — это вопрос личных ограничений. Бог — нет.

— Ну, я лучше буду Франсуа Рабле, чем одним из ваших замороженных скептиков, которые хватаются за Бога, как за спасательный круг в полярном море.

— На здоровье, будьте кем хотите. Вы романтик; Рабле был романтиком. Его чепуха подходит к вашей. Если лживая идея чести как единственного и достаточного руководства в вопросах поведения вас устраивает — то и хорошо! Вы закончите свои дни в одной лиге с идиотами-англичанами, строящими свою жизнь в соответствии с тем, что является и что не является этикетом.

— Слушайте, это казуистика и попытка задавить собеседника авторитетом. Разве то, как человек жил, ничего не значит? Разве по его

судьбе не видно, чего на самом деле стоят его убеждения? Наверное, вы предпочли бы прожить свою жизнь благородно, как Рабле, а не торчать в морозильнике скептицизма, гадая, когда наконец Господь откроет дверцу и разморозит вас?

— Это Рабле-то жил благородно? То-то он всю жизнь провел в бегах, прячась от людей, которые умели мыслить точней его.

— Он был великим писателем, щедрым и плодовитым, человеком широкого и гостеприимного ума.

— Романтизм. Чистый романтизм. Вы предъявляете критические мнения, как будто это факты.

— Ну хорошо, считайте, что в научной игре вы меня побили. Но не переубедили, поэтому в настоящей игре я не признаю себя побежденной.

— В настоящей?

— Да. Посмотрите на себя и на меня. Я счастлива тем, что делаю, а от вас ни разу не слыхала ничего приятного или одобрительного о том, что когда-либо сделали вы, кроме единственной любовной интрижки, которая плохо кончилась. Так кто из нас победитель?

— Молли, вы дура, красивая дура. И несете чепуху таким нежным голоском и с таким очаровательным намеком на иностранный акцент,

что юный гетеросексуал вроде Артура Корниша может принять вас за настоящую, чистой воды Аспазию.

— Такова я и есть или, во всяком случае, могу таковой стать. Вы все время говорите, что я женщина, а сами понятия не имеете, что это такое. У вас — мужской ум, и, надо полагать, неплохой, несмотря на то что он ничего не родит; у меня — женский ум; где ваш наслаждается тонкими различиями, там всё — одним цветом, а мой различает оттенки, которые посрамили бы и радугу. Мне не побить вас в вашей игре, но вы и отдаленного представления не имеете о моей.

— Красиво сказано. Предполагаю, что ваша нынешняя игра — романтизм. О, я говорю это не в оскорбительном смысле, но имея в виду игру фантазий, аллюзий…

— Продолжайте же: иллюзий. Но это лишь в том случае, если я позволю вам определять правила игры.

— Позвольте мне закончить. Я сказал вам, что крона моего дерева — скептицизм, не оставляющий нетронутым ничего, кроме благоговейного удивления перед Богом. Но у меня есть и корень, питающий крону, и, как обычно, он — ее полная противоположность, крона вверх ногами: не на

свету, а во тьме, не тянется вверх, а трудолюбиво копает вглубь. Мой корень, Молли, в романтике — и в царстве романтизма мы с вами можем встретиться и отлично позабавиться вдвоем. Как вы думаете, зачем я пишу роман? Скептики их не пишут.

— Ну, брат Джон, по тому, что я о вас знаю, я не могу и представить себе, зачем вы его пишете. Вы разговорчивы, но, мне кажется, у вас не очень богатое воображение; вы не трубадур, не бард, не маг и волшебник. Я не знакома ни с одним романистом, но вы мне кажетесь неподходящим кандидатом для такой работы.

— Сама моя жизнь — роман. Мой роман — это моя жизнь, слегка, но не очень тщательно замаскированная. Мне не нужно воображение: у меня есть богатейшие факты. Я пишу о себе, о людях, которые были для меня важны, о своих мыслях и о том, как они изменились. И я вам скажу, что после выхода романа многим из тех, кого я встречал на жизненном пути, придется покраснеть. Я пишу не ради самооправдания, но чтобы засвидетельствовать вехи замечательного духовного приключения, и пускай читатели сами судят. А они, несомненно, будут судить.

— Вы мне дадите его прочитать?

— Когда он выйдет, я, может быть, дам вам экземпляр. Рукопись вы читать не будете. Я позволяю это лишь одному-двум друзьям, чьему литературному вкусу доверяю. Вы поклонница Рабле, а потому не годитесь. Это будет очень серьезная книга.

— Спасибо на добром слове.

— А пока что вы можете оказать неоценимую практическую помощь. Об этом как-то не задумываются, но писательство обходится писателю в круглую сумму, пока книга не закончена. Вы бы не могли изыскать такую возможность и одолжить мне пятьдесят долларов на несколько дней?

— У меня записано, что вы уже должны мне двести шестьдесят пять долларов. Вы аккуратист, брат Джон: всегда занимаете сумму, кратную пяти. Почему вы считаете, что я буду и дальше давать вам взаймы теми же темпами?

— Потому что у вас есть деньги, милое дитя. Гораздо больше, чем у среднего студента.

— Почему вы так думаете?

— Я наблюдателен. Когда у человека есть деньги, это трудно скрыть. Но у вас их много. Может, вам Холлиер дает?

— Убирайтесь!

Но он и не подумал убраться, а я уже знала, что не стоит затевать борцовский поединок с таким мускулистым человеком: даже под этим ужасным костюмом он выглядел необычайно сильным. Он сидел на диване и ухмылялся, а я упрямо занялась работой, пытаясь не обращать на него внимания.

Почему он это сказал? Я уверена, что Холлиер не говорил ему ничего про наше единственное и, как мне теперь казалось, бессмысленное и ничем не оправданное совокупление на этом диване. Нет, конечно, это совершенно не в духе Холлиера, даже принимая во внимание отвратительное пособничество и лояльность мужчин друг к другу в том, что касается женщин.

Я знала, что краснею, — эту склонность мне так и не удалось перебороть. Почему? Видимо, от гнева. Я сидела, что-то писала, перекладывала бумаги и все сильнее чувствовала на себе гипнотический взгляд Парлабейна. Вдруг он запел — очень низким и неожиданно нежным голосом — песню, которую я ненавижу больше всего на свете. Ею дразнили меня девчонки в школе, выведав что-то о моей семье.

Спи, цыганка, спи, голубка,

Сладко-сладко спи,
Пусть тебе расскажет песня
О моей любви.[92]

Это стало последней каплей. Я уронила голову на стол и зарыдала. Как нечестно дерется Парлабейн!

— Мария, что случилось, вам нехорошо? Моя песенка затронула в вас какую-то струну, которой лучше было бы молчать? Ну-ну, миленькая, не надо так плакать. Вы, наверно, недоумеваете — как я узнал? Чистая интуиция, дорогая. Видите ли, у меня очень сильная интуиция. Это часть моего корня, а не кроны. Я могу очень многое выведать, просто глядя, слушая и позволяя своим корням питать крону. Если вы хотите, чтобы я никому не говорил, можете положиться на меня. Но вы же знаете — есть люди, которые вами интересуются, потому что вы так красивы и так желанны для людей, которые желают женщин. Эти люди терзают меня вопросами, пытаясь выведать что-нибудь о вас: они думают, что это знание — первый шаг к обладанию вами. Иногда мне трудно им противостоять.

---

[92] Примечания и комментарии: 92
Перевод Д. Никоновой.

Так что он получил свои пятьдесят долларов. Сунул их во внутренний карман и поднялся. У самой двери он снова заговорил:

— Молли, не думайте, что я подозреваю вас в глупом и низком желании скрыть свою цыганскую кровь. Я для этого слишком проницателен. Я думаю, вы пытаетесь ее подавить, потому что она — противоположность современной женщине, женщине-ученому, созданию плоть от плоти этого века и этой жалкой и тухлой культурки. То есть всему тому, чем вы пытаетесь стать. Вы не пытаетесь ее скрыть, вы пытаетесь выдрать ее с корнем. Знайте, у вас ничего не получится. Мой совет вам, дорогая: позвольте своим корням питать крону.

2

Хорошо Парлабейну советовать мне примириться с моими корнями. Он не мог знать, да его и не волновало, во что эти корни обходились мне дома — в доме, который был вовсе не тайной пещерой чувств и наследственной мудрости, а крысиным гнездом двуличия и жульничества в цыганском стиле. Мамуся как раз готовила Ерко к очередному разбойному набегу на ничего не подозревающий, доверчивый город Нью-Йорк.

У этой парочки был там, как говорится, свой человек — владелец одной из самых уважаемых нью-йоркских фирм, торгующих струнными инструментами. Другое отделение фирмы располагалось в Париже, и с этим отделением издавна вел дела род Лаутаро. Кое-кто из лучших музыкантов мира, играющих на струнных, а также армия музыкантов пониже рангом, но все же значительных: скрипачи первоклассных оркестров, их коллеги — альтисты, виолончелисты, контрабасисты, — все они время от времени нуждались в новом инструменте для себя или ученика, все приходили к этому известному торговцу и свято верили его суждениям.

Я не могу назвать его имя, ибо это означало бы выдать чужую тайну; и я не утверждаю, что этот торговец — жулик. Но запас хороших инструментов в мире не безграничен; лютьеры, работавшие в восемнадцатом и девятнадцатом веках, исчислялись не сотнями; на свете несколько тысяч прекрасных скрипок, но гораздо больше — не уступающих им или почти не уступающих, вышедших из мастерских мамуси с Ерко и им подобных. И вот торговец музыкальными инструментами говорил покупателю: «Если этот Николя Люпо дороговат для запасного инструмента, я могу вам предложить другую скрипку. Это подлинник мирекурской школы, но, поскольку у нас нет полного досье на всех ее прежних владельцев, мы не чувствуем себя вправе просить за нее столько же. Возможно, она хранилась у какого-нибудь богатого любителя. Такая красотка — и за смешные деньги». Покупатель пробовал скрипку, иногда брал ее попользоваться, чтобы привыкнуть, и в конце концов покупал.

Я не буду утверждать, что он получил плохую скрипку или что ни одна ее деталь не была изготовлена в Мирекуре. Но может статься, что завиток — красивый, символичный, не очень важный элемент скрипки — полтора года назад

был выструган Ерко. А может быть, нижнюю деку — или даже верхнюю — любовно сотворила мамуся из прекрасной белой пихты или клена, купленных у производителей пианино. Угловые клоцы — наверняка работа мамуси, сколь бы подлинным ни было все остальное. И все скрипки, альты, виолончели из подвала дома 120 по Уолнат-стрит заново покрывались лаком — слой за слоем лака, состав которого был секретом рода Лаутаро. Лак делался по методам старинных мастеров из смол и окаменелого янтаря — все это стоило кучу денег и добывалось большой хитростью. О нет, мамуся и Ерко не жулики, они не подсовывают дешевый товар задорого; пройдя через *бомари,* скрипка их работы становилась прекрасным инструментом. Ее составляли куски других инструментов, сломанных или поврежденных и потому купленных по дешевке. По необходимости добавлялись новые детали. Эти скрипки — чудо мастерства, но все же не совсем то, чем они кажутся.

Мамуся и Ерко продавали романтику — романтику старины. Скрипичных дел мастера существуют и ныне — в неромантичных местах вроде Чикаго. Они делают прекрасные инструменты, в физическом отношении ничуть не уступающие

работам великих лютьеров прошлого. Этим инструментам не хватает лишь аромата веков. Да, многие скрипачи — циники, а некоторые всего лишь ремесленники, члены профсоюза, в них от художника ровно столько, сколько требуется, чтобы играть в последнем ряду симфонического оркестра в маленьком городке. Но все равно они подвержены очарованию старины. Романтика и старина — вот что продавали мамуся и Ерко, вот за что известный торговец скрипками брал большие деньги, поскольку тоже понимал всю ценность романтичной старины.

Почему меня это трогало? Потому что я пошла в подмастерья — учиться нелегкому ремеслу ученого, а научный мир приходит в ужас от любого намека на фальсификацию и покрывает позором человека, заявляющего, скажем, о существовании шекспировского издания ин-кварто, которое никто, кроме него, не может найти. Если какое-то утверждение невозможно доказать в том или ином разрезе, оно подозрительно и, вероятно, ничего не стоит. Скажете, дешевое пуританство? Нет, но эту позицию невозможно примирить с романтической ложью прекрасных инструментов неясного происхождения, а на самом деле — рожденных в подвале нашего дома.

Для набегов Ерко собирал компанию, которую сам называл струнным квартетом Кодая. Трое других участников — музыканты, попавшие в ту или иную этическую или финансовую передрягу, — были рады бесплатно проехаться в Нью-Йорк в фургончике Ерко с десятком скрипок, которые затем оставались у торговца; Ерко возвращался в Канаду, пересекая границу в другом месте, уже без квартета, но с кучей мусора — сломанных или разобранных инструментов — в кузове машины. Ерко, крупный, меланхоличный, с длинными темными волосами, в глазах таможенников был воплощением музыканта. В порядке приготовлений к поездке мамуся должна была протрезвить Ерко, чтобы он без проблем вел машину и как следует торговался. И еще — внушить ему, что, если он пойдет с этими деньгами в казино, мамуся его из-под земли достанет и он об этом сильно пожалеет. За скрипки платили наличными, и Ерко возвращался из Нью-Йорка с пачками денег за подкладкой мешковатого артистического черного плаща. Мамуся и дядя рассуждали так: Ерко слишком бросается в глаза и выглядит как в высшей степени типичный музыкант, а потому его никто не заподозрит.

Такова была основа их бизнеса. Еще они дела-

ли абсолютно честную работу для нескольких музыкантов высочайшего класса: за нее не так хорошо платили, но Ерко и мамусе, как скрипичных дел мастерам, было лестно, что им поручают такую работу; это поднимало их репутацию среди людей, снабжавших романтикой и надежными скрипками оркестры Северной Америки.

3

У цыган считается неприличным болеть, и в нашем доме это никому не позволялось. Поэтому, схватив довольно сильный грипп, я делала все возможное, чтобы скрыть это от мамуси. Та предположила, что у меня простуда, а о том, чтобы оставаться в постели, то есть на диване в общей гостиной, и подумать было нельзя. Мамуся заставляла меня лечиться единственным методом, который она признавала, — зубками чеснока, засунутыми в нос. От этой гадости мне становилось еще хуже, поэтому я тащилась в университет и укрывалась в комнате Холлиера, где сидела на диване, если Холлиер должен был прийти, а все остальное время — лежала и жалела себя.

А почему бы и нет? Что, у меня не было проблем? Мой дом был неудобным обиталищем, прибежищем двуличия, где мне даже отлежаться по-человечески негде, (*«Дура, ты богата! Сними себе квартиру и повернись к ним спиной».* — «Да, но это заденет чувства матери и дяди, а я люблю их, несмотря на все их ужасные выходки. Бросить их значило бы бросить то, что Тадеуш завещал мне любить».) Чувство к Холлиеру уже начинало

меня утомлять: он ни единым знаком не давал понять, что наша мимолетная близость может повториться или что я ему хоть как-то небезразлична. (*«Ну так подтолкни его. Где твоя женская хитрость? Ты в таком возрасте и живешь в такое время, что тянуть резину в этих вопросах неуместно».* — «Да, но мне стыдно даже подумать о том, чтобы на него вешаться». — *«Дело твое. Не хочешь протянуть руку и взять еду — будешь голодать».* — «Но как это сделать?» — *«„Там в окошке свет зажегся, а в нем девка голяком“!»* — «Хватит! Заткнись! Хватит петь!» — *«Я пою от корня, Мария; а чего ты ждала? Эльфийских колокольчиков?»* — «О боже, это Гретхен, она слушает дьявола в церкви!» — *«Нет, Мария, это твой добрый друг Парлабейн, но ты недостойна такого друга; ты кроткая дурочка».*) Моя научная работа застопорилась. Я ковырялась с Рабле, чьи существующие тексты уже знала очень хорошо, но мне обещали великолепную рукопись, которая привлечет ко мне нужное внимание — вознесет меня ввысь, туда, где мамуся с Ерко уже не смогут меня позорить. Но после единственного разговора в сентябре Холлиер так ни слова и не сказал об этой рукописи. (*«Так спроси его».* — «Я не осмелюсь: он лишь скажет, что сообщит мне,

когда будут какие-либо новости».) Мне было ужасно плохо, у меня была высокая температура, а голову как будто набили масляной ветошью. *(«Прими два аспирина и ляг».)*

Так я и лежала как-то днем в глубоком сне (и наверняка с открытым ртом), когда вернулся Холлиер. Я попыталась вскочить и упала. Он помог мне снова лечь, потрогал мой лоб и посерьезнел. Я уронила несколько слезинок от слабости и объяснила, почему не болею дома.

— Наверное, вы беспокоитесь из-за своей работы, — сказал он. — Вы не знаете, что будете делать дальше, а виноват я. Я думал, у меня раньше будет возможность поговорить с вами о той рукописи, но она, черт бы ее взял, пропала. Нет, клянусь Богом, ее украли, и я знаю кто.

Его рассказ захватил меня. К тому времени как Холлиер поведал мне о наследстве Корниша, о попытках профессора Даркура припереть профессора Макварииша к стенке из-за рукописи, которую тот почти наверняка одалживал, и о совершенно неудовлетворительной позиции Макварииша во всей этой истории, мне сильно полегчало. Я даже смогла встать и заварить для нас чай.

Я никогда не видела Холлиера в таком настрое-

нии. Он все время повторял:

— Я знаю, что она у этого негодяя; он ее прикарманил! Как есть собака на сене. Что он собирается с ней делать, скажите мне, Христа ради!

Я попыталась изобразить голос разума:

— Он занимается Ренессансом — надо думать, хочет написать о ней что-нибудь по своей линии.

— Он занимается совершенно не тем! Что он знает об истории человеческой мысли? Он знает про политику эпохи Ренессанса и какие-то крохи про искусство, но не имеет ни малейших оснований называться историком культуры или идей, а я — имею, и мне нужна эта рукопись!

Какое славное зрелище! Холлиер в гневе, не слушает доводов рассудка! Я видела его в таком возбуждении лишь однажды — когда рассказала ему про *бомари.* Меня не волновало, что он несет чепуху.

— Я знаю, что вы сейчас скажете. Вы скажете, что в конце концов рукопись выйдет на свет, потому что Маквариш о ней напишет, и тогда я смогу потребовать, чтобы он ее предъявил, и обличу всю ту чепуху, которую он написал. Вы скажете, что я должен пойти к Артуру Корнишу и потребовать у него, чтобы он потребовал у Ма-

квариша рукопись. Но юный Корниш ни черта не знает о таких вещах! Нет, нет, мне нужна эта рукопись, пока никто другой не наложил на нее лапы. Я вам уже сказал, у меня не было времени как следует рассмотреть те письма. И беглого взгляда, конечно, хватило, чтобы понять, что они написаны на латыни, но вдобавок к этому много греческого — цитаты, надо полагать, — и несколько слов по-древнееврейски — большие, неуклюжие, неподатливые еврейские буквы так и торчали в тексте. Как вы думаете, что это значит?

Я догадывалась, но решила, что лучше пусть он сам скажет.

— Каббала — вот что это значит! Рабле писал Парацельсу про каббалу. Может быть, он в ней хорошо разбирался; может быть, он ее отвергал, а может, интересовался ею и задавал вопросы. Возможно, он принадлежал к группе людей, которые пытались христианизировать каббалу. Но что бы это ни было, сейчас важнее всего на свете написать об этом! Именно это я намерен сделать: открыть эту подборку писем и опубликовать ее как следует, а не в какой-нибудь недоделанной макваришевской интерпретации.

— А вдруг там нет ничего особенного. То есть

я надеюсь, что там есть что-то интересное, но вдруг?

— Не глупите! В те времена, знаете ли, если один великий ученый писал другому, то уж точно не с целью поболтать о погоде. Это было опасно: письма могли попасть в руки жестоко карающих церковных властей, и имя Рабле снова смешали бы с грязью. Неужели я должен вам напоминать? Протестантизм в то время — все равно что коммунизм в наше, а Рабле был слишком близок к протестантизму и потому находился в постоянной опасности. Но за каббалу его могли и посадить. А если он достаточно далеко зашел, то и казнить! Сжечь на костре! «Ничего особенно интересного»! Мария, вы меня разочаровали! Потому что, знаете ли, в этом деле мне нужна уверенность, что я могу на вас положиться. Когда опубликуют мой комментарий к этим письмам, ваше имя будет стоять рядом с моим, потому что я хочу возложить на вас всю работу по сверке греческих и древнееврейских цитат. Более того, «Стратагемы» полностью ваши — вы будете их переводить и редактировать.

В плане отношений между учеными это была просто фантастическая щедрость. Если он заполучит письма, мне достанется исторический

комментарий. Какая красота!

Тут Холлиер повел себя в высшей степени нехарактерно. Он принялся яростно ругаться и швырнул свою чашку об пол, схватил мою и тоже разбил, потом — заварочный чайник. Потом, снова и снова выкрикивая имя Макварища, схватил деревянный поднос, расколотил о спинку стула и стал топтать ногами осколки фарфора, обломки дерева и заварку. Лицо его потемнело от гнева. Не сказав мне ни единого слова, он выбежал во внутреннюю комнату и захлопнул дверь. Я сидела, сжавшись в комочек, на диване: во-первых, ради безопасности, во-вторых, чтобы удобнее было любоваться гневом Холлиера.

Но он не сказал ни слова о любви. Мне было почти стыдно обращать внимание на такие вещи, когда на карту поставлены грандиозные научные материи. Я все же обратила внимание. Но Холлиер был так зол на Макварища, что больше ничего не замечал.

Тем не менее он продемонстрировал мне свои чувства, показал, что ему не чужды человеческие заботы, хотя бы и о себе самом. Именно в те моменты, когда Холлиер пылал страстью к науке, он становился чем-то большим, нежели рассеянный, отстраненный профессор, он сбрасывал

оболочку, которую всегда показывал миру. Когда я впервые рассказала ему про *бомари,* он сделал нечто необычное; рассказывая мне про рукопись Грифиуса, он оба раза терял самообладание, и на этот раз вышел из себя. Во всех трех случаях он словно становился другим человеком — моложе, физически бодрее; страсть толкала его на действия, чуждые его обычному «я».

Это был корень Холлиера, а не суровая крона ученого профессора. Время от времени до меня доносились его крики. Иногда я разбирала слова вроде: «И этот болван еще хотел, чтобы я пошел к Макваришу и все ему рассказал!» Что рассказал? Какой «этот болван»?

Я собрала все с пола, находясь в состоянии полного счастья. Гнев Холлиера излечил меня от гриппа.

Или почти излечил. Вечером, когда я пришла домой, мамуся сказала:

— У тебя простуда прошла, но ты совсем белая. Я знаю, девочка, что с тобой не так: ты влюблена. В своего профессора. Как он там?

— Лучше не бывает, — ответила я, думая о буре, разыгравшейся сегодня.

— Прекрасный мужчина. Очень красивый. Он уже занимался с тобой любовью?

— Нет. — Я не хотела откровенничать с мамусей.

— Ах эти *гаджё!* Они медлительны, как змеи по осени. Надо полагать, ему нужна светская жизнь. Дли них очень важна светская жизнь. Мы должны показать тебя в выгодном свете. Пригласи его к нам на Рождество.

Мы долго спорили об этом. Я не очень понимала, что подразумевает мамуся под светской жизнью; когда Тадеуш был жив, они с мамусей никогда не принимали гостей: только водили их в рестораны, на концерты или в театр. Великая перемена после смерти Тадеуша положила этому конец: у мамуси не было друзей в деловых и профессиональных кругах *гаджё*-венгров, и она растеряла прежние знакомства. Но стоило мамусе вбить себе что-нибудь в голову, и я уже не могла ее отговорить. Званый ужин занимал все ее мысли, хотя для нее, как цыганки, Рождество никогда не было большим праздником. Я попробовала говорить откровенно:

— Я не позволю тебе пригласить его сюда и водить меня перед всеми, как цыганского пони на продажу. Ты не знаешь обычаев этих людей.

— Так, значит, в моем возрасте я еще и дура? Я буду вести себя бонтонно, как любая дамоч-

ка-*гаджи,* — так гладко, что и вошь соскользнет. Водить тебя? Разве так это делается, *пошрат?* Никогда! Мы все сделаем, как важные дамы в Вене. Пускай он увидит, что не он один тебя хочет.

— Мамуся! Он меня вовсе не хочет!

— Это он так думает. Он сам не знает, чего хочет. Предоставь это мне. Я хочу, чтобы этот человек стал отцом моих внуков, и давно пора уже. Мы заставим его ревновать. Ты должна пригласить еще одного мужчину.

Какого мужчину? Артура Корниша? Мы с Артуром довольно часто куда-нибудь ходили и уже начали становиться добрыми друзьями, но он не делал никаких движений в мою сторону, только раз или два поцеловал на прощание, а это не считается. Артура ни в коем случае нельзя вводить в мамусин мир.

Она в это время думала:

— Чтобы Холлиер начал ревновать, ты должна пригласить кого-нибудь равного ему или чуть выше. Кого-нибудь, у кого получше манеры, кто лучше одевается, у кого больше украшений. Другого профессора! Ты знаешь еще кого-нибудь?

Так и вышло, что я пригласила профессора Даркура к нам на семейный ужин в «день подарков». Когда я набралась храбрости и заговорила об

этом, у него как-то странно изменился цвет лица — розовая волна пошла из-под воротничка вверх, словно бокал наполняли вином. Я испугалась. Может быть, он слышал, что я живу в цыганском доме? Может, он боялся, что ему придется сидеть на полу и есть печеного ежика, по-видимому единственное известное *гаджё* блюдо цыганской кухни. Когда профессор Даркур сказал, что да, он с удовольствием придет, я испытала огромное облегчение. Выходя из аудитории, я с удивлением заметила, что он по-прежнему смотрит на меня и порозовел еще сильнее. Но он очень подойдет. Он ровесник Холлиера, у него прекрасные манеры, он одевается элегантно, несмотря на полноту; конечно, он не носит то, что мамуся сочла бы украшениями, но золотой крестик тонкой работы болтается у него на цепочке от часов, пересекающей, надо полагать, сорок футов литературных кишок, по выражению профессора Фроутса. Да, Симон Даркур — то, что надо.

— Священник? — переспросила мамуся, когда я ей сказала. — Надо предупредить Ерко, чтобы не ругался.

— Ты позаботься, чтоб он был трезвый.

— Положись на меня, — ответила мамуся.

Я восприняла эти слова со всем возможным

оптимизмом, но не без опасений.

4

Предупреждать Ерко, чтобы не ругался, не пришлось. Он вернулся из Нью-Йорка, отяжелев от спрятанных денег, но с легким сердцем, ибо он нашел там бога, которому теперь поклонялся, и этого бога звали Беби Исус. Какой-то приятель повел Ерко в Метрополитен-музей, где в отделе средневекового искусства разыгрывали рождественскую пьесу в честь наступающего праздника. Друг решил, что Ерко понравится средневековая музыка, которую играли на настоящих средневековых альтах и разных других инструментах; один из них напоминал цимбалы, или цыганский дульцимер, которым Ерко владел мастерски. Но прихотливая душа Ерко увлеклась сюжетом — Благовещение, Непорочное зачатие, поклонение пастухов и путешествие волхвов. Вообще цыгане считаются католиками, но душа Ерко, не замутненная ни образованием, ни конвенциональной религией, была широко открыта чуду; в возрасте пятидесяти восьми лет он преобразился новообретенной верой в Чудесного Младенца. Поэтому он приобрел роскошный рождественский вертеп из резного раскрашенного

дерева и, как только вернулся домой, приложил к нему все свои таланты мастерового и резчика по дереву, чтобы довести его великолепие до высшей степени, какую только мог измыслить. И действительно, вертеп вышел роскошный, хотя и несколько пестроватый и вульгарный, в цыганском стиле.

Ерко поставил его в гостиной, где и без того негде было повернуться от лучшей мебели, купленной мамусей и Тадеушем в эпоху, когда они занимали весь дом, но вертеп затмил все. Ерко молился перед ним, а проходя мимо, обязательно отвешивал низкий поклон и бормотал приветствие Беби Исусу. Беби Исус трудами Ерко облачился в красный бархатный наряд, сшитый мамусей и украшенный мелким жемчугом, и увенчался крохотной короной тонкой работы из меди и золота.

Мне был неприятен этот Беби Исус — он шел вразрез с тем, что я привыкла считать необходимой для ученого строгостью ума, не вязался с моим раблезианским презрением к суевериям и моей жаждой… чего? Надо полагать, какой-то канадской конвенциональности, держащей религию строго в отведенном месте, где ее не положено высмеивать, но и руководствоваться

ею тоже не положено. Что скажут наши гости про это необычайное святилище?

Они сочли его великолепным. Они прибыли одновременно, хотя Холлиер пришел пешком, а Даркур приехал на такси. Гости издали положенные (слегка преувеличенные) восклицания радости при виде друг друга, как всегда делают люди на Рождество. Не успела я забрать у Даркура пальто, как он бросился в комнату и встал перед вертепом, погрузившись в восхищенное созерцание.

Я предупредила Ерко, что один из гостей — священник, и Ерко, типично для него, решил, что это Холлиер, так как тот был строже одет.

— Добрый отец, — сказал он, низко поклонившись, — я желаю вам всяческого счастья в день рождения Беби Исуса.

— О… а, да, разумеется, мистер Лаутаро, — сказал Холлиер, сильно растерявшись.

По-моему, в свой первый визит он ни разу не слышал голоса Ерко, а тот говорил будто человек, сидящий в колодце с густой нефтью, — басом, глубоким и маслянистым.

Но тут Ерко увидел сверкающий воротничок Даркура, и я даже испугалась, что сейчас мой дядя по-крестьянски поцелует священнику руку.

С моей точки зрения, такое начало совершенно не годилось для званого вечера.

— Это мой дядя Ерко, — сказала я, вставая между ними.

У Даркура было очень развито социальное чутье, и он сразу понял, что «мистер Лаутаро» прозвучит совершенно неуместно.

— Можно, я буду называть вас Ерко? — спросил он. — А вы меня — Симон. Эта прекрасная композиция — вашей работы? Дорогой Ерко, это нас очень сближает. Это, несомненно, самая прекрасная вещь, какую я видел в нынешнее Рождество.

Он, кажется, говорил искренне. Наверно, я не подозревала, что исследователь-медиевист может питать такую страсть к барокко.

— Дорогой отец Симон, — сказал Ерко и снова поклонился, — вы очень наполняете мое сердце радостью. Это все для Беби Исуса. — Он прослезился, глядя на вертеп. — И это все тоже для Беби Исуса. — Он указал на обеденный стол.

Признаю, это было чудо. Мамуся распаковала сокровища, не видевшие света со дня смерти Тадеуша, и этот стол мог бы фигурировать в мистерии, посвященной семи смертным грехам, как алтарь *Gula*, или Чревоугодия. На скатерти, неровной от кружев, был расставлен полный фарфоровый

сервиз марки «Ройял Краун Дерби», ценимый некоторыми знатоками. Он пестрел красными, синими и золотыми красками — апофеоз цыганского вкуса. Этот сервиз Тадеуш подарил мамусе, когда они собирались принимать гостей дома. Но случай так и не представился. И вот теперь тарелки поменьше стояли на больших сервизных тарелках среди серебряных приборов с самым затейливым рисунком, какой когда-либо выходил из мастерских «Дженсен». В разветвленных канделябрах горел целый лес свечей, и цветы, на покупке которых я настояла, уже начали увядать от жара.

— Не одни *гаджё* могут все делать как следует, — сказала мамуся.

Если Даркур и боялся, что ему подадут запеченного ежа, теперь он мог увериться, что еж будет съеден среди роскоши, какой этот зверек не знал доселе.

Даркур принес великолепный большой рождественский торт и церемонно преподнес его мамусе. Она одобрительно приняла торт: подобные приношения хорошо укладывались в ее центральноевропейские понятия о приеме гостей. Холлиер пришел без подарка, но мне было приятно, что он надел хороший, хоть и неглаже-

ный костюм.

Прелиминариев не было. Мы сразу сели за стол. Я еще раньше заикнулась насчет коктейлей, но мамуся была тверда: ничего подобного не бывало в ресторанах, где она выступала девушкой; Тадеуш же считал коктейли американской причудой, несовместимой с высоким стилем, как его понимали в Польше. Поэтому коктейлей не было. Конечно, Даркура попросили произнести молитву перед едой, и он произнес ее — по-гречески; надо полагать, он счел этот язык наиболее подходящим к сервизу «Ройял Краун Дерби». Мамуся восседала во главе стола, Холлиер — слева от нее, а Даркур — справа; Ерко сидел на другом конце. К моему величайшему возмущению, меня назначили на роль подавальщицы; хоть у меня и был свой стул — рядом с Даркуром, — предполагалось, что я не буду сидеть там подолгу. Я должна была приносить еду из кухни, где гнула спину кухарка-португалка, запросившая двойную плату за работу в праздник и совершенно затюканная мамусиными указаниями и запретами.

— Дочери приличествует служить гостям, — сказала мамуся. — Не забывай улыбаться и потчевать их. Покажи себя с лучшей стороны. Пускай твой профессор увидит, что ты умеешь

держаться в обществе. И надень платье с вырезом поглубже. Мужчины-*гаджё* любят туда заглядывать.

Я знала, что мужчины-*гаджё* любят туда заглядывать. Цыганок это не особенно волнует. У цыган принято закрывать женщинам ноги, а не грудь. Меня никогда не волновало, если мужчины заглядывали мне в вырез блузки, — Парлабейн сказал бы, что это мой корень самоутверждается таким образом. В тот вечер я надела юбки до пят, как и мамуся, но что касается плеч и груди, мы обе были довольно откровенны. Правда, я, в отличие от мамуси, не повязала платок на голову. И не надела почти никаких украшений, если не считать пары цепочек и нескольких колец. Зато мамуся была самым разукрашенным объектом в комнате, за исключением Беби Исуса. Она была увешана золотом — настоящим: в ушах огромные кольца, а на шее монисто из талеров Марии Терезии весом унций тридцать.

— Вы смотрите на мое золото, — сказала она Холлиеру. — Это мое приданое. Я принесла его с собой, когда выходила замуж за отца Марии. Но оно мое. Если бы брак вышел неудачным, я бы не осталась нищей. Но брак был удачный. О, замечательно удачный! Мы, женщины Лаута-

ро, — отличные жены. Наш род этим славится.

Она говорила с выражением, которое я не могу назвать иначе как ухмылкой. Меня это страшно смутило, и я покраснела. Потом рассердилась и покраснела еще сильнее, потому что видела: и Даркур, и Холлиер глядят на меня, а я играю роль стыдливой девы на смотринах. Все как у настоящих цыган.

Будь оно все проклято! Я — современная девушка, живущая в Новом Свете, — разряжена как цыганка и прислуживаю за столом у своей матери только потому, что не смею сказать ей «нет». А может, потому, что мой корень все еще сильнее моей кроны. Пока я молча бесилась, мои корни уверяли, что я выгляжу замечательно, а все потому, что краснею. Ну почему жизнь гораздо сложнее, чем привыкаешь думать, работая над докторской диссертацией!

Блюда подавали по порядку, который мамуся наблюдала в ресторанах времен своего девичества, и я думаю — нет, я уверена, что для наших гостей он стал потрясением. Не вся еда была краденой. В особенности вина — они были куплены, поскольку в наших краях продажа любых спиртных напитков контролируется государством, а украсть что-либо из магазина, управляемого

департаментом контроля над спиртными напитками, трудно даже такой талантливой воровке, как мамуся. Правительство запускает руки во все карманы, а нос — во все стаканы, но за своим карманом следит очень тщательно. Поэтому густое красное вино и токайское, которые мы пили, были куплены за настоящие деньги. Правда, магазин, где их покупали, работал по принципу самообслуживания, так что мамусе удалось стащить бутылку грушевого ликера «Губертус» и пару бутылок «Барака» — абрикосового бренди. Так что у нас был неплохой запас для пяти человек, не считая португалки, которой иногда нужно было подкреплять силы глотком-другим.

Мы начали с супа из омаров: он был украден мамусей в виде консервов и сильно выиграл от добавления хереса и самых густых сливок, какие только удалось купить. Затем настал черед пирога с крольчатиной, действительно превосходного, купленного во французской булочной. Гости ели это необычное блюдо с аппетитом, чему я была рада, так как пирог стоил безумных денег. Возможно, гости не догадывались, что за ним должны были последовать фаршированный карп в чесночном соусе, таком густом, что в нем стояла ложка, и смесь овощей, такая сложная, что

они уже как будто и овощами быть перестали. К тому времени как Даркур отдал всему этому должное, у него на лбу выступила испарина.

Холлиер, к моему смятению, оказался шумным едоком. А шумно есть, когда за столом присутствует Ерко, не так-то просто. Холлиер жевал со смаком — челюсти ходили вверх-вниз, как поршни; он не производил впечатления обжоры, но ел много. Боже, неужели он недоедает в результате одинокой профессорской жизни? Или его мать, живущая неподалеку, загрузила его индейкой и пудингом, как положено на Рождество у канадцев их круга? Но Холлиер по шелдоновскому типу относился к тем, кто может есть очень много и все равно не нарастить мяса на костях.

За карпом последовали шербет, фруктовый лед — не в качестве десерта, завершающего трапезу, а, как выразилась мамуся, чтобы немножко пошутить с нашими желудками, пока мы не перейдем к следующему серьезному блюду. Им оказался настоящий *gulyás-hus*,[93] снова с большим количеством чеснока и в изобилии, поскольку мамуся считала его самым важным блюдом, венцом пира.

---

[93] Примечания и комментарии: 93
Мясной гуляш *(венг.).*

На этом пир, собственно, и закончился, если не считать захерторта и абрикосового флана с кремом на основе бренди. Мамуся приказала каждому из гостей отведать захерторта, потому что он напоминал ей великую эпоху в Вене и придавал оттенок космополитизма ужину, который, как утверждала мамуся, во всем остальном был подлинно венгерским. И конечно, мы все должны были съесть по куску торта, принесенного священником.

Гости съели всё, выпили густое красное вино и благодушно перешли к токайскому.

Все это время за столом велась оживленная беседа, которая еще больше оживилась ближе к концу. Я была занята — таскала блюда на кухню и с кухни на стол, а также командовала португалкой, которую я, кажется, слишком сильно подкрепила алкоголем. На вздохи и стоны кухарки можно было не обращать внимания, но ближе к концу вечера она принялась бодро беседовать сама с собой, а время от времени открывала дверь и с пьяной серьезностью наблюдала, как идут дела.

Мамуся полностью вжилась в роль высокородной хозяйки дома, как она понимала эту роль, и решила поговорить с гостями об университете

и о том, чем они там занимаются. С Даркуром ей было все понятно: он сам священник и учит священников. Он попытался объяснить, что он, строго говоря, не совсем священник в том смысле, в каком это слово знали мамуся и Ерко.

— Видите ли, я англиканин, — сказал он, — и поэтому, хотя я, конечно, священник, я могу назвать себя священником в пиквиковском смысле. Если вы понимаете, о чем я.

Они не поняли, о чем он.

— Но вы любите Беби Исуса? — спросил Ерко.

— О да, безо всякого сомнения. Могу вас уверить: не меньше, чем наши братья в Риме. Или, если на то пошло, наши братья в Православной церкви.

Холлиер еще в свой первый визит объяснил мамусе, чем занимается. Теперь он продолжил объяснения, не упоминая, что считает мамусю культурной окаменелостью и обладательницей дикой души.

— Я смотрю в прошлое, — сказал он.

— О, и я тоже! — воскликнула мамуся. — Все мы, женщины рома, умеем смотреть в прошлое. А вам от этого бывает больно? Иногда, после того как я посмотрю в прошлое, у меня бывает ужасная боль в женских частях, надеюсь, вы меня извините за

такие слова. Но мы тут все взрослые люди. Кроме моей дочери. Мария, поди на кухню, посмотри, что там делает Роза. Скажи ей, если она надколет хоть одну из этих тарелок, я ей сердце вырежу. Да, дорогой Холлиер, так, значит, вы учите смотреть в прошлое. Вы и мою дочь этому учите, а?

— Мария исследует жизнь одного замечательного человека, жившего в прошлом, некоего Франсуа Рабле. Я думаю, его можно назвать великим юмористом.

— Что это такое?

— Он был великим мудрецом, но мудрость свою выражал в необузданных шутках и фантазиях.

— Шутках? Это вроде загадок?

— Да, я думаю, шутки можно считать загадками, потому что в них говорится одно, а подразумевается другое.

— Я знаю хорошие загадки, — сказал Ерко. — Но все больше такие, каких нельзя рассказывать при Беби Исусе. А вот эту сможете разгадать? Слушайте хорошенько. Что за большой хохочущий парень входит к королеве в спальню — даже к английской королеве, да-да — без стука?

Воцарилось неловкое молчание, какое всегда бывает, когда загадали загадку: слушатели делают вид, что пытаются ее разгадать, но на самом

деле только ждут, чтобы им сообщили ответ.

— Не можете угадать? Большой, горячий, смеющийся парень, он может даже побыть у королевы на постели и заглянуть сквозь ее пеньюар. А? Не знаете такого? Знаете-знаете. Солнце, вот это кто! А, поп Симон, вы думали, я хотел сказать грязно, да?

И Ерко расхохотался, показывая весь рот изнутри аж до язычка, — такое наслаждение доставила ему эта шутка.

— Я знаю загадку гораздо лучше, — сказала мамуся. — Слушайте меня внимательно, иначе никогда не отгадаете. Это вещь, вы поняли? И эту вещь сделал человек и продал ее другому человеку, которому она была не нужна, а тот, кто ею пользовался, не знал, что он ею пользуется. Что это такое? Думайте хорошенько.

Они подумали хорошенько — во всяком случае, сделали вид, что думают. Мамуся для большего эффекта хлопнула по столу и сказала:

— Гроб! Хорошая загадка для священника, а?

— Мадам, обязательно загадайте мне еще цыганских загадок, — сказал Холлиер. — Для меня такие вещи все равно что восхитительный долгий взгляд в далекое прошлое. А все, что можно восстановить из прошлого, проливает свет на

настоящее и ведет нас к будущему.

— О, мы можем рассказать секреты, — сказал Ерко. — У цыган куча секретов. Потому цыгане могут так много всего. Послушайте, я открою вам цыганский секрет, за него кто угодно заплатит тысячу долларов. Смотрите, ваш пес ввязался в драку. Каждый пес хочет убивать другой пес, гав-гав! Р-р-р-р! — вы не можете оттащить свой пес. Пинать его! Тянуть за хвост! Не годится! Он хочет убивать. Так что вам делать? Хорошо облизать длинный палец — хорошо, чтоб был мокрый, — и подбегать и вставлять его пес в задницу — все равно какой пес, ваш или чужой. Вставлять в самую глубину. И пошевелить хорошенько. Пес удивлен! Он думает: что такое? Он отпускать, и вы его пинать, чтобы не было больше драка. — У вас хороший пес?

— У моей матери есть очень старый пекинес, — сказал Холлиер.

— Вот вы это сделать следующий раз, как он драться. Показать ему, кто хозяин. У вас есть конь?

Но оба профессора оказались безлошадными.

— Жалко. Я мог бы вам рассказать, как сделать любой конь навсегда ваш. Все равно расскажу. Пошептать ему в нос. Что шептать? Ваше тайное

имя, которое знает только ваша мать и вы. Прямо ему в нос, в обе дырки носа. Ваш навсегда. Если это сделать, он оставит любой человек, с кем живет, и пойдет за вами. Плюньте мне в лицо, если я вру.

— Видите, моя дочь ходит с непокрытой головой, — сказала мамуся Даркуру. — Вы знаете, что это значит? Она не замужем и даже еще не сговорена, хотя у нее прекрасное приданое. И она хорошая девушка. Никто ее и пальцем не тронул. У цыганских девушек на этот счет очень строго. Никакого баловства, совсем не так, как у бесстыжих девиц-*гаджи.* Что я про них слышала! Вы не поверите! Не лучше *путани.* Мария вовсе не такая.

— Я уверен, она не замужем только потому, что сама не хочет, — сказал Даркур. — Она такая красавица!

— Ага, вам нравятся женщины, хотя вы священник. Хотя да, ваши священники могут жениться, как православные.

— Не совсем как православные. У них, если священник женится, ему никогда не стать епископом. Наши епископы обычно женатые люди.

— Это гораздо, гораздо лучше! Меньше сплетен. Вы знаете, что я имею в виду. — Мамуся помор-

щилась. — Мальччшшики!

— Ну да, я полагаю, да. Но епископам так надоедают чужие скандалы, что они, наверное, не стали бы заниматься такими делами, даже если бы не были женаты.

— А вы, отец Симон, станете епископом?

— О, это очень маловероятно.

— Вы не знаете. У вас очень подходящий вид. Епископ должен быть видным мужчиной, с красивым голосом. А вы не хотите узнать?

— А вы можете сказать? — спросил Холлиер.

— О, ему неинтересно. И я не могу узнать, это не делается на полный желудок.

Хитрая мамуся! Она долго — но не слишком долго — сопротивлялась, и в конце концов Холлиер уговорил ее заглянуть в будущее. Бутылка с абрикосовым бренди ходила вокруг стола, Холлиер говорил все убедительней, мамуся держалась все кокетливей, а Даркуру, несмотря на его протесты, явно хотелось узнать будущее.

— Ерко, принеси карты, — сказала мамуся.

Карты лежали на шкафу, поскольку ничто в комнате не должно было располагаться выше их. Ерко почтительно снял их со шкафа:

— Может, прикрыть Беби Исуса?

— Беби Исус тебе что, попугай, чтобы накрывать

его тряпкой? Все, что я могу увидеть в будущем, он и так давно уже знает.

— Сестра, я придумал! Ты погадаешь, а мы скажем Беби Исусу, что это подарок ему на день рождения, и так все будет хорошо, видишь?

— Это мысль, вдохновленная свыше, — сказал Даркур. — Прекрасный талант как приношение Богу. Мне это никогда не приходило в голову.

— Все должны принести подарок Беби Исусу, — сказал Ерко. — Даже цари. Видите, вот цари, я сам делал короны. Вы знаете, что они приносят?

— Первый принес золота, — сказал Даркур, поворачиваясь к вертепу.

— Да, золота; и вы должны дать моей сестре денег, немного — может, четвертак, а то карты лягут неправильно. Но золото — это еще не все. Другие цари принесли смирного лада.

Даркур сначала вздрогнул, а потом пришел в восторг:

— Это очень хорошо, Ерко; вы это сами придумали?

— Нет, это есть в истории. Я видел ее в Нью-Йорке. Цари сказали: «Мы принесли золота и смирного лада».

— *Sancta simplicitas,* — произнес Даркур, встречаясь со мной взглядом. — Если бы только в

посланию, которое Он нам оставил, было больше смирного лада! В мире, который мы построили сами, его страшно не хватает. Ах, Ерко, до чего же вы хороший человек.

То ли дело было в абрикосовом бренди, то ли комната и вправду наполнилась золотым светом? Свечи догорали, и все тарелки были давно унесены на кухню, кроме блюд с шоколадом, нугой и вареньем. Эти заедки должны были, по выражению мамуси, запечатать наши желудки и кишки — не важно, какой длины, — намекнув, что сегодня им больше ничего не перепадет.

Мамуся открыла изящную черепаховую шкатулку, где хранились карты. Колода Таро[94] исключительно красива, а карты мамуси были прекрасной работы, более чем вековой давности.

— Я не смогу гадать по целой колоде, — сказала она. — Только не после такого ужина. Буду гадать по пяти картам.

Она быстро разделила колоду на пять кучек: Жезлы, Чаши, Мечи и Монеты легли по четырем углам, а в центре — колода из двадцати двух

---

[94] Примечания и комментарии: 94

Таро — система символов, колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, в XIV–XVI веках, в наши дни используется преимущественно для гадания. Переводчик благодарит Анну Блейз и Галину Бедненко за консультации по вопросам, связанным с Таро.

высших арканов.

— Теперь мы должны быть очень серьезны, — сказала она, и Даркур убрал с лица учтивую улыбку. — Деньги, пожалуйста.

Он дал ей монетку в двадцать пять центов. Мамуся закрыла лицо руками и посидела так с полминуты.

— Теперь перетасуйте каждую кучку, вытащите из каждой по одной карте и разложите их, как я. Из середины берите в последнюю очередь.

Даркур повиновался, и, когда он выбрал, на столе оказались пять карт. Мамуся истолковала их следующим образом:

— Ваша первая карта, которая задает тон для всего остального, — это Королева Жезлов: темноволосая, красивая, серьезная женщина, которая очень сильно занимает ваши мысли… Но дальше идет Двойка Кубков, и она стоит на месте противодействия; это значит, что в вашей любви с темноволосой женщиной один из вас будет чинить препятствия. Но об этом рано беспокоиться, пока мы не прочитали все остальное… Ага, вот Туз Мечей, это значит, что у вас будет беспокойное время и вы лишитесь сна… И последняя из внешних четырех — Пятерка Монет, это значит, что вас ждет утрата, но она будет гораздо меньше, чем

большое богатство, которое идет к вам навстречу. Но все эти четыре карты находятся под властью пятой, которая в середине; это ваш козырь, и он влияет на все, что предсказали другие карты. Ага, у вас Колесница! Это очень хорошо; это значит, что все остальное находится под покровительством Солнца, и, что бы ни случилось, это идет на руку вашему большому приобретению, хотя вы, может быть, увидите это не сразу, а сначала вам придется пережить тяжелые времена.

— Но митру вы не видите? Епископскую шапку?

— Я же вам сказала: большое приобретение. Я не знаю, что это будет, — что для вас большое приобретение. Если шапка епископа, то, может, это она и есть. Но чтобы подойти ближе, мне нужно делать раскладку всей колоды, а это занимает больше часа. И очень хорошую судьбу я вам открыла, отец Симон, за ваш четвертак, хотя они теперь даже не серебряные, а из какой-то дряни, которую подсовывает нам правительство. Вы подумайте о том, что я сказала. Прекрасная темноволосая женщина — если вы ее хотите, колесница на вашей стороне и может привести вас к ней.

— Но, мадам Лаутаро, будьте с нами откровен-

ны: вы приписываете этим картам значения, которые, я полагаю, произвольны. Любой человек, вытянувший те же карты, получит такое же предсказание. Но я уверен: то, что вы делаете, не просто чудеса хорошей памяти.

— Память тут совершенно ни при чем. Конечно, карты имеют определенное значение, но не забывайте, что их тут семьдесят восемь, — сколько это сочетаний по пять? Одних козырей двадцать две штуки, а они влияют на все остальные четыре масти. Без Колесницы я бы не могла обещать вам такое хорошее будущее… Но все это покрыто плащом времени и судьбы. Вы — это вы, если вы знаете, кто вы такой, а я — это я, и то, что происходит между нами, когда я читаю карты, не может произойти ни с каким другим человеком. А сегодня ночь после Рождества, и уже почти десять часов вечера, и это тоже имеет значение. Все имеет значение. Почему я гадаю вам в это особое время, если я вас сегодня увидела впервые в жизни? Что свело нас? Случай? Не верьте! Случайностей не бывает. Все имеет значение, иначе мир разлетелся бы на куски… И вы не останетесь обойденным, дорогой Холлиер. Сейчас я перетасую карты, вы выберете, и мы увидим, что принесет вам будущий год.

Даркур охотно выслушал предсказание, но Холлиер слушал жадно, светясь лицом. Это была дикая душа, как он ее называл, в действии: он находился в обществе культурной окаменелости. Он выбрал карты; мамуся взглянула на них, и я заметила, что ее лицо потемнело. Я внимательно разглядела карты: я кое-что знаю о гадании и хотела посмотреть, откроет ли мамуся всю правду как есть, пли подсластит ее, или вообще скажет что-нибудь совсем другое. Потому что с Таро нужно вести себя очень осмотрительно — даже если гадаешь не за деньги и, таким образом, не ищешь неприятностей со стороны закона. К примеру, если выпадет Смерть, безобразный скелет с косой, которой он косит цветы, людские головы, руки и ноги, эту карту не следует связывать с человеком, сидящим напротив вас за столом, даже если ясно читаешь смерть у него на лице. Гораздо лучше сказать: «На ваше будущее повлияет смерть человека, которого вы знаете», и тогда, может быть, бедняга запрыгает от радости, надеясь получить наследство или освободиться, если речь идет о женщине, живущей в несчастливом браке. Но мамуся была откровенна с Холлиером, хоть и смягчила некоторые удары:

— Это очень интересно, и вы не должны слиш-

ком задумываться об исходе своего гадания, пока я не закончу. Вот эта Четверка Жезлов означает, что какое-то дело, трудное для вас сейчас, скоро станет вдвое труднее… А это Четверка Кубков — вам везет на четверки… значит, кто-то — какой-то человек, близкий к вам, — причинит большое беспокойство вам и другому человеку, который к вам еще ближе… А здесь, где мы начинаем говорить о вашей судьбе, — Тройка Мечей, а это значит ненависть, и вам нужно беречься: то ли вас кто-то ненавидит, то ли вы кого-то, но из этого выйдет большая беда… Но ваша четвертая карта — Паж Монет. Паж — это слуга, кто-то, кто на вас работает, и он пришлет вам очень важное письмо. Как это относится к ненависти и беде, я не знаю… Но вот ваш большой козырь — это Луна, переменчивая женщина, она предупреждает об опасности, и, как видите, все вместе дает очень сложную картину, и я не рискну изложить ее вам только на основании этих карт. Поэтому я прошу вас выбрать еще одну карту из козырей, а мы в это время должны от всего сердца пожелать, чтобы она пролила свет на все остальное.

Кажется, Холлиер сильно побелел? Я-то уж точно побледнела. Я думала, мамуся наплетет ему какой-нибудь чепухи про его будущее, — я

видела по картам, что оно очень мрачно. Но, должно быть, мамуся слишком боялась карт. Если обманывать карты, они обманут тебя, и многие хорошие гадалки превратились в шарлатанок и обманщиц таким образом, а некоторые даже спились или покончили с собой, когда поняли, что карты обратились против них.

Холлиер вытянул карту и довольно медленно опустил ее на стол. Это было Колесо Фортуны. Мамуся пришла в восторг:

— Ага, теперь мы знаем! Холлиер, вы положили карту передо мной вверх ногами, так что мы видим все фигуры, которые вращаются на колесе; Дьявол оказался внизу, а верх колеса пуст! Это значит, что все ваши злоключения в конце концов выйдут к добру и вы восторжествуете, хотя и не без тяжелых потерь. Так что мужайтесь! Не падайте духом, и все будет хорошо!

— Спасибо Беби Исусу! — сказал Ерко. — Я вспотел от страха. Профессор, выпейте!

Снова абрикосовый бренди; к этому времени я, кажется, вовсе утратила свою крону и жила исключительно корнями. Наверно, я сильно опьянела, но и все остальные тоже, и это было хорошее опьянение. Чтобы работать с картами, мамуся скинула туфли, и я тоже: две босоногие цыганки.

Я не очень хорошо помню, что было дальше, но мамуся достала скрипку и принялась играть цыганскую музыку; я потерялась в тяжелом эмоциональном диссонансе между *лашо,* таким меланхоличным и даже слезливым, и *фришке,* диким цыганским весельем, но в подлинном, отчасти безумном и, несомненно, архаичном стиле, совсем непохожем на слащавые игрушки для *гаджё* вроде «Королевы чардаша». *Фришке* в мамусином исполнении навевал не картины костра, сверкающих зубов и развевающихся юбок опереточных цыган, но что-то древнее, вечное, изгоняющее университет и докторскую диссертацию в пыльные комнаты; что-то из тех времен, когда люди жили больше под небом, чем под крышей, читали знамения судьбы в криках птиц и чувствовали, что Бог — вокруг, повсюду. Это был тот самый смирный лад.

Ерко принес цимбалы собственной работы: они висели на шнурке на шее, как большой поднос, и Ерко молотил по звучным струнам с такой скоростью, что палочки мелькали, как венчик кухарки, взбивающей сливки. В четыре часа пополудни, когда званый ужин был только мрачной тенью в будущем, я бы поморщилась от такой музыки; сейчас, после одиннадцати вечера, я наслажда-

лась ею и жалела, что у меня недостает храбрости вскочить и даже в этой тесной комнате затанцевать, забить в бубен, отдаться минуте.

Комната была нам тесна.

— Давайте споем серенаду всему дому! — воскликнула мамуся, перекрывая музыку, и мы немедля повиновались: пошли вверх по лестнице, уже с песней.

Мы пели замечательную венгерскую песню «Magasan repül a daru».[95] Это не рождественский гимн, а песня торжества и любви. Я держала под руки своих двух профессоров и пела слова за троих: Даркур уловил мотив очень хорошо, но вместо слов пел «ля-ля-ля», а Холлиер, исполненный пыла, но, по-видимому, лишенный музыкального слуха, монотонно ревел, выбрав для этого слог «йя-йя-йя». Когда мы дошли до «Akkor leszek kedves rózsám a tied»,[96] я поцеловала обоих — мне показалось, что это будет как нельзя более уместно. Мне пришло в голову, что я до этого момента ни разу не целовала Холлиера и он меня тоже, несмотря на все, что было между нами. Но Даркур откликнулся страстно, и рот у него

---

[95] Примечания и комментарии: 95
«Высоко летит журавль» *(венг.).*

[96] Примечания и комментарии: 96
«Тогда я буду твоим, моя милая роза» *(венг.).*

оказался мягкий и сладкий, а Холлиер поцеловал меня так яростно, что чуть не сломал мне зубы.

Что подумали жильцы? Пудели яростно лаяли. Миссис Файко не выглянула, но сделала телевизор погромче. Показалась мисс Гретцер в ночной рубашке, поддерживаемая миссис Шрайфогель; обе заулыбались и одобрительно закивали, как и миссис Новачински, — она выходила в туалет и предстала перед нами без зубов и парика, что смутило ее гораздо сильнее, чем нас. На третьем этаже на лестничную площадку выглянул мистер Костич в пижаме, улыбнулся и сказал: «Прекрасно! Очень хорошо, мадам», но мистер Хорн вылетел к нам в ярости, с воплем: «Дадут, наконец, в этом доме человеку поспать или нет?»

Мамуся прервала игру и смычком указала на мистера Хорна, который спал в одной пижамной куртке, а потому сейчас демонстрировал сморщенные и неприятные на вид интимные части тела.

— Мистер Хорн, — торжественно произнесла она. — Мистер Хорн — санитар.

Словно по нажатию кнопки, мистер Хорн завопил:

— Да уж точно, что не санитарка! А теперь хватит шуметь, или я вам задам, в бога душу мать!

Ерко, очень мягко ступая, подошел к мистеру Хорну:

— Ты не говори так с моей сестрой. Ты не говори грязно с моей племянница, она девушка. Ты не делай грязный шум, когда мы петь для Беби Исуса. Ты заткнись.

Мистер Хорн не заткнулся. Он заорал:

— Вы все пьяны, вся компашка! Может, у вас и Рождество, а у меня обычный рабочий день.

Ерко надвинулся на мистера Хорна и больно щелкнул его по кончику пениса длинным гибким молоточком от цимбал. Мистер Хорн завопил и затанцевал на месте, а я, забыв, что должна соблюдать девичью стыдливость, громко расхохоталась. Я хохотала долго — все время, пока мы спускались по лестнице, где все еще лаяли пудели. Наверно, Рабле понравилась бы эта сцена.

Мамуся вспомнила, что играет для моих друзей роль великосветской дамы. Пронзительным голосом — специально, чтобы услышал мистер Хорн, — она произнесла:

— Не обращайте внимания. Это человек низкого рода, я его держу здесь только из жалости.

Мистер Хорн от ярости забыл все слова, но продолжал что-то нечленораздельно вопить все время, пока мы возвращались в мамусину

квартиру.

— У песни, которую мы пели, — сказал Даркур, — мотив знакомый. Кажется, она появляется в одной из Венгерских рапсодий Листа?

— Нашу музыку любят все, — ответила мамуся. — Ее крадут, а это показывает, что она очень ценная. Этот Лист, этот великий музыкант, он у нас все время крадет.

— Мамуся, Лист давно умер, — сказала я, поскольку сидящая во мне аспирантка еще не сдалась и я не хотела, чтобы мамуся показалась Холлиеру невеждой.

Но мамуся была не из тех, кто признает свои ошибки.

— Подлинно великие люди бессмертны, — произнесла она, и Холлиер завопил:

— Великолепно сказано, мадам!

— Кофе! Вы еще не пили кофе, — спохватилась мамуся. — Ерко, подай джентльменам сигары, пока мы с Марией готовим кофе.

Когда мы вернулись в гостиную, Холлиер смотрел на Даркура, который держал в руке царя из вертепа, а Ерко что-то рассказывал о своей работе над его украшением.

— Вот! Настоящий кофе кэлдэраров — черный, как месть, крепкий, как смерть, сладкий, как

любовь! Мария, передай эту чашку профессору Холлиеру.

Я взяла чашку, но протянула ее Даркуру, так как он был ближе. Мне показалось, что мамуся как-то слишком резко втянула воздух, но я не обратила внимания. Все мои силы уходили на то, чтобы не шататься и ступать твердо. Абрикосовое бренди в большом количестве — ужасная штука.

Кофе. Потом опять кофе. Длинные черные чируты с ядреным запахом, словно сделанные из верблюжьего навоза, — так сильно они навевали аромат Востока. Я старалась владеть собой, но чувствовала, что у меня опускаются веки, и не знала, удастся ли мне не заснуть до ухода гостей.

Наконец они ушли, и я пошла провожать их до парадной двери, где мы опять поцеловались, чтобы завершить праздник. Мне показалось, что Даркур затянул поцелуй чуть дольше, чем полагалось ему по статусу профессора-дядюшки, но, если вдуматься, он ведь вовсе не старый. От него приятно пахло. Я всегда была очень чувствительна к тому, как пахнут люди, хотя в цивилизованных культурах это не поощряется и бесчисленные рекламы ежедневно сообщают нам, что иметь узнаваемый человеческий запах совершенно не годится. Моя крона не обращает

внимания на запахи, но у моего корня острый нюх, а после этого ужина корень полностью владел ситуацией. От Даркура хорошо пахло — хорошим, чистоплотным мужчиной. От Холлиера же пахло как из сундука, который много лет не открывали, — какой-то затхлостью. Не то чтобы плохо, но непривлекательно. Может быть, это от костюма. Я думала об этом, стоя у двери, глядя, как они идут прочь, и глубоко вдыхая режущий холодный воздух.

Вернувшись в квартиру, я услышала, как мамуся говорит Ерко по-цыгански:

— Не пей!

— Почему? Это кофе. Холлиер не выпил вторую чашку.

— Не пей, говорю тебе.

— Почему?

— Потому.

— Ты туда что-то положила?

— Сахар.

— Само собой. Но что еще?

— Капельку кой-чего особенного — для него.

— Что?

— Не важно.

— Врешь! Что ты положила в чашку профессору? Он мой друг. Скажи, или я тебя побью.

— Ну, если тебе уж так нужно знать — немножко поджаренных яблочных семечек.

— Да, и что-то еще… Женщина, ты положила в кофе свою тайную кровь!

— Нет!

— Врешь! Что ты затеяла? Хочешь, чтобы Холлиер тебя полюбил? Старая дура! Неужели тебе не довольно было нашего милого Тадеуша?

— Тихо. Мария услышит. Это не моя кровь, а ее.

— Господи Исусе! Ох, прости меня, Беби Исус… Ее кровь! Как ты ее достала?

— Из этих штук — знаешь, этих штук *гаджё*, которые она сует в себя каждый месяц. Я выжала одну в чеснокодавилке, пф-ф-ф — и готово! Она хочет заполучить Холлиера. Но она дура. Я дала ей чашку для Холлиера, а она взяла и отдала ее Даркуру! Как ты думаешь, что теперь будет? И поставь эту чашку, потому что я не потерплю кровосмешения в своем доме!

Я ворвалась в комнату, схватила мамусю за большие золотые кольца в ушах и хотела повалить ее на пол. Но она ухватила меня за волосы, и мы закружились, как два оленя со сцепленными рогами, дергая друг друга и крича во всю глотку. Я костерила мамусю по-цыгански, находя ужасные

слова, — я и понятия не имела, что знаю такие. Мы упали на пол, она придвинула лицо вплотную к моему и очень больно и сильно укусила меня за нос. Я всерьез пыталась оторвать ей уши. Мы продолжали вопить.

Ерко, стоя над нами, заорал:

— Непочтительные шлюхи! Что подумает Беби Исус?

И со всей силы пнул меня в корму, а мамуся еще куда-то — не знаю куда, но я лежала на полу, воя от боли и ярости из самых глубин своего цыганского корня.

Где-то далеко лаяли пудели.

Новый Обри V

1

Если до Рождества я думал, что влюблен в Марию, то к началу нового года обрел мучительную уверенность. Я не преувеличиваю, говоря «мучительную»: меня словно заживо раздирали на части. Мое дневное «я» могло как-то примириться с этой ситуацией; пока солнце стояло в небе, я мог привести себе на помощь доводы рассудка. Но как только темнело — а в январе у нас долгие ночи, — мое ночное «я» брало верх и я начинал страдать хуже, чем школьник по своей первой любви.

Хуже, потому что я больше испытал, мучился более разнообразными чувствами, успел повидать жизнь и знал, что случается с преподавателем, влюбленным в студентку. Считается, что юная любовь — всепоглощающая, жаркая, и это правда: думаю, что в юности я не жил невлюбленным больше недели подряд. Однако молодым можно и даже должно любить. Мир сочувственно и благосклонно смотрит на их остекленелый взгляд, рассеянность, тяжкие вздохи. Но человеку сорока пяти лет уже пора заняться другими делами. По всеобщему мнению, он должен был

уже разобраться с этой стороной своей натуры, успокоиться в определенной роли: мужа и отца, закоренелого холостяка, бабника, гомосексуалиста — и устремить свои силы на что-нибудь другое. Но любовь, как переживал ее я, пожирала мои силы и время в огромном количестве. Это первичное чувство, преломляющее сквозь себя все остальные ощущения, а в моем возрасте оно дополнительно усугублялось двадцатью пятью годами разнообразного жизненного опыта: он придает любви силу, но не смягчает ее философией или здравым смыслом.

Я был подобен человеку, терзаемому тяжкой болезнью, на которую он не может жаловаться и которая не дает права на сочувствие окружающих. Тот званый ужин полностью выбил меня из колеи в эмоциональном и интеллектуальном плане. Что пыталась сказать мне мать Марин во время гадания? Хотела ли она меня отпугнуть разговорами про Королеву Жезлов и трудную любовь к темноволосой женщине? Может, она что-то подозревает обо мне и Марии? Может быть, Мария догадалась о чем-то, глядя на меня, и рассказала матери? Невозможно: я был сама скрытность. И вообще, какое я имею право думать, что старуха врала? Конечно, она выглядела шарлатанкой в

сравнении с другими роуздейлскими матерями — к примеру, с матерью Холлиера, от которой нельзя ожидать ничего необычного. Но мадам Лаутаро — *пхури дай,* и к ней нельзя подходить с той же меркой. Ни одно происшествие этого необыкновенного вечера не укладывалось в мой обыденный опыт. Что-то в глубине души подсказывало мне, что это была не просто веселая ночь с цыганами-эмигрантами, — это встреча первородной важности и значения.

Не только моя собственная реакция, но и реакция Холлиера убедила меня, что я был в необычном для себя настрое, в корне отличном от всего, что я когда-либо знал. Будущее Холлиера было мрачно, а *пхури дай* гадала Холлиеру, и он ее слушал в таком напряжении чувств, что мне стало страшно: вдруг прозвучит что-нибудь, что лучше оставить недосказанным? Если бы цыганка все выдумывала, она бы, конечно, не наговорила столько зловещего. Это правда, что нам обоим пришел на выручку козырь из старших арканов, но для Холлиера — только после того, как он выбрал во второй раз. Нет, это гадание не пахло шарлатанством; оно, как монисто из талеров Марии Терезии, было из другого мира, но звенело, как настоящее золото.

Так с чем же я остался? С обещанной любовной историей, в которой кто-то будет чинить препятствия, но кончится она хорошо, хотя мне суждено и обретение, и утрата. Любовная история у меня, несомненно, уже есть.

Что за вечер! Каждая подробность помнилась ясно, вплоть до странного чесночного привкуса в кофе. Яснее всего был поцелуй Марии. Суждено ли мне испытать это еще раз? Я твердо решил, что в следующий раз поцелую ее только в роли желанного ей возлюбленного.

Когда я ночью думал о ее поцелуе и о своем решении, в этом был благородный налет романтики, но те же мысли поутру наполняли меня почти что ужасом. Унизительно было думать, что у моей любви горячая голова и холодные, трясущиеся от страха руки. Но так уж оно было: я жаждал вкусить меда любви, но боялся связанной с ней ответственности, а это невозможно для мужчины средних лет, к тому же священника, даже если для молодых влюбленных правила иные. У моей любви была голова Януса: одно лицо, молодое, смотрело назад, на все наслаждения моей юности, на радости поисков и завоеваний, поцелуев, объятий, постели. Но другое лицо, взрослое, видело комический брак старого холостяка с

молодой женщиной, ибо я не мог помыслить ни о чем, кроме брака. Я не мог предложить Марии ничего бесчестного, а священный сан запрещал мне даже думать о легкомысленном сожительстве, какое подобает раскрепощенным юнцам. Но брак? Я уже много лет назад отложил всякую мысль о браке — без труда, поскольку тогда у меня не было никого на примете, к тому же я считал, что приходской священник много теряет из-за отсутствия жены, но выигрывает гораздо больше, если может всего себя посвятить работе. Я ведь еще не стар и могу изменить свою жизнь? Человек, заявляющий, что в сорок пять лет он уже стар для такой естественной вещи, как влюбленность и женитьба, действительно старик. Чем больше вздыхало и чахло молодое лицо моего Януса, тем строже становилось старое.

Смотри на вещи трезво, говорило мое дневное «я». Ты живешь в удобстве и спокойствии, никому не отчитываешься за свои привычки, у тебя есть время для работы и для себя, особенно для духовных трудов, которым ты отдаешь столько сил и которые так долго были твоей главной радостью. Тебе не нужно иметь машину; обслуга колледжа заботливо присматривает за тобой, потому что за год ты раздаешь около пятисот долларов чаевых

им и другим людям, облегчающим твой путь. Тебе не нужно жить в пригороде, отрывать от себя куски для выплат по ипотеке и беспокоиться о зубных брекетах для своих детей. Ты живешь если и не по-княжески, то лучше многих людей своего класса, так что будь осторожен, Даркур, и не наделан глупостей. «О ленивая, изнеженная скотина! — кричало в ответ мое ночное „я“. — Неужто подобные меркантильные соображения для тебя дороже, чем завершение собственной души? Если ты выдвигаешь подобные оправдания для обуздания плоти, как можешь надеяться на совершенствование духа? Жирный слизняк, ты недостоин подаренного тебе Откровения!»

Потому что, видите ли, я счел Марию посланным свыше Откровением, да таким, что я едва и сам осмеливался рассмотреть его как следует.

Я оставил работу на приходе и стал ученым-богословом, потому что хотел копать глубоко в шахтах древних верований, родственных, как уже говорилось, текстам, которые составители Библии сочли неподходящими для включения в каноническое Слово Господне. Мое желание осуществилось, и мои труды даже снискали некоторое одобрение. Но человек, забивающий себе голову апокрифами, вскоре доберется и до

еретических писаний, и я, хоть и не собирался становиться гностиком, все же обнаружил, что сильно увлекся их текстами: очень многое в их вере было для меня привлекательно. Их концепция Софии завладела моим умом, поскольку отвечала некоторым идеям, которые я сам пытался разрабатывать — робко, в порядке эксперимента.

Я люблю женщин, и отсутствие женского начала в христианстве меня давно тревожило. Да, я знаком со всеми апологиями по этой теме; я знаю, что среди последователей Христа были женщины, что Он любил говорить с женщинами и что среди верных, последовавших за Ним к подножию креста, женщины преобладали. Но что бы там ни думал Христос, замысловатое здание доктрины, которое мы зовем Его Церковью, не включает в себя женщин на руководящих постах — только Троицу, состоящую, грубо говоря, из двух мужчин и голубя. И даже запоздалые реверансы католической церкви в сторону Девы Марии не поправили дела. Гностики нашли более удачное решение: они предложили своим адептам Софию.

София, женственное воплощение Господней Мудрости: «С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил

мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим».[97] София, через которую Господь начал осознавать себя. София, посредством которой вселенная была приведена к завершению, со-трудница Бога в делах Творения. София, с чьей помощью — по крайней мере, в моих глазах — холодный ореол патриархального Бога превращается во всеобъемлющее великолепие завершенной Мировой Души.

Но при чем тут Мария Магдалина Феотоки, аспирантка, изучающая под моим руководством греческий язык Нового Завета? Мария, которой минуты три обладал Клемент Холлиер на страшном, ветхом кожаном диване — и которая, надо думать, за эти три минуты испытала огромное удивление, но была весьма далека от физического экстаза? О боже, сразу видно, что я свихнулся на своем научном предмете, но любой, кто читал существующие легенды о Софии, знает про «падшую Софию»: она облачилась в смертную плоть и в конце концов пала, став блудницей в тирском доме разврата, откуда ее вызволил

[97] Примечания и комментарии: 97

«С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим». — Книга премудрости Соломона, 9: 9.

гностик Симон Волхв.[98] Про себя я называю это страстями Софии: ведь она вочеловечилась и пережила поношение ради искупления человечества. Именно поэтому гностики почитали ее одновременно как Мудрость и как *anima mundi,* мировую душу, которая требует искупления и, чтобы достичь его, вызывает желание. И разве фамилия Марии, Феотоки, не означает материнство Бога? Только не надо мне объяснять, что к концу византийской эпохи фамилия Феотоки стала у греков обычной, не более значащей, чем английская Годбер.[99] То, что для большинства ученых оказалось бы лишь интересным фактом, для меня было знаком, уверением, что Мария — может быть, для меня одного — вестница особой благодати и искупления.

Я думаю так: кто особо усердно изучает легенды и забытые поверья, тому не стоит удивляться, если легенды вторгнутся в его жизнь и наводнят его разум. Для меня Мария символизировала целост-

---

[98] Примечания и комментарии: 98

…гностик Симон Волхв. — Симон Волхв (также Симон Маг) — в христианских преданиях самарийский чародей, антагонист апостола Петра.

[99] Примечания и комментарии: 99

…не более значащей, чем английская Годбер. — Эта фамилия в различных вариантах — Godber, Gadbehere, Godebert, Godbert, Gobbert, Gobbet и др. — происходит от англосаксонского и старогерманского имени Годберт — Godebert, означающего буквально «сияющий бог».

ность, Божью славу, Божий дар и одновременно — темную сырую землю, столь чуждую конвенциональному христианскому уму. Персы верили: когда человек умирает, он встречает свою душу в виде прекрасной женщины, бесконечно древней и мудрой. По-видимому, именно это случилось со мной, хотя я, несомненно, еще жив.

Ужасная вещь для интеллектуала — столкнуться с идеей, воплотившейся в реальность. Это со мной и произошло.

Таковы были фантазии моего ночного «я», и все премудрые советы дневного «я» — хорошо устроенного, удобно живущего, заносящего расходы в тетрадочку — не могли их искоренить.

Так что же мне было делать? Отступить? Это будет низостью. Продвигаться вперед? Это будет великолепное и жуткое приключение. Но я должен был идти вперед.

2

Как все влюбленные, я утверждаю, что мысли о Марии заполняли каждую минуту моего дня. Но конечно, это не так. Университетские преподаватели — занятые люди, что бы там ни думали разные посторонние. Занятость преподавателей усугубляется еще и тем, что они, часто по натуре не деловые люди, склонны усложнять разные мелкие проблемы. Свою печать накладывает и отсутствие секретаря или необходимость делить одну загнанную и не всегда компетентную секретаршу на несколько человек. Поэтому преподаватели вынуждены самостоятельно вести многие записи, подшивать документы в папки, искать потерянное. К университетскому профессору постоянно обращаются за информацией, которой у него никогда не было, или за информацией, которая содержалась в давно выброшенных бумагах, или за отзывами о студентах, которых он не видел пять лет и начисто забыл. Преподаватели славятся своей рассеянностью, потому что разрываются между работой, за которую им платят, — преподаванием того, что они знают, и расширением своих знаний — и работой, которой

они не ожидали, — заседанием в разных комитетах под руководством председателей, которые не умеют привести своих коллег к согласию. От преподавателей требуют, чтобы они действовали как бизнесмены — в сфере, не имеющей отношения к бизнесу, не пользуясь инфраструктурой бизнеса, оперируя нематериальными вещами. В моем случае обычная неразбериха преподавательской жизни усугублялась необходимостью отправлять разные требы: говорить проповеди (о которых меня не всегда предупреждали заранее), проводить своих друзей и детей своих друзей через различные ритуалы перехода — крещение, венчание, погребение. Я был за штатом, и потому именно обо мне в первую очередь вспоминали, если какой-нибудь священник, часто в отдаленном пригороде, заболевал гриппом и нужно было срочно найти человека на замену — вертеть молитвенное колесо в церкви воскресным утром. Но мне, как преподавателю, не полагался обычный понедельничный выходной священника. Я не жалуюсь, просто говорю, что я занятой человек.

Но все же Мария не удалялась надолго из моих мыслей, даже если казалось, что львиную долю моего скудного запаса времени пожирает Парлабейн со своим чудовищным романом. Я никак

не мог понять, насколько он близок к завершению, — столько там было набросков, черновиков и альтернативных версий. И еще мне упорно не показывали полный текст. Парлабейн был, как положено автору, ревнив и подозрителен и, по-видимому, всерьез считал, что я способен украсть у него идеи, если показать мне слишком много. Точно так же он боялся издателей и, кажется, занимался бессмысленным (с моей точки зрения) делом: пытался продать роман, не показывая его целиком.

— Ты не понимаешь, — отвечал он на мои протесты. — Издатели постоянно покупают книги, которых не видели полностью. Им достаточно прочитать главу-другую, чтобы понять, хорош ли роман. В газетах все время пишут про огромные авансы, выданные под честное слово писателя или набросок книги.

— Я не верю всему, что пишут газеты. Но у меня самого вышло несколько книг.

— Научных. Это совсем другое. Никто не ждет, что твоя книга разойдется широко. Но мой роман будет сенсацией, и я уверен, что, если его правильно подать, преподнести публике, он меня озолотит.

— А ты уже предлагал его в Штатах?

— Нет. Позже. Сначала он должен выйти в Канаде, чтобы те, кто имеет к нему непосредственное отношение, прочитали его первыми, до массового читателя.

— Те, кто имеет к нему непосредственное отношение?

— Конечно. Это не только *roman philosophique,* но и *roman à clef.*[100] Когда он выйдет, кое-кому придется покраснеть, это точно.

— А ты не боишься исков за клевету?

— Прототипы большинства героев вряд ли начнут кричать, что это они. За них это сделают другие. И конечно, я не такой дурак, чтобы использовать слишком легкоузнаваемые дела и разговоры. Но не переживай, кто надо себя узнает. А со временем их узнают и все остальные.

— Значит, это роман-месть?

— Сим, ты же меня знаешь — как ты можешь так говорить! В моем романе нет ничего мелочного. Нет, не роман-месть. Может быть, роман-правосудие.

— Правосудие для тебя?

---

[100] Примечания и комментарии: 100

Roman à clef (роман с ключом, *фр.*) — тип романа, описывающего под видом художественного произведения реальные события. Под «ключом» имеется в виду сопоставление вымышленных, но узнаваемых героев романа с реальными лицами, которых они изображают.

— Для меня.

Мне это совсем не понравилось. Но мне торжественно вручали пачку за пачкой желтоватой бумаги с размазанными строками, напечатанными под копирку, и мало-помалу я уверился, что роман никогда не увидит света. Он был ужасен.

Не в том смысле, что автор был невеждой или в романе попадались ошибки. Парлабейн был слишком способным человеком, чтобы допустить подобные любительские огрехи. Просто его сочинение невозможно было читать. Каждый раз, как я пытался прочесть хоть немного, на меня нападала смертная скука. Это был очень интеллектуальный роман с очень сложной структурой. Казалось, в нем фигурируют целые армии персонажей — каждый отражал какого-нибудь человека, с которым Парлабейн был знаком лично или понаслышке. И все они излагали свои взгляды на жизнь — глава за главой свинцовой прозы. Как-то вечером я сообщил об этом Парлабейну — тактично, как только мог.

Он рассмеялся:

— Конечно, ты не можешь оценить весь размах, потому что не видел всего романа. В нем есть план, но он проступает очень медленно. Это, знаешь ли, не какое-нибудь любовное чтиво

для отпуска. Это по-настоящему великая книга, и я ожидаю, что, когда она выйдет, люди будут читать и перечитывать ее, каждый раз открывая в ней новые глубины. Как у Джойса. Но в моем романе сложны идеи, а не язык. Тебя обманывает первое впечатление — биографический слой. Интеллектуальное путешествие необычного и очень богатого ума в сочетании с духовными исканиями. Я могу тебе это сказать, потому что ты мой друг и понимаешь, что я собой представляю — до некоторой степени. Другие читатели поймут что-то другое. Одни поймут больше, другие меньше. Это книга, в которой истинно преданный и понимающий читатель найдет себя, а потому — нечто от сути нашей эпохи. Мир приближается к концу одной из Платоновых эр — эры Рыб, и нас ждут гигантские перемены. Эта книга, по-видимому, станет одной из великих книг новой эры, эры Водолея. Она предвещает то, что будущее сулит человечеству.

— Ага. Понятно. То есть я не понял. Если честно, я решил, что это книга про тебя и про всех, кто наступал тебе на мозоли начиная с детства.

— Ну, Сим, ты знаешь, что я стараюсь быть помягче, но эти слова больше говорят о тебе, чем о моей книге. Ты из тех, кому зеркало нужно,

чтобы ровно повязать галстук, а не затем, чтобы заглянуть и глаза себе самому. Ты не хуже тысяч других будущих читателей после первого прочтения книги. Но ты невредный старичок, так что получишь пару подсказок. Вот только выпью еще, чтобы вдохновиться. Жаль, что ты отмеряешь выпивку этим наперстком. Я сам себе налью.

Налив почти полный стакан виски и добавив лишь каплю воды, только для виду, он пустился в описание книги; большую часть его речи я уже слышал, и всю ее мне предстояло услышать еще не раз.

— Понимаешь, мой роман обладает замечательно плотной текстурой. В нем множество тем, они переплетаются и освещают друг друга, так что каждая фраза содержит целый сложный узел возможных значений, допускающих несколько различных толкований. Значение внутри значения, так что весь роман многослоен, как луковица. Сюжет движется вперед в обычном, буквальном или историческом, смысле, но его подлинное движение совершается в области диалектики и морали, а завершение достигается под давлением последовательно совершаемых отречений, обнаруженных ошибок и того, в чем внимательный читатель опознает полуправду.

— Да, непростая штука.

— Да нет. Простой читатель может интерпретировать все буквально и останется доволен. Ему покажется, что это биография довольно глупого и необыкновенно испорченного юнца, рожденного для жизни в Духе, но полного решимости избежать этой судьбы или отложить ее на возможно более долгий срок, потому что юнец хочет исследовать этот мир и жизнь населяющих его созданий. Роман будет довольно реалистичен, понимаешь, так что может даже показаться простым повествованием. Возможно, глупцы найдут его однообразным или даже скучным, но и они не бросят его, а будут читать дальше — из-за «клубнички»... Это буквальный аспект. Но есть, конечно, и аллегорический аспект. Жизнь главного героя, молодого ученого, — это путешествие современного Обывателя по Пути паломника.[101] Читатель следует за его душой, идущей от детских фантазий через подростковую одержимость механическими и физическими аспектами жиз-

[101] Примечания и комментарии: 101

...путешествие современного Обывателя по Пути паломника. — Здесь и далее содержатся аллюзии на книгу Джона Беньяна «Путь паломника». Джон Беньян (1628–1688) — английский писатель, религиозный диссидент, проповедник. «Путь паломника» — одно из наиболее значительных произведений английской религиозной литературы, аллегорический роман, описывающий путь души в поисках Небесного Града.

ненных ощущений и наконец открывающей для себя логические принципы, метафизику и в особенности скептицизм. В конце концов жизнь ставит перед главным героем дилеммы, свойственные среднему возрасту — раннему среднему возрасту — и зрелости, и вот он силон воображения восстанавливает единый взгляд на жизнь, рожденный из синтеза бессознательных фантазий, научного знания, мудрости и мифологии морали. Все это сливается воедино в процессе религиозного примирения души с реальностью и приятия открывшейся истины.

— Уф!

— Минутку. Это не все. В книге есть еще и моральное измерение. Это научный труд, посвященный безумию, ошибкам, отчаянию, исследование тупиков и ложных жизненных теорий, популярных ныне и кое-как реализуемых на практике. Герой — не слишком смышленый авантюрист — ищет добродетельной жизни, в которой ум находился бы в гармонии с чувствами, знания накапливались и объединялись бы в целое в результате вспоминания и осмысления опыта, эмоции укрощались бы фактами, желания направлялись бы на объекты этого мира и все это контролировалось бы чувством юмора и

соразмерности.

— Рад слышать, что будет еще и юмор.

— О, эта книга вся юмористическая, с начала до конца. В основе ее лежит глубокий, раскатистый смех удовлетворенного духа. Совсем как Джойс, но не скованный старыми иезуитскими оковами.

— Это очень мило.

— Но венец книги — ее анагогический уровень,[102] содержащий финальное откровение двойственной природы мира, опознание человеческого опыта как Божественного языка, а жизни — как прелюдии к путешествию, которое невозможно описать: мы можем лишь гадать о нем, потому что все вещи указывают вне себя — на славу, которая превыше их всех. И потому

---

[102] Примечания и комментарии: 102

...анагогический уровень... — Анагогия (от греч. вести вверх, возводить) — метод теологической философии, предполагающий синтетическое (рационально-интуитивное, философско-художественное) познание, исходящее из цели рассматриваемого предмета и синергических намерений мыслящего субъекта. Представляет собой высший уровень библейской экзегетики (объяснение и толкование библейских текстов), направленной на выяснение духовного смысла Священного Писания. В орбиту познания включаются самые различные предметы материального мира, с тем чтобы выявить их метафизическую цель, направленную на конечное и спасительное поддержание Божественного порядка вещей. Условием такого постижения является интуитивная связь познающего с любым внешним объектом, открывающим по аналогии смысл провиденциального существования субъекта, который вбирает в себя любые творческие поиски сущего.

окажется, что герой сказки — ибо это сказка для простаков, как я уже сказал, — всю жизнь искал отца по имени Образ и мать по имени Идол, чтобы заменить ими настоящих родителей, которые в реальной жизни являют собой лишь жалкие суррогаты Создателя. Путешествие героя никогда не завершится, но его одержимость Образом и Идолом постепенно уступает место убеждению в реальности. Реальности, лежащей за тенями, из которых состоит текущий момент, стремительно пролетающий мимо.

— Ты откусил изрядный кусок.

— Да, действительно. Но я могу его прожевать, потому что я его прожил, понимаешь ли. Я усвоил философию в юности, вынес ее в мир и там испытал.

— Джонни, мне очень неприятно это говорить, но… то, что я видел, не вызывает желания читать дальше.

— Ты не читал роман целиком.

— А кто-нибудь читал?

— У Холлиера есть полная копия.

— И что он говорит?

— Мне пока не удалось его перехватить, чтобы поговорить по-настоящему. Он говорит, что очень занят, и я ему верю, хотя, надо думать, мой

роман гораздо важнее разных мелочей, пожирающих его время. Да, я нахал, я знаю. Но моя книга — великая книга, и рано или поздно Холлиеру придется с этим смириться.

— Что ты делаешь для публикации?

— Я составил подробное описание книги — план, темы, скрытые значения — и разослал всем крупным издателям. Я послал каждому по одной главе как образец: не хочу показывать весь роман, пока не буду уверен в их серьезности и не узнаю, какие условия они предлагают.

— И как, клюет?

— Один редактор пригласил меня на обед, но в последний момент позвонила его секретарша и сказала, что он не сможет прийти. Другой издатель позвонил, чтобы спросить, есть ли в книге «откровенные» сцены.

— Ага, старый добрый гомосекс. Да, сейчас это модно.

— Конечно, в книге много такого, но эту часть надо воспринимать только в контексте всего остального, иначе ее легко принять за порнографию. Моя книга откровенная — намного откровеннее всего, что я когда-либо видел, — но она не порнографическая. То есть, я хочу сказать, от ее чтения никто не возбудится.

— Откуда ты знаешь?

— Ну… все может быть, конечно. Но я хочу, чтобы читатель как можно более полно испытал все переживания героя, в том числе экстаз любви и отвратительную грязь секса.

— Если ты заявишь современным читателям, что секс — это грязь, ты далеко не уедешь. Секс теперь в большой моде. Он считается не только необходимым, приятным или естественным, но и модным, а это совсем другой коленкор.

— Буржуазное потрахивание. Мои тюремные случки — совсем другое. Все равно что сочная курица из «Кей-эф-си» в сравнении с вонючими объедками, за которые дерутся зэки в лагере.

— Такое, пожалуй, купят.

— Сим, не будь вульгарным идиотом. Это великая книга; она разойдется огромным тиражом и станет классическим произведением, но я не намерен вставлять в нее гадости, чтобы сделать ее популярной у мещан.

Классическим произведением. Я смотрел на него — грязного, опустившегося, в останках моего некогда хорошего костюма — и думал: действительно ли он мог написать классический роман? Откуда мне знать? Я не умею определять литературных классиков, и на мне, как и на всем

человечестве, лежит бремя вины — сознание, что в прошлом люди иногда не признавали великие произведения великими, а потом оказывались посмешищем. Понятно, человеку трудно поверить, что его знакомый, и особенно такой явный неудачник и жулик, как Парлабейн, написал что-то значительное. В любом случае он не дал мне прочесть весь роман, так что, очевидно, счел меня недостойным: где уж мне, жалкому, ограниченному существу, распознать гениальное произведение. Так что бремя — обязанность объявить книгу великой — ляжет на чьи-то чужие плечи. Но мне было любопытно. Я, как хранитель «Нового Обри», обязан был выяснить все подробности, какие только смогу, и описать гения, если мне на глаза попался гений.

Может, выявление классиков литературы мне и не под силу, но несколько фондов прислушиваются к моему мнению о студентах, которым нужны деньги для продолжения учебы. Поэтому, когда Парлабейн ушел, я уселся заполнять анкеты, предоставляемые фондами людям, которых они называют «рекомендателями», а студенты — «ресурсораздавателями». Так что я отключил ту часть своей души, которая служила наперсником Парлабейну, и ту, которая составляла

«Новый Обри», и ту — жадную, больную, — которая тосковала по Марии — Софии. Я взялся за пачку анкет: их в последний момент принесли жаждущие субсидий, но плохо организованные студенты. Все анкеты нужно было заполнить и отослать немедленно. Оплатить пересылку, видимо, тоже должен был я: студенты об этом не позаботились.

За моим окном лежал внутренний дворик Плоурайта. Для весны было еще слишком рано, но фонтанчики, никогда не замерзающие полностью, пели свою тихую песенку под ледяными коронами. Какое мирное зрелище даже в это губительное время года. «Вертоград заключенный — сестра моя, невеста, запертый колодезь, запечатанный источник».[103] Как я ее люблю! Разве не странно, что человеку моего возраста так больно любить? Работай, Симон. Считается, что работа спасает от всего.

Я склонился над столом и погрузился в мизантропию. Интересно, что будет, если заполнить эти бумаги честно? Пункт первый: «Как давно вы знаете заявителя?» Вряд ли можно сказать, что вообще знаю, в мало-мальски серьезном

[103] Примечания и комментарии: 103

«Вертоград заключенный — сестра моя, невеста, запертый колодезь, запечатанный источник». — Песнь песней Соломона, 4: 12.

смысле, потому что видел этих студентов только на занятиях. «В каком качестве вы их знаете?» Как преподаватель, иначе с чего бы мне заполнять эту анкету? «Из всех студентов, которых вы знаете таким образом, относится ли заявитель к лучшим 5 %? Лучшим 10 %? Лучшим 25 %?» Знаете что, дорогой мой грантодатель, это зависит от ваших стандартов. Большинство этих студентов более-менее на уровне. Ага, но вот мы переходим к конкретике: «Впишите в эту графу свои личные комментарии по данному вопросу». Вот тут «рекомендатель» или «ресурсораздаватель» должен налить сладкого сиропа. Но я устал от лжи.

И вот после полутора часов мучений я обнаружил, что написал про одного юношу: «Он — добродушный лентяй, безвредный, но совершенно незнакомый с понятием работы». Про другого: «Он коварен; никогда не поворачивайтесь к нему спиной». Про третьего: «Он живет за счет женщины, которая считает его гением; возможно, любой выданный ему грант следует соразмерять с ее заработками — она хорошая стенографистка. У нее есть собственный диплом бакалавра, но она некрасива, и я предполагаю, что соискатель, защитив диссертацию, немедленно осознает, что любит другую женщину. Такое

часто бывает и, скорее всего, не волнует вас, но меня лично огорчает». О молодой женщине: «У нее плоский, как Голландия, ум — подобный соляным болотам, а не полям тюльпанов. Он простирается до горизонта во всех направлениях и придавлен свинцовым небом. Но она, без сомнения, напишет кандидатскую диссертацию… в некотором роде».

Покончив, таким образом, с избиением младенцев — невинных в своей уверенности, что я сделаю все возможное, чтобы добыть им денег, — я торопливо заклеил конверты, чтобы не поддаться малодушному раскаянию. Интересно, что подумает о моей писанине Канадский совет. Меня взбодрила надежда на то, что я поверг эту почтенную организацию в немалое смущение и растерянность. *Tohu-bohu* и *brouhaha*, как любит говорить Мария.[104] Ах, Мария!

На следующий день в обеденном зале «Душка» я увидел Холлиера. Он сидел за вторым препода-

---

[104] Примечания и комментарии: 104

Tohu-bohu и brouhaha, как любит говорить Мария. — Tohu-bohu — от древнееврейского «тоху ва-боху» (Бытие, 1: 2); обычно переводится как «безвидна и пуста» и используется для описания состояния Земли до того, как Бог произнес «Да будет свет»; в современном французском языке означает «смешение, суматоха». Brouhaha, возможно, происходит от древнееврейского *barukh haba,* «добро пожаловать» (букв.: «благословен грядущий»); в современном французском и английском языках обозначает «шум, свистопляска».

вательским столом. Я подсел к нему.

— Насчет Парлабейновой книги, — сказал я. — Это правда что-то необычное?

— Понятия не имею. Мне некогда было читать. Я отдал ее Марии. Пускай прочтет и мне расскажет.

— Отдали Марии! А Парлабейн не взбесится?

— Не знаю, и меня это не волнует. По-моему, Мария имеет право читать, если хочет: она, кажется, оплачивает услуги профессиональной машинистки, которая перепечатывает книгу.

— А он занял у меня довольно большую сумму именно на это.

— Вас это удивляет? Он у всех берет взаймы. Меня уже тошнит от его попрошайничества.

— А что она говорит?

— Она еще мало прочитала. Ей приходится читать украдкой, потому что Парлабейн постоянно прибегает ко мне в комнаты. Но я видел, как она читает: с таким лицом, словно пытается разгадать загадку. И много вздыхает.

— Да, я тоже вздыхал, когда читал.

Но через несколько дней ситуация изменилась: Холлиер подсел ко мне за обедом.

— Я вчера встретил Карпентера. Это издатель, ну, вы знаете. Парлабейн и ему послал свою книгу

или часть, и я спросил, что он думает.

— И?..

— Он ее не читал. У издателей нет времени на чтение книг — вы, наверное, знаете. Он отдал ее профессиональному читателю, рецензенту. Отчет, сделанный на основе описания и одной главы, не дает поводов для оптимизма.

— Правда?

— Карпентер говорит, что таких книг им присылают по две, по три в год — длинные, многословные, многослойные творения со сложной структурой, тяжело груженные философией, но на самом деле всего лишь автобиографии-самооправдания. Карпентер собирается отослать книгу обратно.

— Парлабейн будет разочарован.

— Может быть, и нет. Карпентер говорит, что всегда посылает личное письмо, чтобы смягчить удар. Советует послать книгу в другое издательство, к формату которого она, может быть, больше подходит. Ну знаете, старый добрый метод перепасовки.

— Как там Мария, все читает?

— Трудится, аки пчелка. В основном, я думаю, из-за названия.

— А я и не знал, что у романа есть название.

— Есть, такое же закрученное, как и сам роман. Он называется «Не будь другим».

— Хм. Меня бы не потянуло купить книгу под названием «Не будь другим». А что нашла в нем Мария?

— Это цитата из ее любимого писателя, Парацельса. Она уговорила Парлабейна почитать Парацельса, и Джонни сунул в начинку пальчик и вытащил изюминку, как хороший мальчик.[105] Парацельс написал следующее: «Alterins non sit, qui suus esse potest». То есть: «Не будь другим, если можешь быть собой».

— Клем, я тоже знаю латынь.

— Ну да, надо полагать. В общем, вот это откуда. Так себе, по-моему, но он думает, что это будет красиво смотреться на титульном листе. Курсивом. Намек читателю, что его ждет подлинное наслаждение.

— Наверное, это хорошее название… для тех, кто понимает. Конечно, Парлабейну не занимать решимости быть собой.

— Хорошо бы, люди не так старались быть собой, если это значит быть негодяем. Я уверен,

---

[105] Примечания и комментарии: 105

…Джонни сунул в начинку пальчик и вытащил изюминку, как хороший мальчик. — Парафраз английской народной детской песенки. Использован перевод Г. Кружкова.

как никогда, что Маквариш прикарманил ту рукопись, которую вам не удалось у него выдрать. И это не идет у меня из головы. Как навязчивая идея. Вы представляете себе, что такое навязчивая идея?

Да, я очень хорошо представлял себе, что это такое. Мария.

София.

3

— Я теперь довольно часто вижу ту девушку, которая тут была в твой прошлый визит, — сказал Ози Фроутс. — Ну, ты ее знаешь — Марию.

Действительно, я ее знал. А что это она делает у Ози в лаборатории? Надеюсь, не носит ему ежедневные ведерки для опытов?

— Она знакомит меня с трудами Парацельса. Он оказался гораздо интересней, чем я думал. У него бывали невероятные прозрения, но, конечно, никакой возможности их проверить. Но все же удивительно, как далеко он продвинулся на одних догадках.

— Ты ни на вот столько не веришь в интуицию великого человека, а, Ози?

— Ни на миллиметр. Нет, я беру это обратно. У каждого ученого бывают интуитивные прозрения, и он их до смерти боится, пока не проверит на опыте. Понимаешь, великие люди попадаются очень редко.

— Но ты — один из них. Ты получил ту награду — теперь Мюррей Браун уже не сможет на тебя нападать, верно?

— Ты про Коберовскую медаль? Да, это неплохо.

Весьма неплохо.

— Мне говорили, что ты теперь кандидат на Нобелевку.

— О, эти награды… я рад, конечно… но к ним надо относиться очень осторожно, ни в коем случае не путать с реальными достижениями. Но я доволен, что меня заметили. Кстати, на церемонии вручения мне придется прочитать лекцию. Тогда я и узнаю, что люди думают на самом деле, — по тому, как они примут мою лекцию. Но я еще не все показал, что могу, далеко не все.

— Ози, такая скромность великого человека убийственна по отношению к нам — скромным середнячкам. Мы кое-как плетемся вперед, делая все, что в наших силах, и зная, что это очень немного. Американский колледж врачей удостоил тебя высочайшей из своих наград, а ты жеманничаешь. Это не скромность, а мазохизм. Ты просто любишь страдать и урабатываться до потери пульса. Меня от тебя тошнит. Наверное, это твой шелдоновский тип виноват.

— Это все меннонитское воспитание. «Остерегайтесь гордыни». Вы все ужасно добры ко мне, поэтому я должен стеречься, чтобы не начать гладить самого себя по голове. Кстати, Мария утверждает, что я маг.

— Надо полагать, в ее системе понятий ты и есть маг.

— Она написала мне очень милое письмо. В основном цитаты из Парацельса. Я постоянно ношу его с собой — это признак слабости. Но послушай: «Природным святым, именуемым магами, дана власть над энергиями и богатствами природы. Ибо есть блаженные во Господе, которые служат жизни будущего века; их именуют святыми. Но есть также и блаженные, кои служат силам природы, — их именуют магами… Что другим не под силу, то им под силу, ибо им это послано свыше как особый дар». Думать о себе в таких выражениях — смерть для ученого. Сомнение, сомнение и еще раз сомнение, пока не будешь уверен на сто пятьдесят процентов! Это единственный возможный путь.

— Если бы Мария написала мне что-нибудь такое, я бы ей поверил.

— Почему?

— Мне кажется, она знает, что говорит. У нее невероятное чутье на людей.

— Думаешь? Она прислала мне очень странного типа, определенно необычного в шелдоновском смысле, так что я его посадил на ведро. Интересные вещи приносит, но только раз в неделю или

около того.

— Я его знаю?

— Ну, Симон, ты же знаешь, я не могу раскрывать имена. Это очень неэтично. Иногда мы с ним обсуждаем сомнение. Он великий любитель сомневаться. Раньше был монахом. Что в нем интересно, так это его шелдоновский тин. Очень редкий: три-семь-шесть. Понимаешь? Очень интеллектуальный и нервный, но фантастически крепкого сложения. Я бы сказал, что человек с такими задатками опасен. Может и ударить. Он измывался над своим телом, кажется, всеми способами, известными человечеству. А судя по тому, как пахнет его продукт, он наркоман со стажем. Он хотя и небольшого роста, но фантастически мускулист и силен. Ему нужны деньги, но он приносит продукт редко и помалу. Запор. Это от наркотиков. Он мне не нравится, но я его терплю из-за редкого типа.

— Ради Марии?

— Нет, ради себя самого. Слушай, я надеюсь, ты не подумал, что я неравнодушен к Марии? Да, она хорошая девушка, но больше ничего.

— У нее неинтересный тип?

— С моей точки зрения, нет. Слишком сбалансирована.

— А она, случайно, не может оказаться «проклятьем пикника»?

— Никогда. Она хорошо сохранится. Будет импозантной женщиной. Наверное, сутулой: это неискоренимо в женской фигуре. Но она будет хорошо держаться до самого конца.

— Ози, а вот эти шелдоновские типы… они необратимы?

— Что ты имеешь в виду?

— В последний раз, когда я сюда приходил, ты был очень откровенен насчет меня и моей склонности к полноте. Помнишь?

— Да, это было в первый приход Марии. Конечно, я это сказал не по результатам обследования. Просто догадка. Но я отнес тебя к типу четыре-два-пять — мягкий, массивный, энергичный. Много кишок.

— Да. Кажется, ты сказал «литературные кишки».

— Да, у многих писателей такие. Конечно, можно иметь длинный кишечник и не быть писателем.

— Не отнимай у меня единственное утешение! Но вот что я хотел спросить: может ли человек такого типа перебороть свое тело, если будет правильно питаться, заниматься спортом и вообще

следить за собой?

— До какой-то степени — да. Но, скорее всего, такой ценой, что оно того не стоит. В этом и беда всяких модных диет, бодибилдинга и так далее. Ты можешь пойти против своего типа и даже многого добьешься, пока будешь неустанно над этим работать. Погляди на голливудских звезд: они морят себя голодом и ложатся под ножи пластических хирургов, а все потому, что внешность — их орудие труда. Время от времени кто-нибудь из них не выдерживает и кончает самоубийством. Понимаешь, тело — это фактор, от которого не убежишь. Ты можешь поддерживать хорошую физическую форму для своего типа, но радикально измениться невозможно. Здоровый человек — это не тот, кто превратил себя в греческую статую, а тот, который живет в соответствии со своим телом. Если вернуться к тебе, я полагаю, ты можешь сбросить фунтов двадцать пять и это пойдет тебе на пользу, но ты не станешь худым: ты станешь более подтянутым толстяком. А во что это обойдется твоей нервной системе, я даже и гадать не могу.

— Иными словами, не будь другим, если можешь быть собой.

— Что это?

— Опять Парацельс.

— Он чертовски прав. Но быть собой непросто. Нужно понимать свою физиологию, а люди не хотят верить правде о себе. Они создают картинку в голове, а потом работают как черти, истязая свое бедное старое тело, — хотят, чтобы оно было похоже на ту картинку. А когда оно не подчиняется — конечно, потому, что не может, — они приходят в ярость и живут в своем теле, как будто это обветшалый дом, из которого они надеются съехать. В этом причина многих болезней.

— У тебя получается какое-то физиологическое предопределение.

— Только не ссылайся на меня. Это совсем не моя область. У меня своя задача, я отвечаю только за нее.

— Ты ищешь ценность в том, что было презрено и отвергнуто.

— Вот и Мария то же самое говорит. Но я буду очень глупо выглядеть, если заявлю это как тему своей Коберовской лекции.

— «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

— Симон, с учеными так нельзя разговаривать.

— Тогда скажи им, что это *lapis exilis,* философский камень их духовных предтеч — алхимиков.

— Ой, уходи, уходи, уходи сейчас же!
Я, смеясь, ушел.

4

Я решил стать более подтянутым толстяком, раз на большее все равно не мог надеяться. Я взялся за дело, и мною тут же овладела сварливость. Так всегда бывает, если я отказываю себе в разумном количестве жирных продуктов и сливочных десертов. Я кисло думал про Ози: хоть он и великий человек, я мог бы прочитать гораздо лучшую Коберовскую лекцию. Я бы добавил к сухой научной информации сладкие изюминки из трудов Парацельса и придал всей лекции убедительный гуманистический блеск, который пробудил бы аудиторию и вывел бы ее из пуританского ступора научного мировоззрения. Но я тут же упрекнул себя за тщеславие. В конце концов, что я знаю о работе Ози? Я всего лишь тупой жирный осел, из тела которого, как из подводной лодки через перископ, выглядывает худосочная кислая душа. Нет, так тоже не годится. Я вовсе не такой уж толстый и душа у меня не такая уж кислая, когда я нормально питаюсь. Я терял кучу времени на подобные глупые препирательства с самим собой. Глубину моего отчаяния доказывает то, что раз или два, несмотря на всю свою безумную

любовь, я спросил себя: да стоит ли Мария таких мучений?

Одной из докучавших мне причуд Парлабейна было то, что он обожал принимать ванны у меня; он говорил, что у него в меблированных комнатах удобства очень примитивны. Он подолгу нежился в ванне, а потом разгуливал по моим комнатам голый — не по наивности, а с расчетом. Он щеголял своим телом, да и было чем щеголять: хотя мы ровесники, его тело было поджарым и мускулистым, с тонкими лодыжками и впечатляющим рельефом живота, с отчетливо видной прямой мышцей, как на доспехе римского солдата. Было ужасно несправедливо, что наркоман и алкоголик с двадцатилетним стажем, и притом, если верить Ози, склонный к запорам, так хорошо выглядит в костюме Адама. Лицо его, конечно, было изуродовано, и он плохо видел без очков, но, даже несмотря на это, он потрясающе, разительно контрастировал с человеком, одетым в мой старый костюм и какое-то совершенно ужасное нижнее белье. Одетый, он выглядел зловещим оборванцем; раздетый, он неприятно походил на Сатану с рисунков Блейка. С таким человеком не хотелось бы подраться.

— Ах, мне бы твою физическую форму! — сказал

я как-то в его очередной визит.

— Даже не думай об этом, если хочешь прославиться как теолог, — заметил он. — Они все скелеты или жирдяи. Во всей компашке ни одного такого, как я. Набери еще фунтов сорок, и будешь примерно той же комплекции, что Фома Аквинский в пору борьбы с манихеями. Ты знаешь, он до того разжирел, что не мог повернуться за алтарем, и ему сделали специальный алтарь с выемкой в форме полумесяца. Тебе до этого еще далеко.

— Я знаю от Ози Фроутса, ныне прославленного и оправданного получением Коберовской медали, что у меня сложение типичного литературного деятеля, — сказал я. — Мой живот вмещает то, что Ози называет литературными кишками. Может, будь у тебя хоть небольшое пузцо вроде моего, а не эта стиральная доска, которой я завидую, твой роман читался бы легче.

— Я бы с радостью понес бремя твоего пуза в обмен на положительный ответ от издателя.

— Пока ничего?

— Четыре отказа.

— Видимо, это окончательный ответ.

Он упал в одно из моих кресел — по-прежнему голый. Несмотря на явно владеющее им отчаяние,

мускулы сохраняли тонус и он выглядел просто красавцем, если забыть про очки с толстыми стеклами. Скульптура «Отвергнутый писатель» работы Родена.

— Нет. Единственный окончательный ответ, который я признаю, — это когда книгу примут на моих условиях для немедленной публикации.

— О, ну что ты, я вовсе не хотел тебя огорчать. Но… четыре отказа! Это ничто. Не сдавайся, продолжай надоедать издателям. Многие писатели занимаются этим годами.

— Я знаю. Но я — не многие. У меня кончается терпение.

— Сейчас Великий пост, как ты прекрасно знаешь. Это самая тяжелая пора в году.

— Симон, а ты что-нибудь делаешь для поста?

— Я стал меньше есть, но это скорее совпадение. На самом деле во время поста я обычно выполняю программу самопознания, стараюсь заглянуть к себе в душу и хоть немного навести в ней порядок. А ты?

— Я разваливаюсь на куски. Все из-за книги. Никто не хочет принимать ее всерьез, и меня это убивает. Это моя жизнь — в гораздо большей степени, чем я предполагал.

— Ты имеешь в виду — твоя автобиография?

— Нет, черт возьми! Я же сказал тебе, что это не какой-нибудь сборник мелочных обид. Это — лучшее, что есть во мне, и если эту книгу не заметят, что останется от меня после смерти? Ты слишком жирен, чтобы понимать, что такое навязчивая идея.

— Прости, Джон. Я не хотел тебя обидеть.

— Это все, что я вынес из невыгодной сделки, называемой жизнью, в скверной дыре, именуемой миром. В этой книге я весь — и корень, и крона. Ты не представляешь, на что я готов пойти, лишь бы ее напечатали.

Он все больше погружался в отчаяние, но инстинкта самосохранения не утратил, поскольку до ухода выклянчил еще две рубашки, несколько пар носков и очередную сотню долларов — все деньги, какие нашлись у меня в столе. Я не хотел бы показаться скрягой, но мне уже надоело выслушивать его романтические духовные страдания и при этом раскошеливаться на его плотские нужды.

Он же зарабатывает. Немного, но на жизнь ему должно хватать. На что же он тратит мои деньги, деньги Холлиера и деньги Марии?

Может, правда наркотики? Но для наркомана он недостаточно плохо выглядит. Выпивка? Он

много пьет, когда выпадает случай напиться за чужой счет, но вообще не похож на пьяницу. Куда же он девает деньги? Я не знал, но мне уже надоело его постоянное попрошайничество.

5

Пост — самое время для самокопания и, быть может, самоуничижения, но, насколько мне известно, не считается подходящим временем для любви. Тем не менее любовь была моим ежедневным спутником, епитимьей, власяницей. Нужно было что-то делать, но что? Симон, гляди на вещи трезво: каким маневром сорокапятилетнему священнику занять позицию, с которой удобно признаться в любви молодой женщине двадцати трех лет? И что она об этом подумает? Симон, ну что она может подумать? Гляди на вещи трезво, идиот.

Но может ли человек, зажатый в тисках навязчивой идеи, смотреть на вещи трезво или хотя бы понять, какие из этих вещей имеют отношение к делу?

Я разработал несколько сценариев и набросал ряд речей — чрезвычайно разумных, но тем не менее полных нежности. Потом, как это часто бывает, все случилось внезапно и — для такой ситуации — даже просто. Мария, как ассистент Холлиера, имела право ужинать с преподавателями в общем зале «Душка». Как-то вечером, в конце

марта, я столкнулся с ней, когда декан только что произнес молитву после еды и все мы двинулись пить кофе в зал профессуры. Точнее, я собирался пить кофе и спросил Марию, не принести ли и ей тоже. Она ответила, что кофе «Душка» не совсем то, что ей нужно в данный момент. Я увидел возможность и не преминул ею воспользоваться:

— Если вы готовы пройтись со мной до Плоурайта, я сварю вам хороший кофе. Могу и коньяку налить, если хотите.

— Очень хочу.

Через пять минут она уже помогала мне, точнее, наблюдала, как я ставлю маленькую венскую кофеварку на электроплитку. Через пятнадцать минут я уже признался в любви и гораздо более связно, чем ожидал, изложил концепцию Софии (которую Мария, как медиевист, уже знала) и то, что она, Мария, — моя София. Она умолкла и молчала, как мне показалось, очень долго.

— Это самое лестное, что я слышала за всю свою жизнь, — наконец произнесла она.

— Значит, вам эта идея не кажется смешной?

— Смешной? Ни в коем случае. Как вы могли подумать, что смешны?

— Мужчина моего возраста, влюбленный в женщину вашего возраста, безусловно, может

показаться смешным.

— Но вы же не какой-нибудь абстрактный мужчина вашего возраста. Вы прекрасны. Я восхищаюсь вами с самого первого занятия.

— Мария, не дразните меня. Я знаю, что я такое. Я мужчина средних лет и совсем нехорош собой.

— О, это! Я назвала вас прекрасным за прекрасную душу, за восхитительную любовь к своему предмету. Кого волнует ваша внешность? Ох нет, это прозвучало очень грубо. Ваша внешность в точности подходит к вашей сути. Но внешность ведь не имеет значения, правда?

— Как вы можете это говорить? Вы же такая красивая.

— Вы бы по-другому на это взглянули, если бы ваша внешность привлекала столько же внимания, сколько моя, и заставляла бы людей думать о вас всякие глупости.

— Неужели мысли, которые я вам сейчас открыл, показались вам глупостями?

— Нет, нет. Я совсем не то имела в виду. Ваши слова, исходящие именно от вас, — величайший комплимент в моей жизни.

— Так что нам теперь делать? Осмелюсь ли я спросить, любите ли вы меня?

— Да, конечно, я вас люблю. Но, боюсь, совсем

не той любовью, о которой говорили вы.

— Значит?..

— Я должна очень тщательно продумывать свои слова. Я люблю вас, но я никогда не перейду с вами на «ты». Я люблю вас за то, что вы помогаете мне постигать вещи, которых я не понимала раньше или понимала не так. Я люблю вас за то, что вы сделали ученость основным источником жизненной силы, а она сделала вас особенным человеком. Вы как огонь: вы меня согреваете.

— Так что нам теперь делать?

— А нам обязательно что-то делать? Мне кажется, мы уже что-то делаем. Если я для вас София, тогда что такое вы для меня?

— Я не очень понимаю. Вы говорите, что любите меня и что я для вас нечто важное. Значит, мы можем любить друг друга?

— Но мы уже любим друг друга.

— Нет, я имею в виду — по-другому. Полностью.

— Вы говорите про любовную связь? Постель и все такое?

— А это исключено?

— Нет, но я думаю, что это будет большая ошибка.

— О Мария, вы уверены? Смотрите, вы ведь

знаете, что я такое: я священник. Я не прошу вас стать моей любовницей. Это было бы мелко.

— Ну уж замуж за вас я точно не пойду!

— Вы хотите сказать, что это совершенно исключено?

— Абсолютно.

— Увы. Но я не могу делать вам непристойных предложений. Не думайте, что это ханжество…

— Нет, нет, я прекрасно понимаю. «Ведь если бы я предал честь, я предал бы тебя».[106]

— Не только честь. Можно сказать и так, но это нечто большее. Я иерей вовек, по чину Мелхиседекову.[107] Это связывает меня определенными правилами, не допускающими двойных толкований. Если я сойдусь с вами, не дав обета перед алтарем, я скоро превращусь в человека, которого вы будете презирать: в священника-отступника. Я согрешу не пьянством, развратом или чем-то иным относительно простым и, может быть, простительным: я стану клятвопреступником. Понимаете?

— Да, прекрасно понимаю. Вы нарушили бы

---

[106] Примечания и комментарии: 106

«Ведь если бы я предал честь, я предал бы тебя». — Из стихотворения Ричарда Лавлейса «Лукасте, уходя на войну». Пер. М. Бородицкой.

[107] Примечания и комментарии: 107

…иерей вовек, по чину Мелхиседекову. — Псалтырь, 109: 4.

клятву, данную Богу.

— Да. Вы понимаете. Спасибо вам.

— Я уверена, что вы со мной согласитесь: я бы очень странно выглядела в качестве жены священника. И… простите меня, Симон… мне кажется, вам не жена нужна. Вам нужно кого-нибудь любить. Разве вы не можете меня любить, не втягивая в это совершенно посторонние вещи — брак, постель и все прочее, что, по-моему, не имеет ни малейшего отношения к предмету нашего разговора?

— Вы очень требовательны! Вы что, совсем не знаете мужчин?

— Почти совсем не знаю. Зато я хорошо знаю вас.

Слова будто сами вырвались, и я тут же пожалел о сказанном, но ревность оказалась быстрее меня:

— Не так хорошо, как Холлиера!

Она побледнела, отчего ее лицо приняло оливковый оттенок.

— Кто вам сказал? Хотя можно не спрашивать: он сам, конечно.

— Мария! Мария, верьте мне, это совсем не то, что вы думаете! Он не хвалился и не проболтался по глупости: он был несчастен и рассказал мне,

потому что я священник, а я не имел права даже заикаться об этом в разговоре с вами!

— Это правда?

— Клянусь.

— Тогда слушайте меня, потому что я скажу вам правду. Я люблю Холлиера. Я люблю его так же, как вас, — за то, что вы прекрасны в своем собственном прекрасном мире. Я как последняя дура хотела Холлиера в том смысле, о котором говорили вы. Я не знаю и никогда не узнаю, почему это случилось, — потому ли, что я хотела его, или потому, что он хотел меня. Но это была огромная ошибка. Из-за этой глупости, которая не принесла мне ни черта хорошего, между мной и Холлиером встала некая преграда и я чуть его не потеряла. Думаете, я хочу, чтобы это повторилось с вами? Неужели все мужчины — жадные дураки и думают, что не бывает любви без этой особой уступки?

— Мир считает, что это — венец любви.

— Ну так миру еще многое предстоит узнать. Симон, вы назвали меня Софией: Божественной Мудростью, напарницей и соратницей Бога в Сотворении мира. А теперь я вас, может быть, удивлю: я согласна, что я — ваша София, и готова быть ею, пока вы сами того желаете, но я еще и

своя собственная Мария. И если мы с вами ляжем в постель, может быть, ляжет туда София, но встанет оттуда Мария, и не лучшая ее часть, а София исчезнет навеки. А вы, Симон, дорогой мой, ляжете со мной в постель как мой мятежный ангел, но очень скоро превратитесь в полноватого англиканского священника, и мятежным ангелом вам больше не бывать.

— Мятежным ангелом?

— Неужели теперь я могу вас кое-чему научить — после этого совершенно ненаучного разговора? О Симон, неужели вы не помните про мятежных ангелов? Это были настоящие ангелы, Шемхазай и Азазель, они выдали небесные тайны царю Соломону, и Бог прогнал их с неба. И что же, они надулись и стали строить планы мести? Ничего подобного! Они не были злопамятными эгоистами вроде Люцифера. Вместо этого они подсадили человечество на ступеньку выше по лестнице прогресса: пришли на Землю, и научили людей языкам, целительству, законам и гигиене — всему научили, и имели особый успех у «дочерей человеческих». Это замечательный апокриф, и я думала, что вы его знаете, потому что это же объясняет, как появились университеты! Бог в этих историях предстает в не очень

приятном свете, правда? Иов вынужден был сказать Ему пару ласковых за несправедливость и капризы, а мятежные ангелы показали Ему, что прятать все знание и мудрость для единоличного пользования — чистый эгоизм. Для меня это — доказательство, что мы еще сможем цивилизовать Бога. Так что, Симон, милый, пожалуйста, не отнимайте у меня мятежного ангела, не становитесь обыкновенным земным любовником. А я не буду отнимать у вас Софию. Вы и Холлиер — мои мятежные ангелы, но, раз я рассказала вам первому, вы можете выбрать, кем хотите быть: Шемхазаем или Азазелем.

— Конечно Шемхазаем! Азазель для меня слишком легкомыслен.

— Симон, вы такой хороший!

Мы проговорили еще час, но не сказали ничего такого, что не было бы в той или иной форме сказано раньше. И когда мы расстались, я действительно поцеловал Марию — не как обычный любовник или обрученный жених, но в духе, какого я не знал прежде.

С того званого ужина в «день подарков» я пол-

ной мерой испил слез сирены[108] и теперь, к своей ликующей радости, понимал, что испытание, кажется, окончено. Я спал сном младенца и на следующий день встал с ощущением несказанной легкости.

[108] Примечания и комментарии: 108

…полной мерой испил слез сирены… — Аллюзия на шекспировский сонет 119. В сонете говорится о разрушенной и возрожденной любви, которая после возрождения становится еще прекраснее, сильнее и богаче.

6

— Алло! Алло! Это преподобный Даркур? Слушайте, я насчет этого, Парлабейна. Он помер. Лежит мертвый в кровати, и свет горит. Тут письмо, в нем сказано — вас позвать. Так вы придете, э? Потому что чего-то надо делать. Не могу ж я сама с этим разбираться.

Таким звонком разбудила меня хозяйка меблированных комнат, где жил Парлабейн, в шесть часов утра пасхального воскресенья. Судя по голосу, она принадлежала к традиционному племени затюканных, постоянно чем-то возмущенных хозяек меблированных комнат. Врачей и приходских священников не удивишь срочными вызовами, но большинство из них не настолько срочны, чтобы бежать неодетым и не выпить хотя бы растворимого кофе. Врачи и священники — авторитетные фигуры и обязаны явиться на место очередной человеческой катастрофы, какова бы она ни была, собранными и в приличном виде. Меблированные комнаты, где жил Парлабейн, располагались недалеко от университета, и вскоре я уже поднимался по лестнице под взволнованный, сердитый монолог

миссис Мастард. Она рано встала, чтобы пойти на семичасовую службу в церковь, увидела свет под дверью Парлабейна, а как она завсегда говорит, чтоб не тратил зря электричество, то и пошла постучать, а он никак не просыпался, так что она вошла… думала, может, он опять дрыхнет пьяный, как это с ним часто бывает, — а еще притворялся каким-то там монахом, — а он там лежал вроде как с улыбкой на лице, и никак его было не растолкать, и весь холодный… нет, врача она не вызывала и уж точно не хочет никаких неприятностей.

Покойный, облаченный в монашескую рясу, лежал на узкой железной койке в скромной комнатке, в которой умудрился навести несвойственный ей от природы мерзостный хаос. Руки покойного сжимали монастырский часослов. Лицо было удовлетворенное, но без улыбки; мертвые не улыбаются, пока над ними не поработает искусный бальзамировщик. На столе, прислоненное к чему-то, стояло письмо: на конверте значились мое имя и телефон.

Самоубийство, подумал я. Не могу сказать, что мне удалось подбодрить миссис Мастард, но я успокоил ее как мог, а потом позвонил врачу, которого мы с Парлабейном знали еще по колледжу,

и попросил его прийти. Он пришел минут через двадцать, также полностью одетый и отчетливо пахнущий растворимым кофе. Какое счастье для священников и врачей, что на свете есть растворимый кофе!

В ожидании врача я успел прочитать письмо и избавился от миссис Мастард — вежливо попросил ее сварить кофе: желательно не растворимый, сказал я, чтобы убрать ее с дороги на как можно более долгий срок.

Письмо было типичным для Парлабейна.

> Дорогой старина Симон!
>
> Прости, что пришлось тебя дернуть, но кому-то надо подтереть за мной, а у тебя, в конце концов, работа такая. От Ля Мастард ничего особенного ожидать не приходится, тем более что я ей довольно много должен за квартиру. Этот долг и все прочие мои долги следует погасить из аванса, который вот-вот заплатят за мой роман. Думаешь, нет? Как тебе не стыдно сомневаться! А пока что — я от всей души желаю получить христианское погребение, так что прибавь, пожалуйста, это одолжение к длинному списку прочих

своих одолжений — уложи Джонни в постельку, как часто бывало в наши юные годы в «Душке»... правда, ты так ни разу и не рискнул составить Джонни компанию в этой постельке, трусишка! Господь да благословит тебя, Симон.

Твой брат во Х.

Джон Парлабейн, из Ордена священной миссии

Пришел врач, и у меня сильно полегчало на душе. Он осмотрел тело и сказал, что Парлабейн мертв (это было и так ясно), но причина смерти неизвестна (это меня удивило).

— Никаких признаков, — объяснил врач. — Он умер, потому что сердце перестало биться, и ничего иного я не могу написать в свидетельстве о смерти. Остановка сердца. На самом деле именно от этого и умирают все люди.

— Ты не подозреваешь, что он сам это сделал?

— Никаких подозрений. Я заподозрил нечто в этом роде, когда ты позвонил. Но я не могу найти никаких признаков — ни следа от укола, ни какой-либо иной метки. Ни следов яда — а обычно всегда что-нибудь бывает. У него такой довольный вид — не может быть, чтобы он перед

смертью страдал. Если честно, я ожидал, что это самоубийство.

— Я тоже, но я рад, что это не так.

— Да, а то ты оказался бы в хорошеньком положении, верно?

Таким образом мой друг-доктор выразил распространенное убеждение, что священникам моей конфессии запрещено хоронить самоубийц по-христиански. На самом деле нам предоставляется большая свобода в решении таких вопросов, и милосердие обычно одерживает верх.

Я сделал все необходимое, добавив работы к своему пасхальному воскресенью, и без того перегруженному делами. Квартирная хозяйка устроила небольшой, но неподобающий скандал: она не соглашалась отдать тело для погребения, пока кто-нибудь не оплатит долг покойного. Так что я заплатил, думая про себя: интересно, сколько времени она продержалась бы, если бы я позволил ей оставить у себя тело Парлабейна в его нынешнем состоянии? Бедная женщина; должно быть, у нее подлинно собачья жизнь, отчего она стала сварливой, но принимает эту сварливость за силу духа.

Назавтра, в понедельник Светлой седмицы, я отпел Парлабейна в часовне Святого Иакова

Младшего, расположенной в удобной близости к крематорию. Я ждал, не придет ли кто-нибудь на отпевание, и размышлял о том, что мне предстоит. Вот я стою в рясе, стихаре и епитрахили: профессиональный диспетчер, отправляющий людей в последний путь. Насколько я верю в то, что сейчас буду произносить? Насколько в это верил Парлабейн? Например, в телесное воскресение? Впрочем, нет смысла из-за этого переживать: Парлабейн просил христианского погребения и должен его получить. Погребальная служба очень красива — а красивую музыку нельзя изучать, как будто это страховой полис.

Кроме меня, пришли только Холлиер и Мария. Владелец похоронного бюро, обманутый рясой Парлабейна, положил его головой к алтарю; я решил ничего не менять. Я уже объяснил владельцу похоронного бюро, что покойному не нужно нижнее белье: Парлабейн умер в рясе на голое тело, и именно в таком виде я собирался отправить его в огонь крематория. Я не хотел заработать репутацию эксцентричного человека, требуя дальнейших нарушений приличия.

Служба шла в узком кругу, и, когда настало время, я сказал:

— В этот момент священник обычно произно-

сит речь о покойном, чью смертную оболочку отправляет в последний путь. Но нас тут мало, и все мы — друзья покойного, так что я предлагаю нам всем поговорить о нем. Я считаю его человеком, достойным жалости, но он презрительно отверг бы мою жалость — у него был гордый, мятежный дух. Он просил меня похоронить его по-христиански, и потому мы здесь. Он в своеобычной манере выражал свою любовь к христианству, но, кажется, презирал большинство Писаний, которыми принято дорожить у христиан. В нем словно боролись гордыня и вера; он понятия не имел о смирении. Честно сказать, я не знаю, что о нем думать; мне кажется, он меня презирал, и его последнее письмо, обращенное ко мне, с виду шутливое, на самом деле пронизано презрением. Моя вера требует, чтобы я его простил, и я его прощаю; он просил христианского погребения, и я никак не могу ему в этом отказать. К сожалению, я не могу от чистого сердца сказать, что он мне нравился.

— Он старательно делал все, чтобы его невозможно было любить, — сказала Мария. — Несмотря на все его улыбки, дружеские шутки и ласковые словечки, он всех глубоко презирал.

— Мне он нравился, — сказал Холлиер. — Прав-

да, я знал его намного лучше, чем любой из вас. Надо думать, я видел в нем одну из своих любимых культурных окаменелостей: прошли те времена, когда люди могли, не стесняясь, хвалиться перед другими своим высоким интеллектом. Мы сейчас лицемерим на этот счет. Но Парлабейн не лицемерил: он считал нас тупицами, а меня, я не сомневаюсь, — жуликом от науки. В этом он был пережитком великих дней Парацельса и Корнелия Агриппы, да и Рабле тоже. Тогда люди, которые много знали, затейливо насмехались над всеми, кого считали ниже себя с интеллектуальной точки зрения. В Парлабейне было что-то освежающее. Жаль, что его роман так плох: на самом деле он, с начала и до конца, одна сплошная насмешка, что бы ни думал о нем автор.

— Он, кажется, умер в твердой уверенности, что роман увидит свет, — сказал я. — В предсмертном письме он распорядился выплатить его долги за счет аванса от издателя.

— Не верьте, — сказал Холлиер. — Он просто не мог признать, что жил нахлебником, хоть и знал, что это правда. И, кстати говоря, пока я не забыл — Симон, кто платит за погребение?

— Я, надо полагать.

— Нет, нет, — сказал Холлиер. — Я тоже поучаствую. С какой стати вы должны платить за все?

— Конечно, так было при его жизни, и так должно быть до самого конца, — сказала Мария. — На момент смерти он был должен мне чуть меньше девятисот долларов. Еще сотня меня не разорит.

— О, там не должно быть такой суммы, — сказал я. — Я договорился, все выйдет очень дешево. Включая стоимость похорон, и то, что он задолжал хозяйке дома, и еще разное по мелочи, надо полагать, на каждого из нас придется… Мария, вы оказались ближе, чем я думал: выйдет больше чем по двести долларов с каждого… О боже, это совершенно неприлично. Я думал, мы тут будем серьезно и с любовью вспоминать покойного, а мы торгуемся из-за его долгов.

— Так ему и надо, — сказал Холлиер. — Если он сейчас где-то рядом, он, должно быть, сейчас лопнет от смеха.

— Он мог оставить такое же завещание, как Рабле, — сказала Мария. — «Я много должен, ничего не имею, а разницу завещаю бедным».

Она засмеялась.

Мы с Холлиером поймали от нее смешинку и принялись громко хохотать. Сотрудник похоронного бюро высунулся в алтарную часть из

маленькой комнатки, где скрывался до поры, и кашлянул. Я понял его сигнал: Парлабейна нужно убрать в крематорий до обеденного перерыва.

— Помолимся же, — сказал я.

— Да, — отозвался Холлиер. — А потом — очищающий огонь.

Мы снова расхохотались. Сотрудник похоронного бюро наверняка видел множество странных похорон, но наше поведение его явно шокировало. Впервые в жизни я смеялся, читая молитву на предание тела земле. Я проследил за отправкой гроба, и мы трое снова встретились на улице. Мне не нужно было идти обратно, чтобы присутствовать при кремации.

— Самые приятные похороны в моей жизни, — сказал Холлиер.

— Я чувствую облегчение, — сказала Мария. — Наверное, мне должно быть стыдно… впрочем, нет, не должно быть. В последнее время он стал для меня ужасным бременем, а теперь я освободилась.

— Может, пойдем пообедаем? — предложил я. — Позвольте мне заплатить. Я очень благодарен, что вы пришли.

— Ни в коем случае, — сказал Холлиер. — В конце концов, вы все устроили и сами провели

отпевание. Вы сделали достаточно.

— Я пойду, только если вы мне позволите заплатить за обед, — сказала Мария. — Если вам нужна причина — считайте, это потому, что я рада больше вас обоих. Я освободилась от него навсегда.

Мы согласились, и Мария заплатила за обед, который затянулся до трех часов дня. Мы все получили огромное удовольствие от того, что назвали поминками по Парлабейну. По пути в университет, где никто из нас сегодня еще не был, мы заметили, что флаг на главной площади университетского городка приспущен. Нас не заинтересовало почему: в большом университете постоянно скорбят о смерти того или иного достойного деятеля.

Второй рай VI

1

Февраль. Безусловно, кризисный месяц в университете — да, должно быть, и везде, где царит канадская зима. Кризис бушевал и в гостиной у мамуси, где Холлиер уже битый час ходил вокруг да около своей одержимости Эркхартом Макваришем и рукописью Грифиуса, но так и не мог взглянуть фактам в лицо. В комнате было темнее, чем можно было ожидать от пяти часов февральского вечера. Я старалась не высовываться и смотрела, смотрела… и боялась, боялась.

— Холлиер, почему вы не скажете, чего вам надо? Почему не говорите, что у вас на уме? Думаете меня провести? Вы все болтаете и болтаете, но ваше желание кричит громче слов. Слушайте. Вы хотите купить у меня проклятие. Вот чего вы хотите. Скажете, нет?

— Мне трудно объяснить, мадам Лаутаро.

— Зато понять нетрудно. Вы хотите эти письма, эту книгу, что у вас там. Она у того, другого, и он вас дразнит, потому что вы не можете до нее добраться. Вы хотите заполучить эту книгу. И отомстить ему.

— В интересах науки…

— Да, вы уже говорили. Вы думаете, что можете сделать с этой книгой то, что там надо с ней сделать, лучше, чем он. Но самое главное, вы хотите сделать это первым. Нет?

— Ну, если формулировать в лоб, то, я полагаю, вы правы.

— А почему же не в лоб? Слушайте: вы приходите, льстите мне, называете меня *пхури дай* и рассказываете длинную историю про этого врага, который превратил вашу жизнь в ад. И вы думаете, я не знаю, чего вам надо? Вы сказали, что я стану вашей коллегой и приму участие в захватывающем эксперименте. На самом деле я должна стать для вас *чохани* — колдуньей, что наводит проклятие. Вы говорите о мире тьмы, об этих… как его… хтонических силах и вообще болтаете по-профессорски, но на самом деле вы имеете в виду магию, разве не так? Потому что вы попали в положение, где красивые, важные профессорские слова не помогают. И вы думаете, что вам поможет старая черная магия. Но вы боитесь открыться и попросить прямо. Я права?

— Мадам, я не глуп. Я двадцать лет ходил кругами около вещей, о которых мы сейчас говорим. Я исследовал их самыми лучшими, самыми объективными способами, возможными в научном

мире. Но я не уверовал в них полностью. Конечно, проблема, которая сейчас передо мной стоит, заставляет меня смотреть в этом направлении, и вы правы — я хочу использовать особые средства, чтобы получить нужное, и если это значит причинить вред моему сопернику по науке, видимо, это неизбежно. Но не надо упрощать, говоря со мной о магии. Я знаю, что она такое, то есть я знаю, что она такое в моих представлениях. Магия… я терпеть не могу это слово из-за того, что оно значит в наши дни, ну да ладно… так вот, настоящая магия может существовать только там, где есть очень сильное чувство. Магия невозможна для скептического ума — ее нельзя призывать, держа фигу в кармане, если можно так выразиться. Нужно желать всем сердцем и нужно верить. Вы хотя бы представляете, как это трудно человеку моего времени, с моим образованием и темпераментом? Вы, на глубочайшем уровне своего бытия, живете в Средневековье, и магия дается вам легко… не скажу «логично». Но для меня она — предмет изучения, психологический, но не обязательно объективный факт. Просто вещь, в которую люди всегда верили, но которую так никто и не доказал. У меня никогда не было случая самому провести эксперимент,

потому что мне недоставало нужного — желания и веры… Но сейчас впервые в жизни — в самый, самый первый раз — я отчаянно желаю. Я хочу заполучить эту рукопись. Хочу настолько сильно, что готов пойти на многое. Мне случалось раньше хотеть — научных премий и всякого такого, — но никогда так сильно.

— Вы никогда не хотели женщину?

— Не так сильно, как я хочу эту рукопись. Наверно, вообще не очень-то хотел. Подобные вещи для меня мало значат.

— Значит, первая великая страсть вашей жизни коренится в ненависти и зависти? Подумайте, Холлиер.

— Вы все упрощаете, чтобы меня унизить.

— Нет, чтобы вы взглянули себе в лицо. Ну хорошо, желание у вас есть. Но вы не можете заставить себя признаться, что у вас есть и вера.

— Вы не понимаете. Вся моя научная подготовка направлена на то, чтобы не принимать на веру — чтобы исследовать, экспериментировать, пробовать, испытывать.

— Значит, вы хотите ради эксперимента проклясть своего врага.

— Я не говорил о проклятии.

— Словами не говорили. Но мои старомодные

уши, извещающие мой старомодный мозг, могут и обойтись без этого старомодного слова. Вы не можете произнести его вслух, потому что хотите оставить себе лазейку. Если оно сработает — и хорошо, а если не сработает, то все это было цыганское шарлатанство и великий профессор, современный человек, по-прежнему на коне. Послушайте меня. Вы хотите эту книгу. Ну так наймите вора, чтобы он ее украл. Я могу вас свести с очень хорошим, ловким вором.

— Да… я об этом думал. Но…

— Но если вы ее украдете, а потом напишете о ней, ваш враг будет знать, что это вы ее украли. Верно?

— Да, это приходило мне в голову.

— Ха! Приходило вам в голову! Значит, давайте смотреть фактам в лицо, как вы уже сделали в сердце своем, но не желаете признаться в этом мне или даже самому себе: если вы хотите заполучить эту книгу или что у вас там и спокойно ее использовать, то человек, у которого она сейчас, должен быть мертв. Вы готовы пожелать человеку смерти, профессор?

— Каждый день тысячи людей желают смерти другим людям.

— Да, но всерьез ли? Действительно ли они

убили бы своих врагов, будь у них такая возможность? Ну ладно: почему вы не хотите сделать так, чтобы его убили? Я не найду для вас убийцу, но Ерко может подсказать, где искать.

— Мадам, я сюда не затем пришел, чтобы нанимать воров и убийц.

— Нет, вы для этого слишком умны, слишком современны. Вдруг вашего убийцу поймают? Наемники часто неуклюжи, совершают ошибки. Если он скажет: «Меня нанял профессор», то вы в беде. Но если вас найдут и вы скажете: «Я заплатил старой цыганке, чтобы она прокляла его», судья только посмеется и погрозит вам пальцем за шуточки. Вы умный человек, Холлиер.

— А вы держите меня за дурака.

— Потому что вы мне нравитесь. Вы слишком хороший человек, чтобы вот так вести себя. Вам повезло, что вы пришли ко мне. Но почему вы пришли?

— На Рождество вы гадали мне на картах Таро, и все это сбылось. Одержимость и ненависть, о которых вы говорили, стали ужасной реальностью.

— И они теперь навлекают беду на вас и на кого-то рядом с вами. Кто это?

— Я и забыл об этом. Не знаю, кто это может быть.

— Я знаю. Это моя дочь Мария.

— Ах да, конечно. Мария должна была работать над этой рукописью вместе со мной.

— Что еще насчет Марии?

— Ну, это все. Что еще может быть?

— Боже мой, Холлиер, вы глупец. Я прекрасно помню ваше гадание. Кто этот Паж Монет, слуга с письмом?

— Не знаю. Он еще не появился. Но фигура в вашем гадании, которая привела меня обратно к вам, — это Луна, переменчивая женщина, предупреждающая об опасности. Кто это может быть, как не вы? Вот я и пришел к вам за советом.

— Вы хорошо разглядели ту карту? Луна плывет высоко в небе; она и Старуха, полная луна, и Дева, молодая луна, и ни одна из них не обращает внимания на волка и пса, лающих снизу, с земли. А в самом низу карты, под землей, помните? Там сидит Рак, это земной дух, управляющий темной стороной всего, что видит Луна. Рак означает много плохих вещей — месть, ненависть, самоуничтожение. Потому что он пожирает, понимаете? Потому и пожирающая человека болезнь носит то же имя. Когда я вижу карту с Луной, я всегда знаю: может случиться что-то плохое из-за мести и пожирающей ненависти и

они могут погубить человека, которому я гадаю. А теперь слушайте меня, Холлиер, то, что я сейчас скажу, вам не понравится, но я надеюсь помочь вам, сказав правду… Вы уже больше часа намекаете мне, что я могу — так, для пробы, шутки ради, чтобы посмотреть, что выйдет, — испытать на вашем враге одно из старых цыганских заклятий. Каких это заклятий? Вы знаете хоть одно? Вы говорите так, будто знаете о цыганах больше моего. Я знаю от силы сотню цыган, и большинство из них мертвы — убиты людьми вроде вас, которым нужно быть современными, всегда правыми. Все эти заклятия лишь средство для концентрации чувства… Но проклятие? Для него нужно самое сильное чувство. Что будет, если вы купите у меня проклятие? У меня нет ненависти к вашему врагу, он для меня ничто. Значит, чтобы проклясть его, я должна быть близка с *Великим Неназываемым* — иначе и меня ждет что-то страшное. Потому что *Великое Неназываемое* очень, очень ужасно. *Оно* занимается не миленьким правосудием цивилизованных людей, а мировым Равновесием, которому на людей плевать: оно может показаться человеку ужасным и злым. Вы понимаете? Когда мировое Равновесие решает, что пора уравнять чаши

весов, происходят ужасные вещи. Многое из того, что мы не понимаем, — это проявления мирового Равновесия. Мы притягиваем к себе подобное нам, понимаете, Холлиер? Мы получаем собаку или скрипку, которая подходит нам больше всего, даже если она нам не нравится. А если мы чересчур возносимся, Равновесие без особых церемоний тычет нас носом в нашу слабость. А *Великое Неназываемое* — бог Равновесия, и если я вызову проклятие ради вашего блага, то, поверьте, нужно будет задобрить Равновесие, иначе я окажусь в большой беде. Я не хочу влезать в долги перед *Великим Неназываемым,* чтобы сделать вам одолжение, Холлиер. Я не хочу призывать *Его — оттуда, снизу,* из тьмы, где обитает Рак, командующий всеми созданиями тьмы, духами самоубийц и всеми ужасными силами, — только затем, чтобы заполучить для вас какую-то старую книгу. И знаете, что меня больше всего пугает в нашем разговоре? Легкомыслие, с которым вы просите меня о подобной вещи. Вы сами не знаете, что делаете. Вы обладаете чудовищным легкомыслием современного образованного ума.

Холлиеру совсем не нравилось то, что она говорит. Все это время его лицо темнело, пока наконец не приняло оттенок, про который говорят

«почернел лицом». Оно налилось кровью изнутри. Он взглянул в глаза мамусе, и вся разумная, профессорская манера, с которой он держался на протяжении часа, слетела с него. Он выглядел ужасно — таким я его еще никогда не видела, и голос его звучал сдавленно от сильных чувств.

— Я не легкомыслен. Вы не понимаете, что я такое, потому что ничего не знаете о страсти интеллекта…

— О гордыне. Называйте вещи своими именами.

— Молчать! Вы сказали все, что хотели, а именно — «Нет». Хорошо, не надо больше ничего говорить. Будь по-вашему. Идя сюда, я надеялся как-то убедить вас использовать свои силы, чтобы помочь мне. Я считал вас *пхури дай* и своим другом. Теперь я знаю, чего стоит ваша дружба, и пересмотрел свои представления о вашей мудрости. Я ничего не потерял, придя сюда. Всего хорошего.

— Холлиер, погодите! Вы не понимаете, в какой вы опасности! Вы не поняли, о чем я говорила! Действие проклятия основано на чувстве. Если я скажу *Великому Неназываемому:* «Мой друг очень хочет того-то и того-то, что Ты можешь для него сделать?» — я буду лишь вашим вестником.

Чтобы стать вестником, нужна вера. Я вам не нужна для того, чтобы наложить проклятие: вы уже прокляли своего врага в сердце своем и связались с *Великим Неназываемым* без моей помощи. Поймите, я боюсь за вас! Мне приходилось видеть ужасную ненависть, но ни разу — у человека, который ведет себя так глупо.

— Теперь вы утверждаете, что я могу обойтись и без вас?

— Да, потому что вы меня до этого довели.

— Тогда послушайте меня, мадам Лаутаро! Сегодня вы сделали для меня великую вещь. Теперь я знаю, что у меня есть не только чувство, но и вера. Я верю! Да! Я *верю!*

— О боже! Холлиер, друг мой, я страшно боюсь за вас! Мария, отвези профессора домой — да смотри, будь очень осторожна за рулем!

Я не произнесла ни слова во все время, пока везла Холлиера к воротам «Душка». Я не произнесла ни слова и за целый час его гневной перепалки с мамусей, хотя жуткое чувство, которое накапливалось в этой комнате, как яд, привело меня в ужас. Что я могла сказать? Выйдя из машины, он так сильно хлопнул дверцей, что я испугалась — не отвалится ли она.

2

На следующий день Холлиер казался спокойным и ничего не говорил о своей ссоре с мамусей. Судя по внешнему виду, на него эта ссора повлияла гораздо меньше, чем на меня. Я вынуждена была пересмотреть свои отношения с самой собой. Я боролась, как могла, за освобождение от мира моей матери, который виделся мне миром суеверий, но была вынуждена признать, что мне не под силу полностью освободиться. И в самом деле, я смягчила свою точку зрения на суеверие, которой придерживалась лет с двенадцати, с тех самых пор, когда впервые поняла, какое двусмысленное место в мире оно занимает.

Все, кого я знала в школе, очень плохо относились к суевериям, но достаточно было понаблюдать, чтобы заметить у каждого какие-нибудь иррациональные предрассудки. Если некоторые монахини особо почитают определенных святых, чем они отличаются от девочек, которые гадают, чтобы узнать, нравятся ли они *тому* мальчику? Почему можно подкупить Антония Падуанского, поставив ему свечку, чтобы он помог найти потерянные очки, но нельзя подкупить Маленький

Цветок,[109] чтобы она помешала сестре Доминике выяснить, что я не сделала домашнее задание? Вслух я презирала суеверия — так же громко, как все, — а втайне предавалась им, как и все мои подруги. Нас учили, что душа по природе своей христианка, но я открыла, что она вдобавок по природе суеверна.

Я думаю, что именно эта двойственность мышления привлекла меня к работе Холлиера — поиску свидетельств былых верований и скрытой мудрости. Как многие студенты, я искала чего-то такого, что придало бы вещественность жизни, которая у меня уже была, точнее говоря, жизни, которая владела мной. Я была счастлива и польщена, что Холлиер принял меня в подмастерья и допустил к высокоученому ковырянию на свалке якобы отмерших верований. Особенно меня радовало, что университет признает это занятие научным подходом к истории культуры.

Но то, что творилось вокруг меня сейчас, пугающе близко подходило к сердцевине настоящих суеверий. Я боялась признать, что вещи, которые

---

[109] Примечания и комментарии: 109

Маленький Цветок — святая Тереза из Лизьё, святая Тереза Малая, в миру Тереза Мартен (1873–1897), католическая святая, кармелитская монахиня, одна из трех женщин, удостоенных титула «Учитель Церкви».

я считала суеверной чепухой, на самом деле играют какую-то роль в нашей жизни. Я видела, что нагаданное мамусей проявилось в жизни Холлиера — а потому и в моей тоже — задолго до того, как Холлиер попросил снова привести его к мамусе. Препятствия громоздились на пути, продвижение вперед замедлилось. Кто же злодей? Мне было совершенно ясно, что источник беспокойства — Маквариш, а Холлиер отвечает ему ненавистью — подлинной ненавистью, а не просто неприязнью, вполне обычной между соперниками в научном мире. Если вспомнить древнюю притчу, он, подобно Каину, восстал на ближнего своего: ему не терпелось прибрать к рукам папку Грифиуса. Правда, Холлиер мало что знал о содержании писем, но тем более был уверен в их чрезвычайной важности. Уж не знаю, какой новый свет, по его мнению, они должны были пролить на жизнь Рабле и Парацельса; Холлиер намекал на гностицизм, на какой-то тайный протестантизм, на мистическую алхимию, на лечение травами, на новые прозрения относительно связей тела и души, дополняющие знание, которое так терпеливо искал Ози Фроутс. Кажется, Холлиер ожидал чего угодно и всего сразу — только бы заполучить письма, спрятан-

ные в кармашке кожаной папки! Но Макбариш преграждал ему путь, и Холлиер превратился в Каина Восставшего.

Это, по крайней мере, не было игрой воображения: Эрки намеренно дразнил Холлиера, явно зная, что у него на уме. При встречах — как правило, на собраниях преподавательского состава или, реже, на разных светских мероприятиях — Эрки каждый раз изображал заботу и любезность: «Клем, как работа? Надеюсь, хорошо? Как, удалось в последнее время обнаружить что-нибудь особенное в вашей области? Наверное, практически невозможно раскопать что-то уж совсем новое?»

Достаточно было одной из этих фраз в комплекте с провокационной улыбочкой, и Холлиер начинал хамить, а позже, в разговоре со мной, злился и грубил мне.

Он злился, потому что Даркур не хотел открыто обвинить Эрки и пригрозить ему полицией, но я хорошо понимала, что Даркур не может этого сделать на основании таких шатких улик. Он знал только, что Эрки, по-видимому, одолжил некую рукопись у Корниша, и где эта рукопись находится сейчас — неизвестно. Ученому, чтобы натравить полицию на другого ученого, нужны более веские улики. К тому времени как Холлиер

потребовал отвести его к мамусе, он сильно похудел и стал мрачен, словно питался собственной одержимостью. Жевал собственные кишки, как тот дракон в «Королеве фей».

Когда Холлиер сказал мамусе, что не знает Пажа Монет, неправедного слугу, я не поверила своим ушам. Парлабейн к этому времени стал еще хуже: если до Рождества он просил денег время от времени, то теперь требовал их еженедельно, а иногда и чаще. Он говорил, что деньги нужны на перепечатку романа, но я не верила, потому что он брал любую сумму, от двух до пятидесяти долларов, а выжав деньги из Холлиера, переходил ко мне и требовал дань с меня.

Я сознательно использую слово «требовал», поскольку он не был обычным заемщиком: он говорил достаточно вежливо, но за его словами чувствовалась угроза, хотя что именно за угроза, я так и не выяснила — старалась сделать так, чтобы не представилось случая это выяснить. Он просил настойчиво, и чувствовалось, что отказ грозит не только словесными оскорблениями; казалось, Парлабейну ничего не стоит перейти к физическому насилию. Неужели он бы меня ударил? Я знаю, что да, и это был бы очень сильный удар, потому что Парлабейн был крепок, хоть и

мал ростом. И еще он был очень зол, а его злости я боялась сильнее, чем боли.

Так что я притворялась современной женщиной, действующей по собственному выбору, хоть и неохотно, но под этой поверхностью, совсем неглубоко, пряталась просто женщина, испуганная силой и яростью мужчины. Он выжимал из меня деньги, и я ни разу не достигла той степени гнева, когда человек готов рискнуть, что его ударят, лишь бы прекратить измывательства.

На Холлиера Парлабейн не давил. Это никому не удалось бы. Вместо этого Парлабейн выжимал все возможное из мужской верности старым друзьям-неудачникам; я полагаю, она, по крайней мере частично, коренится в чувстве вины. «Кабы не милость Божия...»[110] и все такое. Он мог, выклянчив десятку у Холлиера, через тридцать секунд уже оказаться во внешней комнате, выжимая еще десятку из меня. Это был потрясающий спектакль.

Роман был для Парлабейна тем же, что бумаги Грифиуса — для Холлиера. Парлабейн таскал с

[110] Примечания и комментарии: 110

«Кабы не милость Божия...» — известные слова английского протестанта, мученика Джона Брэдфорда (1510–1555), сказанные при виде преступника, ведомого на казнь: «Кабы не милость Божия, так шел бы и я».

собой огромные пачки машинописных листов в крепком пластиковом пакете из супермаркета. В книге, наверно, было не меньше тысячи страниц: пакет остался плотно набитым даже после того, как Парлабейн наконец вручил Холлиеру пачку бумаги, сказав, что это почти полный, законченный экземпляр книги. Парлабейн намекал, но так и не сказал прямо, что где-то у какой-то машинистки хранится окончательная версия и эта машинистка делает копии для издателей, а у Парлабейна в сумке — собрание заметок, черновиков и вымаранных фрагментов.

Парлабейн устроил из вручения книги Холлиеру целую церемонию. Но когда он ушел, Холлиер взглянул на текст, отпрянул в ужасе и попросил меня прочитать книгу за него и составить отчет — и, может быть, сформулировать какие-нибудь критические замечания, которые он мог бы выдать за свои. Не знаю, догадывался ли Парлабейн о таком обмане, но я старалась, чтобы он не застал меня за единоборством с этим крысиным гнездом от литературы.

Некоторые машинописные тексты читать не легче, чем написанные от руки плохим почерком, и текст Парлабейна был как раз из таких. Он был напечатан на дешевой желтой бумаге,

которая плохо переносит правку чернилами и карандашом, вычеркивания и особенно хватание руками, неизбежное в работе над книгой. Роман Парлабейна «Не будь другим» представлял собой растрепанную охапку листов с загнутыми углами, неприятных на ощупь, покрытых кругами от чашек и стаканов и к тому же вонючих — захватанных руками человека, сам образ жизни которого вонял.

Я начала читать, хотя мне приходилось выполнять эту работу буквально из-под палки. Роман описывал жизнь молодого человека, изучающего философию в университете — явно нашем, в колледже, который явно был «Душком». Родители молодого человека были тупицы, недостойные такого сына. Юноша участвовал в долгих философских застольях с преподавателями и друзьями, которые изъяснялись словами вроде «телеологический» и «эпистемологический». Кроме того, там были чрезвычайно изящно сформулированные фразы про скептицизм и про то, что вся жизнь — лишь банка с червями. Фигурировал в книге и лучший друг по фамилии Фезерстоун (по-видимому, Холлиер); он был умен ровно настолько, чтобы служить спутником и фоном главному герою, который, конечно, был не кто иной, как

сам Парлабейн. (Имени у главного героя не было, а в тексте он обозначался словами *Он* и *Его,* выделенными курсивом.) Был и еще один приятель, посмешище по имени Билли Понч или Жирный Понч, которому не досталось ни одной хорошей реплики, — несомненно, Даркур. Были сексуальные сцены с девушками — слишком тупыми, чтобы понять, что *Он* за интеллектуальное сокровище: они либо отказывались ложиться с *Ним* в постель, либо соглашались, но не оправдывали ожиданий. Прозрение наступило, когда *Он* отправился в другой университет для продолжения образования и встретил там юношу, подобного греческому богу, — нет, автор не мог отказать себе в использовании этого штампа. И вот с Г. Б. *Он* наконец достиг духовной и физической полноты бытия.

Автор вообще ни в чем не мог себе отказать. Все герои слишком много препирались и слишком мало действовали — даже в описаниях секса. Сексуальные сцены были откровенно скучными, кроме тех, в которых участвовал Г. Б.: те описывались чересчур восторженно, и трудно было понять, что вообще происходит, разве что в самом общем плане, — настолько ученым слогом изъяснялись действующие лица.

Критик современной литературы из меня никакой, в то время все мои мысли занимал Рабле. Но все равно я сомневалась, можно ли отнести творение Парлабейна к современным романам, да и вообще к романам. Скорей его можно было назвать пугающе скучной кашей. Так я и сказала Холлиеру:

— Это его жизнь, хотя и намного скучнее, чем он мне тогда рассказывал в «Обжорке». Все происходящее описывается изнутри и под таким сильным увеличением, что сюжет словно никуда не движется: только трепыхается на месте, как кит, выброшенный на берег.

— И что, даже нет никакой концовки?

— О, концовка есть: после долгой борьбы *Он* нашел Бога, который есть единственная реальность, и вместо того, чтобы презирать мир, *Он* научился его жалеть.

— Очень мило с его стороны. Надо полагать, куча карикатур на современников?

— Я бы их все равно не узнала.

— Конечно, это было еще до вас. Но наверняка там есть узнаваемые люди, которые будут не слишком счастливы, что вскрылись их юношеские похождения.

— Да, там много такого, что шокирует, но все

описывается без разбору и без особого смысла.

— Я думал, он нас всех выведет в этом романе — он всегда легко наживал себе врагов.

— Вы получились не так уж плохо, но с профессором Даркуром он обошелся очень сурово: тот в его исполнении — тупица, который думает, что нашел Бога, но, конечно, это не настоящий философский Бог высокой пробы, какого находит *Он* в своем духовном путешествии. Это лишь мелкий божок для мелких умишек. Но самое странное, что во всей книге нет ни капли юмора. Парлабейн — остроумный собеседник, но, кажется, совершенно не способен взглянуть на себя с юмором.

— Неужели вы этого ожидали? А еще изучаете Рабле! Что у Парлабейна есть, так это остроумие, но не юмор, а остроумие само по себе никогда не обращается внутрь, на своего носителя. Человек обладает остроумием, но юмор — это нечто, обладающее человеком. Я не удивлен, что он вывел нас с Даркуром в черном цвете. Никто так придирчиво не судит старых друзей, как гений-неудачник.

— Во всяком случае, как писатель он точно неудачник. Хотя, конечно, я не специалист.

— Из философов не выходят писатели. Вы читали беллетристику Бертрана Рассела?

О том, чтобы Холлиер сам прочитал книгу, и речи не было. Он был слишком поглощен гневом на Макварриша. В феврале он потребовал, чтобы я отвела его к мамусе, и весь тот ужасный час я держалась в тени. Признания, которые мамусе удалось вытащить у Холлиера, привели меня в ужас. Я совершенно не ожидала, что он попросит у нее проклятие. Я полагаю, это свидетельство моей глупости: я сама читала и даже писала о таких вещах вместе с Холлиером, под его руководством, как о части прошлого, которое мы изучали. Но мне никогда не приходило в голову, что он может схватиться за что-то из этого далекого прошлого — во всяком случае, мне казалось, что это принадлежит далекому прошлому, — чтобы отомстить своему сопернику. Мамусей я восхищалась, как никогда: я гордилась ее суровым спокойствием, ее здравым смыслом. Но Холлиер преобразился. Кто теперь был носителем дикой души?

С того дня он ни разу не упомянул при мне обо всем этом деле.

В отличие от мамуси.

— Вот ты на Рождество сердилась на меня за мой маленький план, — сказала она, — а теперь сама видишь, как хорошо все сложилось. Бедный Холлиер — сумасшедший. Он попадет в большую

беду. Совсем не годится в мужья моей дочери. Это рука судьбы перенаправила чашку кофе к священнику Даркуру. Он тебе еще ничего не говорил?

3

Говорил ли мне что-нибудь Даркур? Легко мамусе разглагольствовать о судьбе, как будто мамуся — ее пособница и орудие; мамуся, без сомнения, верила в свой мерзкий любовный напиток из молотых яблочных семечек и моей менструальной крови; мамуся принимала за данность силу этого снадобья, точно так же как Ози Фроутс — принципы научной методологии. Но я не могла признать возможность прямой связи между действиями мамуси и отношением ко мне, которое я начала улавливать у Даркура: это означало бы отвергнуть современный мир и признать либо фактор постоянных совпадений в повседневной жизни — а такие взгляды я презирала как подлинно современный человек, — либо то, что некоторые вещи случаются параллельно, словно идут по параллельным путям и время от времени освещают друг друга вспышками ослепительного света, как порою поезда в ночи. Для этого было модное слово: синхроничность. Но я не хотела об этом думать, я была ученицей Холлиера и хотела исследовать вещи и явления из мира мамуси как объекты изучения, а не как

верования, которые нужно принять и жить по ним. Так что я старалась не обращать внимания на Даркура — насколько могла, будучи его ученицей и оставаясь в рамках вежливости.

Все было бы проще, если бы меня не тревожили мысли об измене Холлиеру. Я все еще любила его или, во всяком случае, хранила чувство к нему, которое за неимением лучшего слова называла любовью. Время от времени, когда мы с Холлиером обсуждали мою работу, он говорил что-нибудь открывающее мне глаза, и я вновь утверждалась в своей уверенности: он великий учитель, вдохновитель, открыватель новых путей. Но его одержимость бумагами Грифиуса, его слова о них и о Макварише, казалось, исходили от другого человека: бесноватого, неумного, тщеславного. Я уже перестала надеяться, что он хоть иногда думает обо мне с любовью; я притворялась, что готова играть роль терпеливой Гризельды и мириться с чем угодно, к вящей славе Холлиера, но другая девушка внутри меня уже вот-вот должна была сделать вывод, что моя любовь к Холлиеру — большая ошибка, что из нее ничего не выйдет и что мне лучше переболеть ею и начать думать о чем-нибудь другом. Я стыдилась этой женской практичности. Но могла

ли я любить восставшего Каина?

«Все, что тебе нужно, — это любовник», — презрительно сказало мое ученое «я». «А что в этом плохого?» — отозвалась моя внутренняя женщина, по-цыгански крутанув бедром. «Если тебе нужен любовник, — сказал кто-то третий, которого я не опознала, — возможно, здравый смысл, — далеко ходить не надо: погляди на Даркура, на нем прямо-таки написано „ЛЮБОВНИК“ огромными буквами».

Да, но… «Что „но“? Тебе, кажется, нужен мятежный ангел, один из этих университетских обитателей, учредивших то, что Парацельс называет Вторым раем учености, готовых и желающих учить дочерей человеческих самым разным видам мудрости». Да, но Даркуру сорок пять лет, он полноват, и он священник англиканской церкви. «Он — ученый человек, добрый и, что совершенно очевидно, тебя любит». Я знаю, это устроило бы мое ученое «я», но цыганская девчонка во мне лишь хохочет и говорит, что это совсем не годится. Ну какая из меня жена священника? «Женщина-ученый — а ты надеешься кое-чего добиться в науке — самая подходящая жена для священника-ученого». Тут цыганка снова начинала хохотать. Я велела ей отправляться к черту;

я не готова была признать (во всяком случае, пока), что мы с Симоном влипли в эту историю из-за приворотного зелья, но уж по крайней мере не собиралась терпеть цыганских насмешек. Ну и каша заварилась!

Эти душевные метания донимали меня днем и ночью. Мне казалось, что они подтачивают мое здоровье; каждое утро я гляделась в зеркало, ожидая увидеть лицо, изборожденное следами душевных мучений, — морщинки вокруг глаз, огрубевшие черты, — но была вынуждена признать, что выгляжу не хуже обычного. Не буду утверждать, что меня это расстраивало. Пускай я женщина-ученый, но я отказываюсь играть в излюбленную игру многих моих университетских коллег — выглядеть как можно хуже, одеваться в тряпье, которому место в коробке поношенной одежды для бедных, и ходить с такой прической, будто меня стриг в темном погребе маньяк с помощью ножа и вилки. Надо думать, это говорила моя цыганская кровь. Да здравствуют серьги и яркие шарфы; красуйся длинными черными волосами и шествуй гордо, высоко неся голову. Для этого (во всяком случае, и для этого тоже) тебя сотворил Господь.

Я решила, что в моем возрасте неразбериха

— неотъемлемая часть жизни. По крайней мере, это интересная неразбериха. С тех пор как я набралась достаточно ума, чтобы понять, что такое «вразумление», я молилась о вразумлении. В школе, во время, отведенное для личных молитв, я возводила глаза к алтарю и просила: «Господи, не дай мне умереть дурой». Видимо, то, что я переживаю сейчас, — цена, которую необходимо заплатить за исполнение этой молитвы. «Питайся этим в сердце своем и будь благодарна, Мария».

Необычное вразумление постигло меня в середине марта, когда Симон затащил меня к себе в Плоурайт (он думал, что очень ловко все устроил, но ясно было, что он долго и тщательно планировал), напоил меня кофе и коньяком и признался мне в любви. У него получилось удивительно хорошо. Его речь совершенно не выглядела заученной или отрепетированной; он говорил просто, красноречиво, избегая пышных выражений типа «вечная преданность», «не могу без вас жить» и прочей скучной ерунды. Но что по-настоящему выбило меня из седла, так это признание, что я играю в его жизни роль Софии.

Я думаю, все мужчины, влюбившись, нацепляют на желанную женщину какие-нибудь ярлыки

и приписывают ей всевозможные черты, совершенно ей чуждые. Точнее сказать, не полностью ей свойственные — трудно все же видеть в человеке что-то такое, чего в нем совсем нет. Если ты, конечно, не полный идиот. Женщины грешат тем же. Разве я не убедила себя, что Холлиер — маг в самом высоком смысле этого слова? А разве можно отрицать, что Холлиер на самом деле в значительной степени (хотя, возможно, в меньшей, чем я думала) маг? Наверно, послесвадебное разочарование, о котором теперь столько говорят, — это всего лишь осознание, что ярлыки были не совсем точны или что влюбленный забыл прочитать приписку мелким шрифтом. Но ведь, наверно, только очень молодые люди и те, кто себя совсем не знает, навешивают на любимых ярлыки, совсем не соответствующие действительности? И разочарование глупцов так же глупо, как их первоначальные иллюзии? Я не буду утверждать, что знаю ответ; только всезнайки — авторы книг о любви, браке и сексе, — кажется, ни в чем не сомневаются. Но я думаю, что без определенной доли иллюзий жизнь стала бы невыносимой.

Но все же… София! Что за ярлык для Марии Магдалины Феотоки! София — женственное во-

площение Мудрости, спутница Бога, сподвигнувшая Его на Сотворение мира; женская половина Бога, которую согласились замалчивать иудеи и христиане и молчат о ней, к великой невыгоде женщин, уже много сотен лет! Меня это потрясло. Но действительно ли это полная чепуха?

Нет, я так не думала. Конечно, я не София, потому что ни одна живая женщина не может ею быть, разве что в очень малой степени. Но что я такое в мире Симона Даркура? Я чужестранка — из-за моей цыганской крови; надо полагать, я женщина из Средневековья. Женщина, которая может до определенной степени говорить с Даркуром на одном языке — языке учености, и сопутствовать ему в размышлениях, зачинаемых ученостью. Женщина, которая не боится возможностей, прячущихся в темных закоулках современной жизни, но которая полностью отрицает столь многое в современности. Женщина, которую можно назвать Софией с уверенностью, что она поймет, о чем идет речь. Иными словами, женщина, в которой очарованный мужчина может видеть Софию, не будучи смешным.

О! Это слово прервало мой поток мыслей. Очарованный! Слово «очарование» так затерлось и истаскалось, что все забыли о его связи с чарами,

с магией. Может, бедный Симон и правда пал жертвой непростого кофе моей матери-цыганки и теперь видит во мне чудеса из-за этого любовного эликсира? Как будто ему клофелину подсыпали. Эта мысль была мне отвратительна, но я не могла быть совершенно уверена, что это неправда. А если я этого не знаю, какая же из меня Божественная Мудрость, что же я за воплощение Софии? Или подобные дела Софию занимать не должны?

Независимо от ответов на эти сложные вопросы у меня хватило духу ответить Симону, что я его люблю (это была правда) и что ни в коем случае не собираюсь за него замуж (тоже правда). Но он не мог ничего делать в плане физической любви вне брака (но причинам, которые я полностью понимала, и я глубоко уважала Симона за верность принципам, хоть и не разделяла их). Так что вопрос был решен. Любовь была реальностью, но эта реальность лежала в определенных границах.

Что меня поразило, так это облегчение Симона, когда мы определили границы. Я знала (а он, видимо, понял только гораздо позже), что он никогда на самом деле не хотел на мне жениться — и даже не то чтобы очень хотел лечь со мной в постель. Ему нужна была любовь, исключающая

подобное, и он знал, что такая любовь возможна, и теперь достиг ее. И я тоже. В тот день каждый из нас стал богаче на одного любящего, терпеливого, замечательного друга, и я, наверное, из нас двоих была счастливее, потому что за этот час полностью изменились и мои чувства к Холлиеру.

Мысль о любви Симона помогла мне перенести болезненное напряжение, царившее в комнатах Холлиера до самой Пасхи, и всем сердцем откликнуться, когда Симон позвонил мне в семь часов утра пасхального воскресенья.

— Мария, я решил, что вас надо известить как можно скорее: Парлабейн умер. Очень внезапно, и доктор говорит, что это сердце. Нет, у нас нет подозрений ни на что другое, хотя я тоже боялся. Я сделаю все, что нужно. Ждать, кажется, нечего, так что я организую похороны завтра утром. Вы приведете Клема? Кажется, мы — единственные друзья покойного. Бедный бес? Да, я сказал то же самое: бедный бес.

4

Мы с Холлиером и Даркуром ехали с похорон счастливые, — казалось, мы вновь обрели нечто, отнятое у нас Парлабейном. Это общее чувство подбодрило и сплотило нас, и нам не хотелось расставаться. Поэтому Холлиер пригласил Даркура подняться к нему в комнаты и выпить чаю. Мы только что съели обед, сопровождавшийся обильными возлияниями, но сегодня явно был день гостеприимства.

Я заглянула в привратницкую, чтобы посмотреть, нет ли писем для Холлиера. В пасхальный понедельник почту не носят, но внутренняя университетская почта могла за выходные доставить что-нибудь отправленное в прошлый четверг.

— Пакет для профессора, мисс, — сказал Фред, привратник, и протянул мне растрепанный сверток в коричневой бумаге, к которому скотчем было приклеено письмо.

Я узнала корявый почерк Парлабейна и прочитала нацарапанное на пакете указание: «Конфиденциально! Сначала прочесть письмо, потом вскрыть пакет».

— Опять этот ужасный роман, — сказал Холли-

ер, когда я отдала ему посылку.

Он швырнул ее на стол, заварил чай, и мы снова начали болтать — всецело о Парлабейне. Наконец Холлиер сказал:

— Мария, давайте-ка посмотрим, что в пакете. Может, это эпилог или что-нибудь такое. Бедняга, он умер исполненный надежд насчет этой книги. Нам придется решить, что с ней делать.

— Мы сделали все, что могли, — сказал Даркур. — Единственное, что теперь можно сделать, — добыть все машинописные экземпляры и уничтожить.

Я вскрыла конверт.

— Оно, кажется, ужасно длинное. Адресовано нам обоим, — сказала я Холлиеру. — Хотите, я прочитаю вслух?

Он кивнул, и я начала:

Дорогие друзья и коллеги, Клем и Молли!

Как вы уже догадались, это я отправил к праотцам Эрки Макварииша.

— Господи Исусе! — воскликнул Холлиер.

— Так вот из-за кого приспустили флаг, — сказал Даркур.

— Он не шутит? Не может быть, что он имеет в виду убийство?

— Читайте же, Мария, читайте!

Уверяю вас, что я это сделал не из легкомысленного удовольствия, дабы избавиться от неприятного человека, но по чисто практическим причинам, как вы сейчас увидите. Своей смертью Эрки мог помочь в продвижении моей карьеры, а также — вторичное, по немаловажное для меня соображение — принести практическую пользу вам обоим и сблизить вас. Я не могу передать, как тяжело мне было в последние месяцы наблюдать за Молли, которая чахла по тебе, Клем…

— Чахла? О чем это он? — спросил Холлиер.

Я заторопилась дальше.

…пока твои мысли витали где-то далеко, утопая в научных размышлениях и в ненависти к Эрки. Но я надеюсь, что мой скромный план соединит вас навеки. В этот кульминационный момент моей жизни мысль о вас приносит мне бесконечное удовлетворение. Слава для меня, слава и радости супружеского ложа для вас; счастливчик Эрки, все это благодаря ему!

— Мне как-то неудобно это читать, — сказала я. — Симон, вы не почитаете? Пожалуйста.

Даркур забрал у меня письмо.

Вы ведь знали, что я начиная с Рождества довольно много времени проводил с Эрки? Мария как-то обронила, что мы с ним стали «закадычными дружками». Кажется, это было ей неприятно. Но, Молли, право же, Вы были такой скупердяйкой, что мне пришлось искать средства к существованию в другом месте. Я по-прежнему Вам должен… не помню, какую-то мелочь… но можете списать ее со счетов и считать, что Парлабейн, с которым Вы обошлись со скупостью, не подобающей красивой девушке, отплатил Вам сторицей. Красивые девушки должны быть щедрыми: скаредность неминуемо портит цвет лица. А ты, Клем, ты все время подыскивал мне какие-то паршивые подработки, но пальцем о палец не ударил, чтобы мой роман напечатали. Не было у тебя веры в мой гений — ведь теперь, когда ложная скромность больше не нужна, я могу признать, что я действительно гений и в то же время что я, как большинство гениев, не очень приятная личность.

Сперва я пытался зарабатывать на жизнь честными средствами, а потом — любыми средствами, какие подворачивались под руку. Толстяк Даркур вам расскажет, если это интересно. Бедный жирдяй тоже был невысокого мнения о

моем романе, возможно, потому, что узнал себя в одном из героев. Люди очень плохо переносят подобные вещи. И тогда я, как носитель подлинного духа эпохи Возрождения, пошел путем героев эпохи Возрождения и нашел себе покровителя.

Я стал шестеркой у Эркхарта Макварриша. Я досыта кормил его лестью — интеллигентный слушатель, но ни в каком смысле не соперник, — а также оказывал ему определенные услуги, которые ему трудно было бы найти в другом месте.

Почему я был вынужден взять на себя эту роль, на которую люди вроде вас, не обремененные особыми заботами, смотрят с отвращением? Из-за денег, милые мои, — мне нужны были деньги. Подозреваю, что вы не совсем поверили моим жалобам на дороговизну перепечатки романа. Нет, меня шантажировали. Мне не повезло — я наткнулся на одного бывшего знакомого с западного побережья. Он знал про меня кое-что, о чем, как я думал, все забыли. Он не шантажист по большому счету, но настойчив и не стесняется бить ниже пояса. Сегодня вечером я написал о нем в полицию, и можно считать, что его песенка спета. Я не мог бы этого сделать, если бы не собирался смыться со сцены. Так что я не увижу представления, как это ни заманчиво. Но одна

мысль о нем меня согревает.

В полиции не удивятся моему письму. Я оказывал им мелкие услуги — начал еще до Рождества. Там намекнешь, тут шепнешь. Но они плохо платят. Боже, какие все скупые!

Парадокс денег в том, что, когда их много, можно жить очень дешево. Ничто так не экономит деньги, как богатство. Но когда ты на мели, то перебиваешься от куска к куску и нет тебе покоя. Чтобы удержаться на плаву, мне приходилось крутиться — просить, клянчить, стучать легавым и батрачить за гроши нахлебником у скаредного шотландца.

Понимаете, у Эрки были особые потребности, с которыми он мог довериться только человеку вроде меня. Только такой, как я, мог их понять и удовлетворить. В наше время столько болтают о сексуальных предпочтениях, но люди по-прежнему склонны думать, что вкусы человечества ограничены гетеросексуальными радостями и несколькими разновидностями гомосексуализма. Но Эрки я бы назвал нарциссистом: его забавы были глубоко личными, а борделем ему служили исключительно его собственный ум и собственное тело. Я его сразу раскусил. Вся эта шелуха про «моего великого предка сэра Томаса

Эркхарта» должна была не столько впечатлять других, сколько звучать музыкой, под которую душа Эрки плясала свою одинокую гальярду. Ведь часто бывает, что человека называют себялюбцем. Вот это и есть вся правда про Эрки. Клем, Эрки был неплохим ученым, эта его сторона была вполне реальной, хоть тебе и неприятно это признавать. Но он был таким самовлюбленным ослом, что действовал на нервы более сдержанным эгоистам вроде тебя.

Ему нужен был человек, полностью зависимый от него, такой, который слушался бы без вопросов, привнося от себя толику стиля и изобретательности, и предоставлял бы доступ к вещам, добычей которых Эрки не желал заниматься сам. Я был именно таким человеком.

Много в мире есть того, что вашей философии не снилось,[111] *друзья мои. И моей не спилось, когда я еще нежился в безопасности на лоне университета. Но в тюрьмах и в клиниках для наркоманов я набрался опыта, научился прокладывать себе путь по грязным переулкам и узнавать с виду людей, хранящих ключи от запретных видов счастья. На самом деле теперь, оглядываясь на*

---

[111] Примечания и комментарии: 111

Много в мире есть того, что вашей философии не снилось… — У. Шекспир. Гамлет. Пер. Б. Пастернака.

свои отношения с Эрки, я понимаю, что оказался для него сущей находкой, потому что он был чрезвычайно скуп. В точности как вы двое. Но ему нужен был приспешник, а я знал эту роль, как ее никогда не выучить обыкновенному, несведущему прихлебателю. С моей начитанностью в литературе прихлебательства я мог привнести в свою службу именно тот росчерк стиля, в котором нуждался Эрки.

У него был пунктик на том, что он называл «церемониями». Социолог, скорее всего, назвал бы их ролевыми играми, но Эрки терпеть не мог социологов и их жаргон, превращающий пикантное приключение в коряво описанную историю болезни. Эрки хотел один раз объяснить своей шестерке суть церемонии, а потом забыть, что он вообще что-то объяснял: шестерка уже сама должна была сделать «церемонию» новой, естественной и неизбежной.

Не описать ли мне субботний вечер у Эрки? Я вставал рано утром, чтобы поспеть на рынок Сент-Лоренс за отборными овощами, хорошей рыбой и каким-нибудь сырьем для закусок — мозгами, поджелудочными железами или почками, которые мне предстояло приготовить особым способом. Эрки любил потроха. Затем я возвра-

щался к Эрки (ключа у меня не было, по Эрки впускал меня, отвернувшись и не удостаивая даже «доброго утра»), начинал готовить ужин (с потрохами всегда куча работы) и звонил во французскую кондитерскую, чтобы заказать десерт. Во второй половине дня я забирал десерт, покупал цветы, откупоривал вино и делал все, что нужно для приготовления к первоклассному ужину, который потом кто-нибудь поглотит, словно это вовсе и не произведение искусства. Я весь день крутился не присевши, как говорим мы, домашние работники.

Вы не знали, что я и готовить умею? Научился в тюрьме, когда в очередной раз получил поблажку за образцовое поведение; в той тюрьме были неплохие курсы для заключенных, желающих обучиться ремеслу, которое им потом пригодилось бы в честной жизни. У меня оказались к этому определенные способности — к кулинарии, а не к честной жизни. Помимо всего прочего, я пек к вечеру особые сладости. В тюрьме мы называли их веселыми печенюшками, но Эрки не любил вульгарности. Для их приготовления нужно было порезать марихуану — мелко, но не слишком — и замесить легкое тесто, чтобы печенья испеклись быстро, не убивая чудесных свойств травы. Кро-

ме того, я должен был обеспечить достаточное количество «канадской черной» шмали для приготовления «техасского чая», а для этого, если понадобится, съездить в «Голландскую мельницу», где меня знали, хоть и не слишком хорошо.

Почему меня там знали? Мне очень неприятно это говорить, дорогие мои, но вы так упорно скупердяйничали, что мне пришлось подрабатывать, сообщая любопытным знакомым — кажется, они были из полиции — имена продавцов «тети Мари», «тети Гертруды» и даже «витаминов».[112] *Надо полагать, в каком-то смысле я был двойным агентом среди наркодельцов. Это не очень приятная роль, но она порой хорошо вознаграждалась. Каждый раз, заглядывая в «Голландскую мельницу», я испытывал легкую frisson,*[113] *опасаясь, что ребята меня срисуют. Это могло поставить меня в неловкое и даже опасное положение, так как они весьма раздражительны. Но меня так и не застукали, а теперь уже и не застукают.*

---

[112] Примечания и комментарии: 112

…продавцов «тети Мари», «тети Гертруды» и даже «витаминов»… — Жаргонные названия, соответственно, марихуаны, героина и амфетаминов.

[113] Примечания и комментарии: 113

Дрожь *(фр.).*

Где же был Эрки, пока я трудился у него на кухне? Экономно, но элегантно обедал у себя в клубе, ходил в кино на иностранный фильм, а потом хорошенько пропотевал в сауне. L'après-midi d'un[114] *джентльмена-ученого.*[115]

Я видел Эрки, лишь когда он возвращался, чтобы переодеться к ужину. К этому времени я должен был приготовить и выложить полный комплект одежды, в том числе шелковые носки, наполовину вывернув их наружу, чтобы было удобнее надевать. Вечерние туфли Эрки следовало начистить до блеска — не только мыски, но и подъемы, и внутреннюю сторону. (Эрки говорил, что джентльмена узнают по начищенной обуви: хороший слуга следит, чтобы у хозяина ботинки блестели целиком.) К этому времени я уже переодевался в свой первый костюм — домашнего слуги, с белоснежной рубашкой и обеденным кителем, накрахмаленным до того, что он напоминал глазурь на свадебном торте. (Стирал все я — по средам, пока Эрки формировал впечатли-

---

[114] Примечания и комментарии: 114
Послеполуденный отдых *(фр.).*

[115] Примечания и комментарии: 115
L'après-midi d'un джентльмена-ученого. — Аллюзия на балет «L'après-midi d'un faune» («Послеполуденный отдых фавна»), поставленный в 1912 г. Вацлавом Нижинским на музыку Клода Дебюсси. В балете изображаются эротические игры фавна с шарфом, украденным у нимфы.

тельные умы молодежи вроде Вас, Мария.)

Представление начиналось с хереса перед ужином. Херес — хороший напиток, но Эрки высасывал его так, что это больше напоминало fellatio, чем употребление спиртного. Он смаковал и наслаждался, вытянув ноги в безупречно начищенных туфлях к разведенному мною огню в камине. Огонь я должен был поддерживать, чтобы он ярко пылал на протяжении всего вечера.

— Макваришу подано, — произносил я.

Эрки шествовал к столу и принимался за рыбу.

О супе он и слышать не желал: почему-то считал его вульгарным. Слова «Макваришу подано» я произносил с горским шотландским акцентом. Уж не знаю, какой персонаж из мысленного театра Эрки я изображал, по, думаю, какого-нибудь верного горца-сородича, который служил Эрки, пока тот воевал, а теперь вместе с лэрдом[116] вернулся к мирной жизни.

Эрки со мной не разговаривал. Кивал, когда надо было убрать тарелку, кивал, когда я подносил ему на осмотр графин с кларетом, кивал, чтобы дать понять, что съел достаточно gâteau[117] и

---

[116] Примечания и комментарии: 116
Лэрд — шотландский землевладелец.

[117] Примечания и комментарии: 117
Пирожное, торт *(фр.).*

пора подавать грецкие орехи и портвейн. Кивал, когда я приносил кофе и хороший старый виски в специальном ковшике с двумя ручками. Я неплохо играл роль самоотверженного слуги: во время ужина стоял за спиной Эрки, чтобы он не видел, как я глотаю недоеденные куски с его тарелок, хотя объедков оставалось совсем немного. Эрки был скуп в том числе и на еду: мне перепадало мало крох со стола богача.

Так проходила первая часть вечера. Затем Эрки удалялся к себе в спальню, а я убирал со стола, мыл посуду и устанавливал декорации для второго акта.

Примерно к половине десятого я заканчивал мытье посуды и разные приготовления и переодевался во второй костюм. Я на цыпочках входил в спальню и откидывал одеяло, открывая тело Эрки, совершенно голое, приятно порозовевшее после сауны. Я очень осторожно раздвигал его ягодицы и… ага! Вы ждали какой-нибудь клубнички? Думали, я должен был сделать старине Эрки мясной укол? Пошоркать в шоколадный глазик? О нет, наш чистоплотный Эрки не опускался до таких штучек. Отнюдь, я осторожно вводил ему в задний проход предмет, который мысленно называл «колодой», очень похожий на

небольшую колоду карт. Это была розовая бархатная ленточка двух дюймов шириной и десяти футов длиной, сложенная гармошкой так, что получался сверточек примерно два на два дюйма и толщиной в четыре дюйма. Снаружи оставался хвостик длиной дюйма два-три. Эрки не двигался и как будто ничего не замечал, и я на цыпочках выходил из спальни.

К этому времени я успевал передвинуть мебель в гостиной и поставить перед камином два кресла: для Эрки — старомодный тиковый шезлонг, словно с палубы лайнера Канадской тихоокеанской компании, с разложенными подушками и клетчатым пароходным пледом расцветки макваришевского клана; для себя — низкое кресло без подлокотников, так называемое дамское. Между креслами располагался низенький чайный столик с чашками, блюдцами и чайником чая из «травки», накрытым для тепла вязаным колпаком в виде комической старухи. Я включал проигрыватель и ставил пластинку, которая должна была аккомпанировать появлению Эрки: это была драгоценная старая пластинка на семьдесят восемь оборотов, на которой сэр Гарри Лодер пел

«Выйдем, красотка, на бережок».[118] *Я был одет в старушечье платье, как старый мешок (вышло двусмысленно, но я действительно был похож на старый мешок, так что пусть остается), и косматый серый парик. Должно быть, я напоминал ведьму из «Макбета». Когда входил Эрки в длинном шелковом халате и шлепанцах, я с готовностью нырял в реверансе.*

Такова была прелюдия к церемонии, которую Эрки называл «Две эдинбургские старые дамы».

Невинная забава в равнении с иными вечеринками, на которых мне приходилось помогать, но «неприличная» именно в том стиле «гадких проказ в детской», который больше всего нравился Эрки. В ходе спектакля мы говорили с эдинбургским акцентом. Я, правда, его сроду не слыхал, но я подражал Эрки, кривил рот и выговаривал слова так, словно сосал конфету; кажется, Эрки был доволен результатом.

Еще мы действовали под псевдонимами, и тут все становится сложнее, ибо мы пользовались именами миссис Мэшем (это я) и миссис Морли.

---

[118] Примечания и комментарии: 118

…сэр Гарри Лодер пел «Выйдем, красотка, на бережок». — Гарри Лодер (Генри Лодер, 1870–1950) — шотландец, исполнитель комических песен. «Выйдем, красотка, на бережок» («Roamin' in the Gloamin'») — популярная любовная песня, написанная им и впервые исполненная в 1911 г.

Дошло? Вряд ли. Тогда скажу, что Мэшем — имя конфидантки королевы Анны, а Морли — имя, которым пользовалась сама королева, когда без чинов болтала со своей приживалкой, попивая из чайной чашки бренди, которое называла «мой холодный чай». Только не спрашивайте меня, что общего у этих двух дам с Эдинбургом или с Эркюлем, потому что я не знаю. Но в мире фантазий позволена величайшая свобода.

Даркур забежал взглядом немного вперед и явно смутился.

— Вы действительно хотите это слушать? — спросил он.

Мы, конечно, хотели.

Это была его фантазия, не моя, и непросто было импровизировать разговор, чтобы «подогреть» Эркюля, а эта обязанность лежала на мне. Эркюль любил скандальные университетские сплетни, а я должен был выдавать их словно нехотя, чопорно, пока мы оба попивали чай из марихуаны и грызли марихуановое печенье. Раза два я пытался уговорить Эркюля рискнуть и попробовать что-нибудь поинтересней — немножко кислоты на кусочке

сахара или крохотный укольчик машинкой,[119] *— но он из тех, кого мы зовем «приблудными»: человек, который заигрывает с наркотиками, но боится заходить далеко. Лаодикиец от греха.*[120] *Так какими же беседами я его развлекал? Вот образчик, который может быть интересен.*

Миссис Морли. Дорогая миссис Мэшем! А что же слышно об этой милой девушке, мисс Феотоки?

Миссис Мэшем. Ох, она все учится, бедняжечка.

Миссис Морли. Бедняжечка, миссис Мэшем? Отчего же бедняжечка?

Миссис Мэшем. Оборони господь, миссис Морли, дорогая, как это вы к словам придираетесь! Уж и не скажи ничего. Я только говорю, надеюсь, что она не собьется с дорожки.

Миссис Морли. Но как же ей сбиться, если добрый брат Джон ее наставляет? Брат Джон, святой человек. Отложите-ка вязанье, дорогая, да говорите прямо.

Миссис Мэшем. Боюсь, она уже не слушает брата Джона, миссис Морли. Если и есть у нее советчик,

---

[119] Примечания и комментарии: 119

…или крохотный укольчик машинкой… — Машинка — жаргонное название шприца.

[120] Примечания и комментарии: 120

…заигрывает с наркотиками, но боится заходить далеко. Лаодикиец от греха. — Аллюзия на послание апостола Павла, в котором он называет лаодикийцев «ни холодными, ни горячими».

это жирный отец Даркур, да станет Господь меж нею и его необъятной утробой.

Миссис Морли. Храни нас Небо, миссис Мэшем! На что это вы намекаете?

Миссис Мэшем. Господь да не попустит, чтоб я кого облыжно обвиняла. Но я видела, как он глядит на нее, распустив губы, словно околдованный.

Миссис Морли. О, сколь страшная мысль! Да неужто ее добрый наставник, профессор Холлиер, позволит ей оступиться?

Миссис Мэшем. Ох, миссис Морли, мадам, вы святого поведения, откуда вам знать пути коварных, грешных мужчин! Я страшусь вымолвить, но этот самый Холлиер!..

Миссис Морли. Неужто вы хотите сказать о нем дурное?

Миссис Мэшем. Правдивое слово дурным не бывает, мадам! Но я боюсь, что он уже…

Миссис Морли. Еще чаю! Продолжайте, я готова вынести самое худшее.

Миссис Мэшем. Не скажу, что он распутник! Даже выговаривать такое не стану! Может, его искушали? Эта девчонка… Феотоки… стыдно сказать… она всего лишь девка! Она и самого добродетельного мужчину соблазнит! Вы давно

смотрели на ее подобие? На ту бронзовую статуэтку, что получили от Корниша?

Эрки взглядывал на статуэтку, и… Молли, Вы же понимаете, ничего личного… просто я, исполняя свой долг прихлебалы и желая оживить забавы Эрки, заранее наносил капельку растительного масла на щелку меж ног статуи — очаровательная деталь этого произведения искусства! — чтобы она казалась влажной и манила к себе. Хорошо придумано, вы не находите? Один взгляд поверки Эрки в конвульсии, так что он балансировал на грани «фейерверка», который следовало оттягивать, чтобы он послужил кульминацией вечера.

В том и состояла цель такого длинного и сложного маскарада: очень медленно довести Эрки до кипения. Грязные сплетни, а также чай с печеньем в больших количествах делали свое дело — сплетни возбуждали, Мари Хуановна сдерживала, а розовая ленточка служила запалом, поджигающим порох в ракете.

В этих фантазиях фигурировали и другие люди, но вы были звездами первой величины. Эрки вяло пускал слюни в Вашу сторону, Молли, а что до Клема — мне нравилось вызывать его дух, чтобы дразнить Эрки: я прекрасно понимаю и

прощаю Клема, но я полностью осознавал, что он не может бесконечно тащить меня за собой, делая свою блестящую карьеру. Старым друзьям люди помогают как могут, пока могут, но, разумеется, кое-кого из них неминуемо теряют по дороге. Клем делал для меня все, что считал возможным, но был твердо намерен не допустить, чтобы я слишком докучал окружающим. Так что я немного позабавился за счет вас двоих, но, как вы вскоре увидите, отплатил вам за вашу подлинную доброту мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною.[121]

Кроме вас, в церемониях часто фигурировал Озн Фроутс — в нем всегда можно было найти что-нибудь смешное. И много других людей — необъятного памятозлобия Эрки хватало на всех. Но вы, конечно, понимаете, что это была просто игра. Авторы пособий по сексуальной жизни советуют читателям использовать фантазии, чтобы подбавить перчику в надоевшие телодвижения. Кто поставит Эрки в вину его удовольствия или осудит меня за потворство им, если роль прихлебалы — единственное, что мне осталось? Конечно не вы, дорогие друзья.

---

[121] Примечания и комментарии: 121

…мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною. — Евангелие от Луки, 6: 38.

Конечно не вы.

Подобным образом Эрки желал развлекаться добрых полтора часа: его наслаждение становилось все острее, и ему все труднее было сдерживать смех, чтобы не выйти из роли миссис Морли. Похабные сплетни разжигали его, а старушка Мари охлаждала. Во время беседы он сучил ногами в кресле, поднимая их все выше. Наконец полы халата распахивались, открывая голое тело. Это был сигнал к моей кульминационной реплике следующего плана:

Миссис Мэшем. Миссис Морли, мадам, не обессудьте меня, вашу покорнейшую слугу, но я, как старый друг, должна сказать откровенно: у вас туалет в беспорядке.

Миссис Морли. Нет, нет, отнюдь!

Миссис Мэшем. Да, да, весьма!

Миссис Морли. Это ничего. Не беспокойте себя, мадам.

Миссис Мэшем. Нет, мадам, ради вашего блага, мадам, как я есть не чужой человек, я должна вас привязать, мадам. Как есть должна.

Миссис Морли. Нет, нет, дорогая, вы сами не знаете, что делаете.

Миссис Мэшем. Отнюдь! Это в вас кровь Эркхартов заговорила! Видите — старый сэр Томас

глядит на вас со стены и смеется, старый хитрый раблезианец. Он-то знает, что ваша природа рано или поздно себя окажет, так что мне, хочешь не хочешь, надо вас сохранить, чтоб вы перед ним не опозорились. Привяжу, и точка.

На этом я доставал красивую белую пеньковую веревку и привязывал Эрки к креслу — достаточно крепко, чтобы ограничить движения, но не слишком сильно, чтобы не причинить боли. К этому времени он уже успевал по-настоящему возбудиться. Зрелище было омерзительное, по предполагалось, что я ничего не замечаю. Вместо этого…

Миссис Мэшем. Простите меня, мадам. Может, мне не подобает так говорить, но как у вас платье в беспорядке… я у вас увидела… кое-что.

Миссис Морли. Кое-что? Вы забываетесь, мадам.

Миссис Мэшем. Да, кое-что. Скажу больше: это хвостик. Розовенький хвостик… я его вижу, вижу, вижу…

Миссис Морли. Не смейте подглядывать!

Миссис Мэшем. Буду подглядывать! И даже… ох как пальцы чешутся… я даже за него дерну!

Миссис Морли. Ты не посмеешь!

Миссис Мэшем. Посмею! Дерну, дерну, дерну…

И вот, доведя его почти до изнеможения, я наконец дергал. Я хватал торчащий наружу розовенький копчик и бросался бежать по комнате; свернутая лента быстро, мягко и щекотно разворачивалась внутри Эрки, и он достигал того, что называл «фейерверком».

Я же убегал на кухню, где должен был сидеть, пока Эрки высвобождался из неплотно завязанных уз и возвращался в спальню. Затем я прибирался, мыл посуду, расставлял мебель по местам и уходил, прихватив конверт, заблаговременно оставленный Эрки на столике у двери.

В конверте было двадцать пять долларов. Жаркие двадцать пять баксов за день, который начинался с шести утра и заканчивался не раньше часу ночи! Вшивый четвертной за то, что человек с моими талантами служит поваром, дворецким, снабжает наркотиками, запихивает ленточки в задницу, исполняет характерные роли, сексуально возбуждает и вообще всячески шестерит при профессоре в течение девятнадцати часов! Я как-то намекнул Эрки, что это тяжелая работа, а он обиделся и заявил: он-то думал, что я наслаждаюсь не меньше его самого! Такая возбуждающая, приятно щекочущая игра! Его эгоцентризм не имел себе равных даже по

моему опыту, весьма обширному. Если б он не разнюхал про меня кое-какие вещи, которые мне не хотелось предавать огласке, я бы уже давно на него стукнул. Но теперь я могу не бояться шантажа, ибо стою на пороге вечности, дорогие мои. Молитесь за брата Джона. Меня вела нужда, а не собственная воля. До сегодняшнего дня, когда я решил, что с меня хватит. И стервятника иной раз тошнит.

Не могу сказать, что мое решение было внезапным, — я не принимаю важных решений под влиянием минуты. Уже не менее трех недель прошло с того момента, как я решил: пора исчезнуть брату Джону, пародии на монаха, и вновь возникнуть — Джону Парлабейну, автору одного из немногих, несомненно, великих современных романов. Ибо «Не будь другим» — именно это: величайший roman philosophique, который со временем приобретет такое влияние, как ни одно другое литературное произведение со времен Гёте. Именно таким увидят мой роман, когда не будет меня — преследуемого, презираемого и злословимого людьми, которые не стоят моего мизинца. Зависть человеческая — твоя, Клем, да простит тебя Господь, и зависть многих других людей — стоит на пути моей книги;

вы знаете меня, знаете в низком обличье приятеля-нахлебника, который совершал ошибки и потому не добрался до тихой гавани университетской жизни. Вы отказываетесь видеть меня в истинном свете — как человека с сильной индивидуальностью, тончайшим восприятием, как первоклассного оригинального моралиста. Я не стал бы таким, если бы, подобно вам, боялся запачкать обувь.

И, как оригинальный моралист, я ценю подлинно прекрасное произведение искусства выше человеческой жизни, в том числе своей собственной. Чтобы мою книгу опубликовали и оценили по достоинству, я готов отдать собственную жизнь, но понимаю, что это вряд ли привлечет внимание. В глазах света я никто; чтобы меня заметили должным образом, я должен стать кем-то. А как этого проще всего добиться? Конечно, прихватить с собой в страну теней еще кого-нибудь. Весь мир любит убийцу.[122]

Мало кто убивал ради публикации книги: я не назову с ходу ни одного такого убийства, но не исключено, что они были, поэтому буду осторожен. Люди убивают ради иных выгод или из страсти. Я

---

[122] Примечания и комментарии: 122

Весь мир любит убийцу. — Перефразированная цитата из эссе Ральфа Уолдо Эмерсона «Любовь» (1841): «Весь мир любит влюбленного».

даже не считаю, что замочил Эрки из выгоды, ибо не получаю ничего материального: выигрывает только человечество, которое я таким грубым способом заставлю обратить достойное внимание на мою книгу. Со временем мир увидит, сколь огромен его выигрыш. Что бы выбрали Вы, Мария, — великий роман Франсуа Рабле или живого, дышащего и язвящего Эрки Макварииша? Воистину я дарую Эрки своего рода бессмертие, на какое он не мог бы и надеяться, если бы умер от так называемых естественных причин. (Разумеется, мое творчество в корне отлично от творчества Рабле, произведения которого переполнены совершенно излишними мерзкими подробностями, но как труд гуманистического познания мой роман неизмеримо выше его книги.)

Почему именно Эрки? А почему бы и не он? Мне нужно кого-нибудь выбрать, а он вполне подходит: его кончина вызовет шум, особенно из-за способа, которым я управился, и в то же время не лишит мир полезного члена общества. Кроме того, мне надоело его напыщенное высокомерие и его скаредность тоже. Такая странность характерна для людей с необычными сексуальными вкусами: им непременно нужно наслаждаться в обществе другого человека, на которого они

могут смотреть свысока. Я думаю, что Оскар Уайльд предпочитал конюхов и мальчишек-рассыльных аристократу Бози. Есть мужчины, которым нравятся вульгарные женщины, и женщины, предпочитающие вульгарных мужчин: роль снобизма в сексе еще не исследована по-настоящему. Но я, в сравнении с которым Эрки — как пес в сравнении с человеком, устал изображать эдинбургскую старуху-сплетницу, снося высокомерие и унизительные выходки Макварриша. И червь, коль на него наступят, вьется,[123] *и нахлебник карает.*

И вот несколько часов назад, когда утомительный водевиль с участием двух эдинбургских дам подползал к концу, я изменил сценарий. Эрки сперва решил, что это искусная вариация сюжета, придуманная ради его удовольствия. О, этому прихлебателю цены нет!

Представьте себе связанного Эрки: он хихикает, как школьница, а я склоняюсь к нему — все ближе и ближе.

Миссис Мэшем. Ах, миссис Морли, дорогая, как вы хихикаете! Это вам совсем не полезно. Мне придется вас наказать, гадкая вы девчон-

---

[123] Примечания и комментарии: 123

И червь, коль на него наступят, вьется… — У. Шекспир. Генрих VI. Акт II, сц. 1. Пер. Е. Бируковой.

ка. Поглядите, в каком беспорядке у вас платье! Мне придется вас крепко привязать, милая, очень, очень крепко. Но что за глупое хихиканье? Вы разве не можете смеяться хорошенько, как следует? Вот я вам покажу, как надо. Видите, я ставлю пластинку: это сэр Гарри Лодер, он пост «Перестаньте, щекотушки». Вот послушайте, как смеется сэр Гарри. Вот это смех! Хороший, громкий. Ну же, миссис Морли, подпевайте нам с сэром Гарри:

Помню, как я молод был,
Дочку фермера любил:
Щечки словно маков цвет,
Девушке семнадцать лет![124]

Вот я сделаю погромче, чтоб вы знали, как надо. И буду вас щекотать! Да! Видите, я иду к вам, чтобы щекотать! Ох, да разве это смех? Ох, поняла! Обычная щекотка не годится. Вот поглядите: у меня с собой вязальные спицы. Вот я вставлю вам одну спицу в нос, у вас такой большой красный нос, миссис Морли, и немножко поворочаю, чтобы пошевелить волоски, а? Что, щекотно? Но все равно этого мало; давайте-ка вставим вам дру-

---

[124] Примечания и комментарии: 124
Перевод Д. Никоновой.

гую спицу во вторую дыхалку. Видите, как легко смеяться, когда я ими шевелю? Ну-ка вместе с сэром Гарри! Ох, это не смех. Это больше похоже на визг. Дайте-ка я их запихну чуточку поглубже. Нет-нет, дорогая моя миссис Морли, неча очи закатывать да мычать. А знаете что, меня осенило! Давайте-ка я… мне понадобится что-нибудь вроде молотка… давайте-ка я сниму туфлю, вот так. А теперь я каблуком этой туфли хорошенько стукну по концам спиц: раз-два. Но что же это, миссис Морли, вы больше не смеетесь? Один только сэр Гарри смеется.

И действительно, смеялся уже один сэр Гарри, а Эрки, которому в мозг вошли две алюминиевые вязальные спицы, совершенно затих. Из-за спиц ли, от страха или от разрыва сердца, но Эрки был мертв или настолько близок к смерти, что не мог издать ни звука.

Так. Я быстро скинул старое платье миссис Мэшем, поставил проигрыватель на автоматический повтор и увеличил громкость до максимума: пускай сэр Гарри самозабвенно поет и хохочет, пока соседи не позвонят управляющему домом. Засим я смылся, не забыв конверт. Меня не волновало, что по всей квартире остались отпечатки моих пальцев: я так и хотел, чтобы

никто не присвоил себе мое убийство.

Правда, на одной маленькой вещице, которую я забрал из квартиры Эрки, отпечатков не осталось. Он держал эту вещь в ящике стола и, как многие тщеславные люди, простодушно верил в силу простых замков. А теперь, дети, можете развернуть свои подарки. Сверток номер один: да, это папка Грифиуса, и она ваша, дорогие мои; можете порадоваться ей и сберечь ее для себя, любимых. Особенно письма, спрятанные в заднем клапане. Эрки про них знал и все время намекал на это в разговорах. Он вечно недооценивал мою понятливость, бедный дурачок.

Другой сверток, большой, — это полная машинописная копия моего романа «Не будь другим». Клем, я пишу в газеты о том же, о чем только что рассказал вам, и сообщаю им, что моя книга у тебя, что это редкое и прекрасное произведение искусства и что издатели, желающие опубликовать его, должны подать тебе заявку. А желающие будут! О да! Издатели передерутся меж собой за право опубликовать книгу убийцы, а вот философ их не заинтересовал. Книга — потенциальное сокровище, так что, Клем, торгуйся безжалостно. Отомсти за меня, милый друг: обери издателей до нитки, выжми из них все до

последнего доллара. И не забывай следить за тем, как они будут продвигать ее на рынке: я обеспечил их материалом для первоклассной рекламной кампании. «Автор пошел на убийство, чтобы эта книга попала к вам в руки! Великий непризнанный гений обращается к своим современникам! Преступник-философ обнажает душу!» Это лишь первый залп. После него вам легко будет привлечь внимание какого-нибудь знаменитого критика, который вольется в общий хор, изливая хвалу на мою книгу — дистиллированную эссенцию погибшего могучего духа.

Что до гонорара, на эти деньги я предоставляю тебе основать в «Душке» хорошенький фонд, чтобы людям вроде тебя перепадало бабла для научных трудов. И пускай его назовут «Фондом щедрости Парлабейна», чтобы каждая ученая крыса, желающая денег, возжигала щепотку ладана в мою честь. Ты знаешь, как это организовать. Можешь не бояться, что «Душок» откажется от денег. Старый добрый колледж освятит мой дар, чтобы использовать его на благие цели, даже не сомневайся.

Кажется, всё. Надеюсь, вы с Молли не поссоритесь из-за Грифиуса. Потому что я предназначил его для вас обоих, и, если один из вас попытается

прикарманить его или же отнимет у другой ее заслуги — мне кажется, что из вас двоих скорее ты, Клем, способен на такую низость, — он будет адски покаран за это, если у меня есть хоть какое-то влияние в аду.

А теперь мне осталось лишь выйти за пределы досягаемости закона. Уверяю вас: я хочу это сделать не из страха перед ним, а из презрения к нему. Я мог бы вызвать большой интерес к своей книге, если бы остался на этом свете, пошел под суд и сказал свое слово со скамьи подсудимых. Но вы же знаете современные суды. Можно ли ждать от них правосудия? Могу ли я, спланировав убийство и хладнокровно отправив на тот свет другого человека, ожидать, что у меня взамен отберут жизнь, как того требует идеальная справедливость (единственная, которая по-настоящему удовлетворяет)? Нет, у меня нет на это ни единого шанса! Я так и вижу шествие психиатров, желающих меня «объяснить»! Они уверят суд, что я был «не в себе», так как, разумеется, ни один психически здоровый человек не хочет никому отомстить или прославиться. Люди, пьяные дешевым вином сострадания, будут уверять друг друга, что я «больной». Но я не сумасшедший, я в цветущем здоровье и не соби-

раюсь подвергать себя жалости людей, которые меня не стоят.

Осталась одна последняя шуточка. Все решат, что я покончил с собой. Ну пусть попробуют это доказать. Но вы, дорогие друзья, будете знать точно. Сейчас я надену рясу, потом лягу на кровать с молитвенником под рукой и введу себе в вену на ступне — там их достаточно — несколько кубиков раствора калия; через тридцать секунд я буду мертв и надеюсь, что за это время успею уронить шприц в щель пола под прикроватным ковриком матушки Мастард. Остроумно, не правда ли? Мое тело будет предано земле (как это прекрасно, романтично звучит) прежде, чем кто-нибудь догадается заглянуть под коврик. Но вы помалкивайте. Мне хочется поставить в тупик моих старых друзей из полиции. Их врачи напрочь лишены воображения.

Однако, если какой-нибудь проныра решится меня выкопать, я выражаю свою последнюю волю согласно Закону о распоряжении человеческими органами от 1971 года. Я оставляю свою жопную дырку и все необходимо принадлежащие к ней оболочки и соединительные ткани философскому факультету; ее следует натянуть на стальную раму, чтобы каждый год, первого января, старший из преподавательского состава дул в нее, издавая богатую, звучную ноту. Это будет мое приветствие миру, который я теперь покидаю в поисках великого «может быть». Благословляю вас обоих, дорогие мои.

Джон Парлабейн
(некогда из Ордена священной миссии)

Даркур еще дочитывал, а Холлиер уже вытащил письма из кармана в папке Грифиуса и набросился на них. Лицо Холлиера пылало; Даркур заговорил с ним, но он словно не сразу услышал.

— Клем?

— М-хм.

— Нам надо поговорить насчет этой рукописи.

— Да, да, но я должен ее хорошенько просмотреть, прежде чем сказать что-либо определенное.

— Нет, Клем.

— Что?

— Ты не должен ее просматривать. Я знаю, что это очень увлекательно и все такое, но ты должен понимать: она не твоя.

— Не понял.

— Она краденая.

— Да, Маквариш ее украл. Теперь ее нам вернули.

— Нет. Не «нам». У тебя нет на нее никаких прав. Она принадлежит к вещам Корниша, перешедшим по наследству, и я собираюсь проследить, чтобы ее вернули законным владельцам.

Даркур встал, вынул у Холлиера из рук папку Грифиуса и драгоценные письма, уложил все как было — и вышел.

5

Следующие десять дней были для меня чистым адом. Во-первых, я беспокоилась за Холлиера: как только Даркур решительно забрал папку Грифиуса для передачи законным владельцам, Холлиер, фигурально выражаясь, развалился на куски. Он был в таком ужасном состоянии, что я опасалась за его жизнь. Часто говорят «у него был нервный срыв», но что это значит? В случае Холлиера это означало, что, несмотря на все мои усилия, он ничего не говорил и, по-видимому, не слышал; глаза глядели в никуда. Он был холодный на ощупь. Он сидел, сгорбившись, в кресле и, не переставая, медленно поворачивал голову влево, а потом возвращал в прежнее положение. Он был похож на овцу, которая объелась белены; сколько я ни трясла его, я не смогла ни привести его в себя, ни поставить на ноги. От беспокойства я не нашла ничего лучшего, как позвонить Даркуру, и через полчаса он явился снова в сопровождении друга-доктора — как я впоследствии узнала, того же самого, который засвидетельствовал смерть Парлабейна.

Доктор Грин помял и покрутил Холлиера,

постучал его молоточком по коленям, прослушал сердце и наконец поставил диагноз: шок. Не испытал ли Холлиер какое-либо жестокое разочарование? Да, сказал Даркур. Сильное разочарование, связанное с научной работой, — к сожалению, неизбежное. Меня поразила твердость Симона, его отказ уступить хоть на дюйм. «А, понимаю!» — сказал доктор. Он сталкивался с подобными метафизическими хворями у ученых — они отличаются хрупкостью душевного равновесия. Но он знал старину Клема еще со студенческих лет в «Душке» и был уверен, что тот оправится. Однако ему нужен будет хороший уход и забота. Так что Даркур с врачом кое-как поставили Холлиера на ноги, дотащили до моей машинки и запихали внутрь. Машина была мала для четырех человек, один из которых был слишком болен, чтобы сжаться в комочек. Я села за руль, и мы поехали в Роуздейл, к матери Холлиера, — это оказалось недалеко от моего собственного дома.

Если бы мне нужно было за кем-нибудь ухаживать как следует, я бы никогда не выбрала для этого такую обстановку. Этот дом словно закостенел от хорошего вкуса, и миссис Холлиер, которую я видела впервые, тоже. Меня оставили

в гостиной — определенно, я в жизни не видала такой бледной, безжизненной комнаты, — пока мужчины и миссис Холлиер тащили больного наверх. Через некоторое время наверх прошаркала престарелая экономка с чашкой — судя по всему, бульона. Прошло еще некоторое время; Даркур, доктор Грин и миссис Холлиер вернулись, и меня представили как студентку Холлиера. Миссис Холлиер полоснула меня взглядом, который оставил бы царапину на стекле, и кивнула, но ничего не сказала. Доктор говорил что-то утешительное про падение давления — внезапное, но не слишком опасное — и про необходимость отдыха, легкой пищи и детективных романов, когда пациент будет к этому готов. Доктор пообещал наведываться к больному.

Я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Даркур и доктор Грин были канадцами, понимали таких замороженных людей, как миссис Холлиер, и умели с ними управляться. Северные люди этой северной страны могут быть бодряще резки в отношении к метафизическим хворям, но я — совсем другой человек. У меня было неспокойное ощущение, что, пока Холлиер болен, его место здесь. Каким бы интеллектуальным авантюристом он ни был, этот холодный

дом — его дом.

Поэтому вечером я рассказала мамусе все. Во всяком случае то, что она способна была понять, потому что она упорно видела ситуацию со своей, оригинальной точки зрения.

— Конечно, он холодный и не может говорить, — сказала она. — Проклятие отскочило и попало в него самого, и теперь он смотрит внутрь себя — на свое собственное зло. Я ему говорила. Но разве он меня послушал? О нет! Только не наш великий профессор, мистер Современность! Он думал, что будет счастлив, если убьет своего врага, потому что именно это он и сделал — и даже не пытайся меня разубедить, — но теперь он знает, что такое убивать ненавистью. Кто убивает ножом или пулей, может, еще и выкрутится, если не слабак. Но когда человек вроде Холлиера убивает ненавистью… ему повезло, что он не умер на месте.

— Но, мамуся, это же не он убил Маквариша, а тот другой — монах.

— О, этот монах был ушлый. По-настоящему плохой человек. Жаль, что я его не знала. Такие люди редки. Но монах был лишь орудием, как нож или пистолет…

— Нет, нет, мамуся, монах всей душой ненави-

дел Макварища! И Холлиера тоже…

— Еще бы! Столько ненависти вокруг, она только и ждала, как бы взорваться. И Холлиер собирался меня втянуть во все это, подумать только! Он дурак, Мария. Не годится в мужья. Хорошо, что кофе с зельем выпил священник Даркур.

— Ты не хочешь взглянуть на вещи, как они есть.

— Да? Дура, слушай меня: я и вижу вещи, как они есть. Все прочее — лишь глупые разговоры людей, которые ничего не знают о ненависти, ревности и всем остальном, что правит их жизнями, потому что не хотят принять ничего этого как реальность, как настоящую силу. А теперь вот что: дай сюда ключи от машины.

— Зачем? Ты не умеешь водить.

— Я и не хочу водить. И ты не должна. Сорок дней. Ты ведь тоже во всем этом замешана. Не знаю насколько, потому что не верю, что ты мне рассказала всю правду. Но сорок дней, начиная с сегодняшнего, ты не будешь водить никакую машину. Не будешь, пока эти люди еще могут до тебя дотянуться.

— Какие еще люди?

— Маквариш и монах. Не спорь. Отдай ключи.

Я с деланой неохотой послушалась. Если честно,

мне совсем не хотелось попасть в какую-нибудь аварию, когда машина, как пишут в газетах, «теряет управление». Может, и так; но к кому это управление переходит?

Я очень беспокоилась о том, что появится в прессе. Написал ли Парлабейн в газеты в том же расхристанно-откровенном духе, что и нам с Холлиером? Нет, решив сыграть шутку в этом, как и во всем, Парлабейн отнес адресованное нам письмо сам в субботу вечером, после того как убил Макварииша. Сильно сокращенные отчеты, написанные им для трех торонтовских газет, — потом я узнала, что это были едва читаемые машинописные листки, исчерканные поправками, под плохую копирку, — он отправил по почте, но опустил их в ящик, предназначенный только для писем, идущих за границу. В каждое письмо он добавил несколько деталей от руки, так что все три газеты получили разные описания. Из-за этой неразберихи и того, что в пасхальный понедельник почту не носят, его исповедь попала в газеты только в четверг; полиция же получила свою копию с дополнительными деталями в пятницу — таковы уж капризы современной почты. Поэтому в понедельник газеты описали кончину Эрки как необъяснимое убийство, а в выходные

написали о ней опять, с богатыми подробностями из исповеди Парлабейна. Слава богу, в своих описаниях «церемоний» он не упомянул по именам ни меня, ни Холлиера — мы фигурировали только как хранители великого романа. Полиция объявила, что у нее есть данные, которых нет больше ни у кого, и что она не собирается их обнародовать; газеты предрекали большое опустошение среди торговцев наркотиками.

После того как в понедельник стало известно об убийстве и до четверга, когда выяснились его причины, университетское начальство осыпало Эрки похвалой: учитель, преданный своему долгу, великий ученый, человек выдающихся добродетелей и безупречного поведения, незаменимая потеря для научного мира… в общем, полный набор, в самом изысканном стиле. Публика строила догадки о личности «демона-вязальщика», который убил добродетельного ученого и «омерзительно надругался над телом», засунув в задний проход бархатную ленточку. Желанное разнообразие по сравнению с заурядными убийствами — молотком или пулей — никому не известных заурядных жертв: такие убийства пресса разукрашивала как могла, чтобы вызвать хоть какой-то интерес. По все это резко

прекратилось, когда правда вышла на свет: планы по проведению роскошной мемориальной службы в огромном актовом зале университета были свернуты. Мюррей Браун в своей речи перед депутатами парламента указал на то, что образование молодежи находится в руках сомнительных личностей, и заявил, что желательно было бы провести нечто вроде чистки во всем университете. И разумеется, новость о книге Парлабейна заворожила издателей. Нам стали обрывать телефон.

Кроме меня, отвечать на звонки было некому. В письме Парлабейна я упоминалась как один из двух человек, имеющих доступ к полной рукописи, а Холлиер был недосягаем. Он, счастливчик, все еще нежился в постели дома у матери и, по ее словам, не мог подойти к телефону. Поэтому я его заменяла, уворачивалась от прямых ответов и обещаний, отказывалась от встреч с разными людьми, а потом все равно была вынуждена с ними разговаривать, когда они вламывались в комнаты Холлиера. Против моей волн меня фотографировали газетчики, залегшие у входа в «Душок», и осаждали литературные агенты, желающие снять с меня бремя забот. Я испытывала на себе все прелести нежеланной славы. Мне

предлагали кучу денег за книгу «Джон Парлабейн, каким я его знала» и услуги литературных негров, чтобы написать за меня эту книгу с моих слов. (Предполагалось, что я, будучи аспиранткой, не способна членораздельно выражать свои мысли на письме.) Меня приглашали участвовать в телепередачах. Мать Холлиера была в ярости от такой шумихи и подозревала меня — шестым чувством, какое свойственно всем матерям, — в коварных замыслах против ее невинного сыночка. Она, кажется, не сомневалась, что во всей этой истории виновата я. Когда кто-то неумело попытался взломать дверь в комнаты Холлиера, я спрятала рукопись «Не будь другим» в сейф «Душка» и подала заявку на отключение телефона, но оказалось, что для ее выполнения нужно несколько дней. О, *tohu-bohu* и *brouhaha!*

У меня была еще одна причина благодарить покойного Парлабейна: ни в одном из писем к полиции он не упомянул папку Грифиуса. Я понятия не имела, где она сейчас. Но в пятницу на второй неделе атак издателей и газетчиков, под конец дня, я сидела во внешней комнате Холлиера, пытаясь (безуспешно) хоть как-нибудь продвинуться в собственной работе, и тут в дверь постучали.

— Убирайтесь! — крикнула я.

Пришедший снова постучал, погромче.

— Идите в жопу! — взревела я.

Но не запертая мною дверь открылась, и в нее просунулось ухмыляющееся лицо Артура Корниша.

— Мария! Разве так разговаривают со старыми друзьями?

— А, это ты! Если ты старый друг, то где ты был до сих пор?

— Я думал, ты занята. Я читал про тебя в газетах — они все пишут, что ты по двенадцать часов на дню сидишь взаперти с издателями, пьешь шампанское и торгуешься, чтобы подороже продать книгу своего дружка.

— Тебе хорошо острить; меня практически затравили.

— Ты рискнешь пойти со мной на ужин? Если надеть плотную вуаль, тебя никто не узнает. И может быть, засунуть подушку под пальто сзади. Я скажу, что ты — непрезентабельная тетушка: горбунья под вуалью. И вообще я хотел пойти в какой-нибудь уютный ресторан со скудным освещением.

Я сейчас плохо воспринимала юмор, но совершенно не возражала против того, чтобы меня

покормили. С тех пор как поднялся шум, я не осмеливалась выйти поесть, а от мрачных мамусиных обедов меня уже тошнило. Артур повел меня в очень хороший ресторан, посадил в темный угол и заказал прекрасный ужин. Все это было для меня как бальзам на душу — совершенно не похоже на еду в «Обжорке» в обществе Парлабейна. Конечно, мы говорили об убийстве, о шумихе и обо всех моих бедах. Мы не притворялись, что забыли о вещи, которая сейчас занимала нас больше всего на свете, но теперь я хотя бы могла посмотреть на нее под другим углом.

— Значит, Холлиер слег и оставил тебя на растерзание?

— Его добила потеря папки Грифиуса. Он просто не мог поверить, что Даркур ее забрал. Где она сейчас?

— У меня. Даркур так и не сказал, откуда она взялась, но по его недомолвкам я понял, что здесь как-то замешан Маквариш.

— Что ты собираешься с ней делать?

— Я подумывал о том, чтобы подарить ее на свадьбу.

— Кому?

— Тебе и Холлиеру, кому же еще. Ты ведь выходишь за него замуж?

— Нет.

— Значит, я ошибся.

— Ты ничего подобного не думал!

— Но вы с ним так увлечены совместной работой! Ты была его ученицей, практически апостолом. Как там тебя назвал этот монах-убийца? *Soror mystica.*

— Ты стараешься меня обидеть.

— Я не нарочно, я просто хочу поставить все точки над «і».

— Я не выйду за него, даже если он меня попросит. Да он и не попросит. Мать ему не позволит.

— Правда? Значит, он у нее под каблуком?

— Это не так. Его жизнь — в науке. Это часто бывает с людьми, работающими в университетах. Но когда я увидела его в доме матери, я поняла, что именно там до сих пор живут его чувства. Его мать меня невзлюбила.

— То есть?

— Когда она на меня смотрит, я так и вижу у нее над головой пузырь, как в комиксах, со словами «цыганская сучка».

— Неужели сучка?

— Для таких, как она, все цыганские девушки — сучки.

— Очень жаль. Мне так хотелось подарить тебе

эту папку на свадьбу. Ну что ж, когда решишь выйти замуж, все равно за кого, она твоя.

— О, не говори так. Пожалуйста, подари ее университетской библиотеке, потому что Холлиер жаждет эту папку больше всего на свете.

— Ты забываешь, что она принадлежит мне. Она не входила в список завещанного университету. Надо сказать, что я сам расплатился за нее меньше месяца назад: торговцы старинными рукописями не торопятся выставлять счета. Может, им стыдно, что они ломят такие цены. Но я не обязан делать одолжения профессору Холлиеру. Я уже говорил тебе, что у меня исключительный вкус и я не люблю людей, не ценящих то хорошее, что у них есть.

— Ты о чем?

— О тебе. Я считаю, что он обошелся с тобой безобразно.

— Но ты же не хочешь сказать, что он женится на мне, только чтобы заполучить Грифиуса? Неужели ты думаешь, что я соглашусь на такое?

— Не спрашивай меня об этом, а то ведь я возьму да и отвечу.

— Понятно. Ты обо мне очень плохого мнения.

— Мария, я о тебе невероятно хорошего мнения. Так что давай бросим глупости и перейдем к делу.

Ты выйдешь за меня замуж?

— С чего это вдруг?

— На такой вопрос можно очень долго отвечать, но я назову самую важную причину: я считаю, что мы стали очень хорошими друзьями и дальше будем дружить. И очень возможно, что станем друзьями навсегда.

— Друзьями?

— А что плохого в дружбе?

— Когда люди говорят о браке, они обычно используют выражения посильнее.

— Правда? Я не знаю. Я еще никому не предлагал выйти за меня замуж.

— Ты хочешь сказать, что ты никогда не был влюблен?

— Был, конечно. Много раз — даже не помню сколько. У меня были две или три любовные связи с девушками. Но я прекрасно понимал, что эти девушки — не друзья.

— Ты считаешь, что дружба выше любви?

— Да, как все люди. Нет, это я сморозил глупость. Конечно, все считают иначе. Люди говорят о любви к тем, в кого влюблены; иногда эта влюбленность доходит до раболепия. Я ничего не имею против любви. Это очень приятное чувство. Но я предлагаю тебе брак.

— Брак. Ты хочешь сказать, что ты меня не любишь?

— Конечно люблю, глупенькая. Но я серьезно предлагаю тебе выйти за меня замуж, а для меня неприемлем брак с человеком, которого я не считаю замечательным другом. Любовь и секс — прекрасны, но долго не живут. Дружба — такая, о которой я говорю, — это в первую очередь не секс, а любовь к ближнему и нежная забота, и она длится всю жизнь. Более того, дружба растет, а секс убывает; по-другому не может быть. Так что, — ты согласна выйти за меня замуж и быть моим другом? У нас будет и любовь, и секс, но не только. Не отвечай сразу, подумай немного. Но я хочу, чтобы ты очень серьезно подумала, потому что если ты откажешься…

— Ты поедешь в Африку стрелять львов.

— Нет, я решу, что ты сделала ужасную ошибку.

— Ты очень хорошего мнения о себе, да?

— Да, и о тебе тоже — лучшего, чем о ком бы то ни было. Мария, мы живем в эпоху свободы — мне не обязательно ползать на коленях, ныть и притворяться, что я не могу без тебя. Могу, и если придется, то буду. Но с тобой мне будет гораздо лучше, а тебе — гораздо лучше со мной, и глупо

было бы делать вид, что это не так.

— Ты чертовски самоуверен.

— Да, я такой.

— Ты не знаешь ни мою мать, ни моего дядю Ерко.

— Познакомь меня с ними.

— Моя мать ворует в магазинах.

— Зачем? Она богата.

— Откуда ты знаешь?

— Моя работа дает возможность выяснять такие вещи. Ты и сама не бедная. Но твоя мать не простая магазинная воровка. Видишь, я и это знаю. Она в некотором роде знаменита среди моих музыкальных друзей. Если такой человек ворует в магазинах — это каприз гения, как коллекции порнографии у некоторых знаменитых дирижеров. Но напомню тебе, что я не на твоей матери собрался жениться.

— Артур, ты очень уверен в себе, но ты многого не знаешь. Наверно, оттого, что у тебя нет родни.

— С чего ты взяла, что у меня нет родни?

— Ты сам говорил.

— Я сказал, что едва помню своих родителей. Но у меня толпы родственников. Правда, некоторые из них умерли, но во мне они еще живы.

— Ты правда так думаешь?

— Да, правда, и в этом есть нечто утешительное. Ты мне говорила, что не очень веришь в наследственность, хотя я не понимаю, как это согласуется с копаниями в прошлом — твоими и Холлиера. Если прошлое не считается, зачем нужно им заниматься?

— Ну… наверное, я немного преувеличила.

— Я так и думал. Ты пыталась отвергнуть свое цыганское наследие.

— Я передумала.

— Это очень правильно. От него все равно не избавиться, а если его отрицать, оно отомстит.

— Боже, Артур, ты говоришь точно как моя мать!

— Рад слышать.

— Не радуйся: то, что естественно в ее устах, звучит смешно, когда исходит от тебя. Артур, тебе когда-нибудь говорили, что ты склонен к менторскому тону?

— Люблю помыкать людьми, да?

— Да.

— Несносный всезнайка?

— Да.

— Нет. Даже не намекали. Обычно, если люди в разговоре со мной тщательно выбирают выражения, они говорят «решительный человек с

хорошо развитой интуицией».

— Интересно, что сказала бы о тебе моя мать?

— Любезно признала бы во мне родственную душу, я полагаю.

— Не будь в этом так уверен. Но что до наследия и всякого такого — ты хорошо подумал? Не забывай, женщины с возрастом становятся похожи на свою мать.

— Быть женатым на *пхури дай* — что может быть лучше? Ну ладно, сколько времени ты собираешься думать?

— Я уже решила. Я согласна.

Замешательство, поцелуи. Через некоторое время:

— Люблю, когда женщина умеет быстро принимать решения.

— Я все решила, когда ты назвал меня глупенькой. Меня еще никто так не называл. Мне говорили лестные вещи, вроде Софии, и нелестные, вроде непочтительной шлюхи, но еще никто никогда не предлагал мне дружбу. Я не могла отказаться.

Новый Обри VI

1

Я не венчаю людей, не поговорив с ними заранее. Я обязательно выясняю, что такое, по их мнению, брак и во что они, по их мнению, собираются вступить. Я действую в том числе из осторожности: я не хочу связываться с людьми, которые желают венчаться по придуманному ими самими сценарию, изобретают для себя замысловатые обеты и хотят заменить молитвы из требника на белиберду Халиля Джибрана[125] или еще какого-нибудь модного гуру. С другой стороны, я готов пойти навстречу брачующимся, если им, как современным людям, формулировки брачных обетов кажутся чересчур суровыми. Я также придирчив к музыке и не допускаю никаких там «О, обещай мне» или «Господь сотворил тебя для меня». Я не разрешаю использовать ни свадебный марш Мендельсона, поскольку это театральная музыка, ни марш из «Лоэнгрина», который был прелюдией к удивительно неудач-

[125] Примечания и комментарии: 125

Халиль Джибран (1883–1931) — ливанско-американский писатель и поэт, философ-мистик, художник, автор популярной повести «Пророк» (1923).

ному браку. Я не желаю рассматривать себя как живописное приложение к народному обряду, выполняемому людьми, у которых нет ни капли веры в Бога. Однако я не требую от людей, которых венчаю, строгого следования христианским канонам, поскольку и сам не очень ортодоксален.

Поэтому меня удивило стремление Артура и Марии сделать все строго по писаному. Удивило и немного встревожило: по моему опыту, чрезмерная ортодоксальность ведет к беде; некоторая доза пофигизма дает гораздо лучшие результаты.

Беседа с Артуром и Марией состоялась в моих апартаментах в Плоурайте в понедельник накануне венчания. Мария пришла раньше, и я обрадовался, потому что хотел поговорить с ней с глазу на глаз.

— Артур знает про вас с Холлиером?

— О да, я ему все рассказала, и мы согласились, что это не считается.

— В каком смысле «не считается»?

— Это значит — в том, что касается нас двоих, я все еще девственница.

— Но, Мария! В наши дни девственность невесты обычно никого не волнует. Что важно, так это любовь, доверие и серьезные намерения.

— Не забывайте, что я наполовину цыганка, а для цыган это очень важно. Все зависит от того, чья девственность: для пустых людей она, без сомнения, пустой звук.

— Тогда что вы сказали Артуру? Что, держали фигу в кармане?

— Симон, я не ожидала от вас такой пошлости.

— Это не пошлость. Я просто хочу быть уверен, что вы себя не обманываете. Для меня это не имеет значения, но, если для вас имеет, я хочу быть уверен, что вы действуете сознательно. Важнее всего — излечились ли вы от любви к Холлиеру.

— Не совсем. Конечно, я его все еще люблю; кроме того, Артур дарит мне на свадьбу папку Грифиуса, и, конечно, я буду работать над ней вместе с Холлиером. Но он — мятежный ангел, как и вы, милый Симон, и я люблю его так же, как вас, — хотя, конечно, вы священник, а он своего рода маг, а это очень большая разница.

— Почему?

— Маги не считаются. Мерлин, Клингзор и все прочие были не способны на человеческую любовь и обычно вдобавок импотенты.

— Жаль, что Элоиза с Абеляром этого не знали.

— Да. Они ужасно влипли. Если бы Элоиза хоть чуточку более трезво смотрела на вещи, она бы

поняла, что Абеляр чудовищно наивен в человеческих отношениях. Но конечно, ей было всего семнадцать лет. О, эти письма! Но не будем о них. Холлиер помог мне понять, что такое мудрость и научное познание, — вот что важно, а не то, что я один раз споткнулась на пути. А вы помогли мне ощутить — в меру моих теперешних способностей — щедрость и радость научного познания. Поэтому я люблю вас обоих. Но Артур совсем другой, и то, что я приношу ему, не тронуто ни одним мужчиной.

— Это хорошо.

— Артур говорит, что физический акт любви — метафора духовной встречи. С Холлиером это определенно было так. Независимо от того, что чувствовала я, он тут же устыдился.

— Я и не подозревал, что Артур такой философ в этих вещах.

— У него бывают удивительные мысли.

— У вас тоже. Я думал, вы хотите убежать от своего цыганского наследия.

— Я и хотела… до встречи с Парлабейном. Но он столько говорил о необходимости признать собственные корни и их равноценность кроне… Он помог мне понять, что я не смогу убежать от своей цыганской крови. Я должна ее признать,

потому что иначе она будет глодать меня всю жизнь, как язва. Мы собираемся проделать и цыганские обряды…

— Постойте! Я хочу вас обвенчать, но я не потерплю всякого там рассекания запястий, смешивания крови, махания кровавыми полотенцами в доказательство девственности и прочего. Я думал, вы хотите заключить христианский брак.

— Не бойтесь, ничего такого не будет. Но Ерко очень серьезно относится к своей роли — он ведь заменяет мне отца. Кстати, по цыганскому счету он, как брат матери, даже важнее. Ерко потребовал у Артура, и получил, выкуп за меня — золотом. И церемониально принял Артура как *пшала* — ну, знаете, это *гаджё,* которые женились на цыганках. Они считаются братьями, хотя, конечно, не полноправными цыганами. А мамуся дала нам хлеб и соль: она разломала булочку с коркой, посолила, и мы должны были съесть половинки, пока она провозглашала, что мы будем верны друг другу, пока нам не надоедят хлеб и соль.

— Да вы целый цыганский хоровод устроили. Вы уверены, что после всего этого хотите еще и венчаться?

— Симон, как вы можете! Конечно мы хотим,

чтобы наш брак благословили. Мы серьезные люди. Я стала гораздо серьезнее, гораздо реальнее, оттого что признала свои цыганские корни.

— Ясно. А как у Артура с корнями?

— У него весьма обширная корневая система. Полный погреб сушеных корней, как он сам выражается.

Пришедший Артур не поддержал тему корней. Кажется, ему больше хотелось прочитать мне лекцию об ортодоксальном подходе, о котором он оказался неожиданно высокого мнения. Артур сообщил мне, что в наши дни распадается столько браков, потому что люди боятся задать для себя достаточно высокую планку: вступая в брак, они одним глазом косят в сторону пожарных выходов, вместо того чтобы принять его как состояние, из которого отступать некуда.

Наверное, он ожидал, что я начну с жаром соглашаться. Но я не стал. Впрочем, я и не спорил: я слишком хорошо знаю жизнь, чтобы пытаться что-либо объяснять настоящему богачу. Они не лучше молодежи: они знают всё. Мария и Артур согласились, что не хотят упрощенной венчальной службы из современных требников, поэтому Артур принес с собой красивый старинный томик, датированный 1706 годом, с портретом

королевы Анны (вот уж действительно, лучше не нашел) на фронтисписе, — явно из коллекции покойного Фрэнсиса Корниша. Я, конечно, знал порядок этой службы, но счел необходимым пройти ее с Артуром и Марией, чтобы они точно знали, во что ввязываются. Разумеется, они настояли на включении той части поучения венчающимся, где им запрещают вступать в брак «для удовлетворения людских страстей и похотений, подобно безсловесным животным». Артур и Мария пожелали принести брачные обеты «во избежание блуда»,[126] а Мария заявила, что готова публично пообещать «бояться своего мужа». Да, они действительно хотели, чтобы во время венчания прозвучало слово «бояться», столь ненавистное современной эмансипированной молодежи. На мой вопрос Мария ответила, что рассматривает это обещание как нечто вроде клятвы верности монарху, — еще один обет, который современные люди не принимают всерьез.

Я бы не согласился на подобные анахронизмы, но эти двое ужасно трогательно радовались, что брак «был установлен для доброжелательного общения, взаимной помощи и поддержки». Они

---

[126] Примечания и комментарии: 126

…«во избежание блуда»… — Первое послание апостола Павла к коринфянам, 7: 2.

явно искали именно этого, и Артур высказался весьма красноречиво:

— Люди совершенно недостаточно общаются. Те, для кого секс — хобби, распространяются о своем любимом занятии, но никогда не признаются, что с возрастом оно неминуемо уходит на задний план. Кое-кто считает брачным алтарем не кровать, а кухонную плиту, ставя брак на службу чревоугодию. Но почему никто не вспоминает о тесной дружбе на всю жизнь? Такая дружба воплощается в разговорах на самые разные темы. Если люди по-настоящему живут и мыслят, то эта дружба никогда не кончается, она удлиняет саму жизнь, потому что всегда находится что-то еще не сказанное.

— Я раньше думала, глядя на пары в ресторанах: как ужасно, когда люди сидят и молча едят, ни словом не обменяются, — сказала Мария. — Но теперь я понимаю, что это не обязательно так. Может быть, им для общения не нужно все время говорить. Истинное общение — это не обязательно шевеление языком; иногда это — насыщенное глубоким смыслом общее молчание. Но мы с Артуром говорим не переставая с тех самых пор, как решили пожениться.

— Я вот подумал: может быть, мы совершенно

неправильно понимаем легенду об изгнании из рая, — сказал Артур. — Может быть, Господь выгнал Адама и Еву из рая за то, что они ценой невинности обрели познание, а Бог им позавидовал. «…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его».[127] Узнаете, Симон?

— Одно из гностических Евангелий, — сказал я, слегка уязвленный тем, что этот юнец пытается наставлять меня в моей собственной профессии.

— Евангелие от Фомы, и там написаны довольно опасные вещи, — разъяснил Артур, который сейчас и папе римскому прочитал бы лекцию, нуждайся тот в помощи. — Адам и Ева узнали, как можно изучать Царство Отца, и с тех пор их потомки этим неустанно занимаются. Именно в этом смысл университетов, когда они не отвлекаются на пустяки. Конечно, Богу стало завидно: Его попросили поделиться своим Царством. Я уверен, что Адам и Ева уходили из рая смеясь; они радовались, что поменяли ничего не знающую невинность на бесконечное разнообразие возможностей.

Все это было прекрасно и намного лучше того, с чем я обычно сталкиваюсь при беседах с жени-

---

[127] Примечания и комментарии: 127

«…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его». — Евангелие от Фомы, 117.

хами и невестами. Они, бедняжки, в основном довольно глупы и совершенно не способны выразить словами свои ожидания. Они, кажется, даже не очень понимают, какова моя роль в этом обряде. Я не выдаю людям лицензии на право спать в одной постели и пользоваться одним полотенцем — я служу посредником между ними, просящими, и Тем, Кто выслушивает прошение. Но все же я сомневался. Эти двое как-то слишком красиво говорили. А мне нужна была полная уверенность, ибо я по-прежнему всем сердцем любил Марию.

Она поняла, что у меня неспокойно на душе, и перед уходом сказала:

— Девиз нашего брака — то, что вы цитировали на самом первом семинаре. Помните, из Августина?

— *Conloqui et conridere…*

— Да. «Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение». И конечно, взаимные благожелательные услуги включают в себя секс. Так что, Симон, дорогой, пожалуйста, не надо так беспокоиться.

Но я не мог не беспокоиться, потому что был

всего лишь человеком. Я терял невероятно способную ученицу. Я терял женщину, которую какое-то время считал земным воплощением Софии. Да, я знал, что не могу ею обладать, но я все еще любил ее — и собирался навеки связать с человеком, о котором я знал только хорошее, но который мне все же чем-то не нравился.

Я решил, что это зависть. Она должна быть хорошо знакома мятежным ангелам. Это непопулярная страсть: люди с каким-то даже удовлетворением признаются в своей жадности, или вспыльчивости, или даже скупости, но кто признается, что завистлив? Зависть не так легко представить в виде добродетели, надевшей черную маску. Но моя работа как священника — смотреть человеческим грехам в лицо и называть вещи своими именами. Я завидовал Артуру Корнишу, потому что он собирался занять главное место в сердце женщины, которую я все еще любил. Но, как сказала Мария, мятежный ангел, ведя женщину к свету, в большой мир, частично отбирает у нее невинность. Неудивительно, что человек, сыгравший эту роль, завидует тому, кто пожинает плоды его трудов. Я не сомневался, что я сам способен понимать и ценить Марию так, как Корниш никогда не сможет; но я так же

твердо знал, что Мария никогда не будет моей — разве что в мифологической плоскости, о которой она сама мне говорила. «Ваша беда, отец Даркур, в том, что вы хотите одновременно и рыбку поймать, и рясу не замочить: вы хотите быть у Марии первым и главным, но не желаете платить за это положенную цену». Ладно, я все понял. Но боль не утихла.

Почему я так подозрительно относился к Артуру? Потому что у меня была возможность разглядеть его крону, но я ничего не знал о его корнях — за исключением выводов, которые можно было сделать на основании того, что он любит и понимает музыку. Мария, кажется, отдалась ему полностью; все, что она говорила в нашей сегодняшней беседе, каждое слово отдавало какой-то… нет, не фальшью, но чужеродностью, чем-то таким, что было не Марией, но Артуром. Я такое замечал у множества невест, но Марию нельзя было ставить с ними на одну доску.

И вся эта ортодоксальность… до чего она может довести? По моему опыту, основы христианской веры, правильно понятые, составляют самый лучший костяк для жизни и для брака. Но людям интеллектуального склада нужно добавлять еще и наполнитель — я употребляю это слово в кули-

нарном смысле, как дополнительные продукты, которые подмешивают к основному блюду, чтобы увеличить порцию. Иначе еды не хватит. Одними костями сыт не будешь.

Молодые пары, с которыми я беседую перед венчанием, чистосердечно веруют — или имитируют чистосердечие, которого, по их мнению, я ожидаю. Но я знаю, что в доме, который они построят, будут и другие боги, кроме Единого Бога. Римляне верили в ларов и пенатов, и были правы: в каждом доме и в каждом браке есть малые боги. Иногда они раздуваются до невероятных размеров. Они могущественны, даже если хозяева дома не осознают их присутствия. У каждого такого бога есть темная сторона, готовая натворить беды: так, гордость притворяется самоуважением, гнев — верностью принципам высокой морали, похоть — свободой выбора. Какие боги поселятся в доме Корнишей?

Я знал про особый конек Марии: это честь — понятие, найденное у Рабле и взятое Марией на вооружение. Честь, которая, как говорят, побуждает людей к добродетельным поступкам и удерживает от греха. Есть ли у этого бога темная сторона? Не буду тратить время на бесплодные гадания. Но я вполне могу себе представить,

каких адских бед может натворить Честь, если раздуется слишком сильно и заслонит лицо Единого Бога.

2

Свадьба Марии решительно удалась — если принять во внимание обстоятельства и закрыть глаза на кое-какие странности. Стоя у алтаря в ожидании невесты, я видел, как она разувается на том конце часовни «Душка». Невеста предстала предо мной босиком, хотя длинное белое платье почти все время закрывало ее ступни. От этого она стала ниже — такой маленькой я ее ни разу не видел, — так что Артур Корниш при своем среднем росте возвышался над ней. Он был одет красиво и в соответствии с обычаями; ясно было, что фрак сшит по мерке, а не взят напрокат. Многие свадьбы приобретают комический оттенок из-за того, что жених одет в плохо подогнанную прокатную одежду и явно не умеет держаться в накрахмаленном воротничке (первом в его жизни). Я считаю, если жених выглядит шутом — это плохая примета. Чаще всего человека подводит неумение носить цилиндр. Артур и его свидетель выглядели безупречно. Свидетелем был Герант Пауэлл, подающий надежды молодой актер со Стратфордского театрального фестиваля, — красивый, уверенный в себе, он

занимал слишком много места, как часто бывает с актерами во время торжественных церемоний. Интересно, подумал я, где это Артур нашел такого приятеля, — лет пятьдесят назад его назвали бы кумиром сумасшедших театралок.

Музыка тоже идеально подходила к случаю, — должно быть, выбирал ее Артур. Странно было видеть, как Мария с безупречной грацией босой цыганки приближается под руку с Ерко по длинному центральному проходу. Ерко ступал вразвалку, как огромный медведь, и демонстративно улыбался сквозь слезы — видимо, решил, что ему подобает именно такое сочетание эмоций. Он где-то — одному Богу известно где — откопал фиолетовый аскотский шейный платок и заколол его булавкой, на которой красовался гранат размером с яйцо.

Мамуся красовалась на первом от прохода месте в первом ряду на стороне, принадлежащей гостям невесты, — *пхури дай* в парадном одеянии, сложные нагромождения юбок, пестрые жилеты, не меньше трех шалей, а волосы намаслены до того, что она уподобилась Богу Сиона: ее стези источали тук.[128] Мамуся не плакала: она хранила

[128] Примечания и комментарии: 128

…*уподобилась Богу Сиона: ее стези источали тук.* — Псалтырь, 64: 12.

достоинство, как подобает матриарху.

Но стоило появиться Марии, как я уже не видел никого, кроме нее. Когда она приблизилась, сердечная боль сменилась удивлением, ибо на Марии было надето самое длинное ожерелье, какое я когда-либо видел. Ему позавидовал бы и лорд-мэр великого города. Оно состояло из золотых дисков диаметром не меньше двух дюймов, с выбитым на них изображением какого-то рогатого животного. Я не стал разглядывать надписи, ибо невежливо было бы пялиться на невесту, но мне бросилось в глаза непонятное слово «Fyngoud». Что это? Какое-нибудь шотландское сокровище? Рядом с ним меркло мамусино монисто из талеров Марии-Терезии, надетое по торжественному случаю. Сходство с золотой цепью мэра усиливалось тем, что ожерелье было приколото высоко на плечах и часть его свешивалась на спину под фатой. Если бы оно просто висело на шее, как обычные бусы, оно достало бы невесте почти до бедер.

Вот она, милая моя, радость моя, стоит рядом с человеком, которому я ее отдаю. Пора начинать.

— Возлюбленные мои, сегодня мы собрались здесь перед лицом Господа и перед лицом сего собрания верных…

Уж и компания подобралась! На невестиной стороне, кроме мамуси, один только Клемент Холлиер, а на стороне жениха довольно много народу: возможно, родственники, хотя, скорее всего, также члены советов директоров и бизнес-партнеры.

— …чтобы соединить этого мужчину и эту женщину священными узами брака.

Засим я выполнил это намерение, не переставая удивляться тому, как коротка венчальная служба и как просты и неизбежны ответы в отличие от нудной клоунады, которую приходится выполнять при разводе. Под конец я по долгу службы призвал Господа преисполнить Марию и Артура особым духовным благословением и благодатью, даровав им так прожить сию жизнь, чтобы в жизни будущего века войти в Царствие Божие. Думаю, никогда еще, произнося эти слова, я не чувствовал себя так двусмысленно.

Свадьба была утренняя — снова стремление Артура сделать все «как положено». За ней последовал прием — или угощение, называйте как хотите, — в одной из комнат, которые «Душок» иногда предоставляет для этой цели. Зала, отделанная резным дубом, была полна торжественной академической мрачности. Мамуся

держалась как королева на придворном балу, милостиво привечая — как она явно думала, в европейском, венском стиле — бизнес-приятелей Артура, которых, кажется, всех звали мистер Шурумбурум и миссис Кактотам. Мария сняла фату и повязала платок по фасону, положенному замужней женщине. Ерко уже сильно напился и был очень разговорчив.

— Поп Симон, вы видали монисто? — спросил он. — Как вы думаете, сколько оно стоит, а?

Он дышал мне в ухо теплом и спиртовыми парами, называя немыслимую сумму.

— Я сам его сделал; у меня ушла целая неделя, по многу часов каждый день. Я вам скажу очень важную вещь: все это золото — выкуп за Марию! Кроме цепочек, их я сделал из кое-каких вещей, что остались от Мариного отца. Ну вы знаете, выкуп — то, что Артур мне заплатил как ее дяде, чтобы на ней жениться. Вы скажете, это невиданное дело, но так заведено у цыган, потому что Артур богатый и *гаджё,* он должен заплатить много. Мы с сестрой тоже люди не бедные, но обычай есть обычай. Потому мы все вернули в виде ожерелья. Вы видели эти большие монеты? В каждой — полная унция золота. Угадайте, что это такое. Ну, угадайте, угадайте. Крюгерранды,

вот что! Чистое золото,[129] и они принадлежат Марии, так что она, в случае чего, не останется с пустыми руками. Потому что эти *гаджи,* у них и деньги-то бумажные: того и гляди, «пфф»! — и ничего нет. Ничего себе, а? Что вы скажете о семье, которая отдает назад весь выкуп за невесту?

Я мог сказать только то, что это неслыханная щедрость. Холлиер нас слушал; он молчал, и вид у него был кислый. Но Ерко со мной еще не закончил.

— Скажите, поп Симон, что это за церковь у вас такая? Я знаю, вы хороший поп — настоящий, очень большой силы, — но я смотрю вокруг, и что я вижу? Где Беби Исус? Нигде нет! Ни картинки, ни фигуры. За алтарем куча старых святых, но ни Беби Исуса, ни его матушки. Разве в этой церкви не знают Беби Исуса?

— Ерко, Беби Исус тут повсюду, можете не сомневаться.

— Я его не видел. Я хочу видеть, тогда поверю.

Ерко зашлепал прочь — налить себе еще шампанского, которое он пил большими глотками.

---

[129] Примечания и комментарии: 129

Крюгерранды… Чистое золото… — Крюгерранд — южноафриканская монета, содержащая одну тройскую унцию золота. Также см. выше: «…бросилось в глаза непонятное слово „Fyngoud“. Что это? Какое-нибудь шотландское сокровище?» Дело в том, что fyngoud — это «чистое золото» на африкаанс.

— Вот видите, — сказал я Холлиеру. — Я, кажется, согласен с Ерко: свидетельства веры в наших церквах должны быть более наглядными. Наша вера слишком утонченна — мы ее утончили до того, что скоро и вовсе ничего не останется.

— Чепуха, — сказал Холлиер. — Вы ничего подобного не думаете. От подобных мыслей один шаг до пошлейших гипсовых статуэток. О Сим, как я все это ненавижу. Весь этот этнографический колорит напоказ — выкуп за невесту, босые ноги. Сейчас мы пойдем хороводом под залихватские вопли, разливая вино из кубков.

— Я думал, вы в своей стихии. Дикая душа, как она есть. Залихватские вопли и необузданное веселье.

— Только если все это не показное. А так это похоже на танец-заклинание дождя, какие индейцы пляшут для заезжих политиков.

Он, кажется, все еще не оправился после нервного срыва, так что я не стал ему противоречить. Но мои собственные мысли в точности отвечали его словам.

— Извините, — сказал он. — Мне нужно произнести тост за невесту, а необходимость произносить речи на меня всегда плохо действует.

Но он зря беспокоился: многочисленные

господа Шурумбурум и дамы Кактотам были настоящие канадские WASP-ы и вряд ли собирались петь или разуваться. Распорядителем церемоний был Пауэлл, актер. Через несколько минут он призвал всех собравшихся к молчанию, чтобы Холлиер мог произнести речь. И Холлиер произнес ее; мне почудилась в его словах мрачность, неуместная для свадьбы, но за сами слова я был ему благодарен.

— Дорогие друзья, мы собрались по радостному случаю, и мне выпала особая честь — произнести тост за невесту. Я делаю это с глубочайшим чувством, ибо я люблю ее как учитель, для которого она была самым благодарным и способным из учеников. Я скажу вам, что учитель может стать великим только с великими учениками. Мария дала мне возможность превзойти самого себя и удивить самого себя. То, что я вложил в нее — мне глупо было бы скромничать, преуменьшая свой вклад, — она достойно вернула, приумножив и согрев истинной теплотой. Сейчас Марию окружают ее две семьи. Ее мать и дядя, ярко выраженные представители древней культуры, идущей с Востока. И мы с отцом Даркуром, преданные слуги другой культуры, которая стала для Марии родной и которой Мария принесла

великие дары. Одна мать, *пхури дай*, мать-земля, присутствует среди нас во всем великолепии; другая, альма-матер, матерь кормящая, — университет и вся необъятная вселенная познания и научной мысли, частью которой он является, — окружает нас со всех сторон. При таком богатом наследии почти излишне желать Марии счастья, но я все же сделаю это от всего сердца. Еще я хочу пожелать ей и ее мужу долголетия и всех радостей, которые может принести союз корня и кроны. Те, кто знает о любви Марии к Рабле, поймут, почему я желаю ей счастья словами великого гуманиста: «Vogue la galère — tout va bien!»[130]

Шурумбурумы и Кактотамы вежливо зааплодировали: кажется, речь Холлиера слегка сбила их с панталыку. Скорее всего, они ожидали услышать типичную речь благодушного дядюшки с шутками и прибаутками. Затем последовала речь Артура, которая отнюдь не разрядила обстановку. Он сказал, что жениться — значит принять участие в опасной игре с высочайшей ставкой: можно достичь полноты жизни — или, наоборот, обеднить ее, втиснуть в узкие рамки. Эта игра — для подлинно зрелых игроков.

---

[130] Примечания и комментарии: 130

«Плыви, корабль! Все хорошо!» *(фр.)* — Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Т. II, гл. XXIII.

Речи женихов на свадьбе всегда ужасны, но эта повергла меня в особенное замешательство.

Когда речи закончились и настало время уходить — я, как священник, знаю, что уйти нужно до того, как все заметно напьются и заведут семейные ссоры или ввяжутся в кулачные драки, — я пошел прощаться с Марией.

— Надеюсь, мы снова увидимся в следующем семестре, — сказал я, поскольку ничего более оригинального мне в голову не пришло.

— Я пока не знаю. Я, может быть, возьму академический отпуск на год, чтобы привыкнуть к замужеству. Но я вернусь. Клем правильно сказал: это мой дом, а вы — моя семья. Спасибо вам, милый Симон, за то, что обвенчали меня с Артуром, и за весь прошедший год. Я очень многому научилась у вас и у Клема.

— Рад слышать.

Но тут моя Мария скорчила дразнящую, проказливую гримаску, какой я никогда у нее не видел.

— Но я все-таки думаю, что самому важному меня научил Парлабейн.

— Чему вы могли научиться у этого разбойника?

— «Не будь другим, если можешь быть собой».

— Но вы этому научились у Парацельса!

— Я это прочитала у Парацельса. Но научилась я этому у Парлабейна. Понимаете, Симон, он тоже был мятежным ангелом.

Холлиер вышел вместе со мной — такой убитый, что я боялся оставлять его одного.

— Вам лучше пойти домой и отдохнуть, — сказал я.

— Я не хочу домой.

Это я мог понять. Общество матушки Холлиера не лучший вариант для человека, чья любимая только что вышла замуж за другого. Пора мне высказаться:

— Слушайте, Клем. Ни мне, ни вам нет смысла утопать в жалости к себе. Мы обладали Марией в той мере, в какой могли, и сами отдали ей все, что позволяли нам природа и обстоятельства. Не будем тешить себя горько-сладкими радостями отречения. Никаких там «То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше...».[131] Мы должны быть собой и понимать, что мы такое: мы — мя-

[131] Примечания и комментарии: 131

«То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше...» — слова Сиднея Картона, героя романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах», действие которого происходит во время Великой французской революции. Сидней Картон пожертвовал собой ради другого человека и был гильотинирован вместо него. Предсмертный мысленный монолог Картона заканчивается словами: «То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал; я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни» (цит. по пер. М. Богословской и С. Боброва).

тежные ангелы. Во всяком случае, мы можем надеяться, что мы — именно они, а не просто два глуповатых немолодых профессора, хнычущих о несбыточном.

— Но какой же я дурак! Почему раньше не догадался!

— Клем, не гневите фортуну. Вы думаете, что потеряли Марию. А я скажу, что вы от нее удачно освободились. Помните, что *пхури дай* нагадала вам на Рождество? Последней картой было вечно вращающееся колесо Фортуны. И вот это колесо повернулось в вашу пользу. Скажете, нет? Папка Грифиуса будет ваша, как только вы с Марией снова начнете работать вместе. Это и есть ваша судьба — в вашем-то возрасте и с вашим характером. Вы не герой-любовник: вы слишком сильный маг, чтобы быть любовником. А теперь слушайте меня: идите к себе в комнаты, поспите после обеда и приходите ужинать в Плоурайт ровно к шести часам. У нас сегодня гостевой вечер.

— Нет, нет, я буду лишним у вас за столом.

— Нисколько; один гость отказался в последний момент, так что судьба явно освободила его место для вас. Коктейли начинаются в шесть. Смотрите не опаздывайте — декан этого не любит.

3

Этот гостевой вечер был особенно оживленным, потому что оказался последним в сезоне: за ним должен был последовать большой перерыв на лето. Кроме того, праздники в этом году сложились так, что это был первый гостевой вечер после Пасхи. Когда закончилась первая часть вечера, студенты разбежались по своим делам, а мы спустились на первый этаж в зал профессуры, оказалось, что все завсегдатаи на месте и, кроме них, присутствуют еще два гостя: Джордж Нортмор, судья Верховного суда провинции, и Бенджамин Джубили из библиотеки университета.

Я подумал: скоро ли за столом заговорят об убийстве Эркхарта Макварiша, и кто будет первым? Я мысленно побился об заклад сам с собой, что это будет Роберта Бернс, и выиграл. Я снова, ради «Нового Обри», дам отчет о том, «как они болтали во хмелю».

— Бедный Эрки. Помните, он ужинал с нами прошлой осенью? Как он гордился своей косточкой пениса, бедняга. Хотел меня шокировать, но не на такую напал: он просто не знал, что ин-

теллигентная женщина средних лет — крепкий орешек…

— Он был оксфордец старой закалки, — объяснила Пенни Рейвен. — Он думал, что женщины — очаровательные создания, в чьих плотских печурках можно раздуть жаркий огонь очаровательно непристойной академической болтовней. Ну что ж, одним меньше, но в университете еще осталось немало таких, кому прямая дорога — вслед за ним.

— Пенни, это на вас совсем не похоже! — воскликнул Ламотт.

— Ну что вы, Пенни, — вмешался Делони, — бедный Эрки умер. Давайте будем великодушны к побежденным.

— Да, — подхватил Хитциг, — мы не гиены и не биографы, нам не обязательно мочиться на мертвых.

— Ну ладно. *De mortuis nil nisi hokum,*[132] — сказала нераскаянная Пенни.

— Я сам из Оксфорда и не меньше времени провел там, чем Маквариш, — сказал декан. — Но я никогда не думал о женщинах плохо.

---

[132] Примечания и комментарии: 132

О мертвых ничего, кроме чепухи *(искаж. лат.).* Перефразированное латинское крылатое выражение «De mortuis nil nisi bene» («О мертвых ничего, кроме хорошего»).

— Да, господин декан, но вы ведь из Баллиола. Красавцы и джентльмены. А Эрки был из колледжа Магдалины — совсем другая корзина с яйцами… точнее, без яиц.

Декан расплылся в ухмылке, — видимо, память о давнем соперничестве еще тлела у него в душе.

— Интересно, что стало с его эротической коллекцией, — сказала Роберта Бернс. — У него возле двери стояла порнографическая колодка для обуви, она меня всегда интересовала.

— Порнографическая ко…! — Ламотт любил изображать невинность в разговорах с женщинами.

— Да, представьте себе. Голая женщина из латуни, лежащая на спине, с разведенными ногами. Чтобы снять галошу, нужно было наступить одной ногой на лицо, а другую втиснуть в промежность. Довольно удобная штука, но оскорбляла мое чувствительное достоинство как женщины.

— Совершенно не понимаю, зачем людям такие гадкие игрушки, — сказал Ламотт. — За много лет наблюдений я уяснил себе, что имущество человека — гораздо более верный ключ к его характеру, чем все слова и поступки. Если понимаешь язык вещей.

— В ваших шкафах мы найдем только старинный фарфор, — сказал Делони. — Но, судя по тому, что я слышал, Рене, это отнюдь не гарантия высочайшего вкуса.

— Что такое, что такое? Ну-ка, расскажите, — заинтересовалась Роберта.

Ламотт покраснел.

— Ходят слухи, что у Рене прекрасная коллекция бурдалу.

— Пардон?

— Это фарфоровые «утки» — их подсовывали себе под юбки элегантные дамы в восемнадцатом веке во время долгих путешествий в неотапливаемых экипажах.

— Нет, нет, — сказал Ламотт. — Они получили свое название в честь аббата Бурдалу, который произносил необыкновенно длинные проповеди, в высшей степени испытывающие людскую выдержку. Но кто это про меня такое?..

— Ага, интересно? А они правда разрисованы неприличными картинками?

— Если принять во внимание, что я пью минеральную воду, а вы — портвейн, вы это не скоро из меня вытянете.

— Слишком утонченные умы легко соскальзывают в непристойность. Будьте осторожны, Рене:

мы за вами неотступно следим.

Теперь ухмыльнулся Ламотт.

— Что я слышу! Вы обсуждаете ужасное потрясение всего университета — убийство Макварриша? — завопил Дердл с того конца стола, хотя этикет строго-настрого запрещал подобное.

— А, убийство с розовой ленточкой! — воскликнул судья Нортмор. — Я прочитал все статьи во всех трех газетах, но они были чрезвычайно неясны и противоречивы. Единственное, в чем я полностью уверен, — в том, что профессор университета был убит при обстоятельствах, до некоторой степени будоражащих воображение. Жаль, что дело не дошло до суда, — тогда, быть может, нам удалось бы заглянуть в самые глубины…

Роберта Бернс фыркнула. Декан поднял брови.

— Чтобы раскопать всю правду о десяти футах розовой ленты в заднем проходе убитого. Зачем и кому понадобилось ее туда засовывать?

— В одном из признаний упоминалось о неких «церемониях».

— Да, да, мистер Ладлоу, но что это были за церемонии?

— Полное объяснение этого факта было дано только в письме, адресованном полиции. Я имел

случай с ним ознакомиться, — сказал Ладлоу. — Что-то очень сложное, с участием королевы Анны.

— Неужели мы не можем переменить тему? — взмолился декан.

— Ладлоу, потом расскажете, — прошипел судья.

Но беспомощная мольба декана не могла остановить поток.

Делони допрашивал Ладлоу:

— Что стало с телом?

— С телом Макварииша? Надо полагать, полиция выяснила все, что нужно, и отдала его родственникам.

— А я и не знал, что у него были родственники.

Тут я мог вмешаться в силу своей осведомленности:

— Не было. Поэтому университет взял все на себя и похоронил его без шума. В крематорий пришли только один-два человека из администрации ректора.

— Не очень-то пышная «церемония». Но еще, надо полагать, и священник? Кто это был? Не вы, Симон?

— Нет, не я. Однако я отпевал убийцу, если вас это интересует. Я знал его с очень давних

времен.

— А я думаю, что он, в смысле — убийца, заслуживает награды, — сказала Эльза Чермак.

— Эльза! А мы и не знали, что у вас зуб на Эрки!

— Нет, я имею в виду — за то, что он прикончил себя сам, не вводя государство в немаленькие судебные расходы. Он, наверное, был незаурядным человеком.

— Это точно, — сказал Холлиер.

— Он ведь покончил с собой? — спросил любопытный Делони. — Я слыхал, что он выпил целую канистру репеллента для собак.

Странно было видеть, как Холлиер защищает Парлабейна:

— Ничего подобного, могу вас уверить. Он был исключительным человеком, его способности внушали страх, а чувство стиля было идеальным — он никогда не опустился бы до смерти от собачьего репеллента.

— А ведь от него осталась книга! Великая книга. Она действительно так хороша? — спросил Дердл.

— Когда ее опубликуют? — спросил Аронсон. — Холлиер, ведь это вы ею занимаетесь?

— Этим занимались другие, пока я болел, — от-

ветил Холлиер. — Насколько я понимаю, сбор предложений от издателей пока не закончен. Люди, даже не видевшие книгу, желают купить права на экранизацию.

— Важнее всего то, что рукопись следует поместить в университетскую библиотеку, — сказал Джубили, профессиональный архивист. — Она родилась в этом университете, она была причиной инцидента, который, сколь он ни ужасен, навсегда останется в анналах университета. Поэтому рукопись нужно поместить туда, где ей следует находиться по праву.

— Он оставил ее библиотеке своего старого колледжа, — сказал Холлиер. — Святого Иоанна и Святого Духа. Для вас — «Душка».

— Боюсь, в такой мелкой библиотеке не умеют правильно обращаться с рукописями, — сказал Джубили. — Вы можете гарантировать, что ее будут хранить как следует, переложив страницу за страницей листами бескислотной бумаги?

Я вспомнил рукопись Парлабейна — замызганную пачку листов — и улыбнулся про себя.

— Не понимаю, как вы можете называть это «инцидентом», — сказал Дердл. — Как вы не видите: это наше собственное преступление, да еще какое! Сколько университетов могут похвалиться

собственным преступлением — то есть общепризнанным, неоспоримым? Оно придает нам особое качество, ставит нас гораздо выше любого другого североамериканского университета. Оно попало в международные новости! Это стоит не меньше трех нобелевских лауреатов! Поднимает нас на небывалую высоту в научном мире!

— Какая чушь! — воскликнул Стромуэлл. — Как можно такое говорить?

— Как можно такое спрашивать? А еще медиевист! Каковы были великие ученые прошлого? Корыстные попрошайки, бахвалы, злопамятные задиры и склочники. Эрки и его убийца — именно из такого теста. И еще они были великими гуманистами. А что такое современный ученый? Затхлое пугало в тисках мещанского «как бы чего не вышло».

— Говорите только за себя, — возразил Стромуэлл.

— Я и говорю за себя! Именно это я сегодня утром сказал жене за завтраком.

— А она?

— Она, кажется, ответила: «Да, дорогой» — и продолжала составлять список покупок. Но это не важно, а важно то, что некая гротескность и вырывающаяся из ряда оригинальность необ-

ходимы для настоящего ученого и придают ему особую славу. Мрачное величие убийства Эрки падает отсветами на всех нас; оно сообщает частицу величия и нам. А книга его убийцы — это в каком-то особом смысле наша общая книга.

— Вы даже не знаете, хороша ли она.

Пока они препирались, другие участники застолья пытались в угоду декану переменить тему.

— Я слышал из надежного источника, что скоро в нашем университете появится еще один нобелевский лауреат, — объявил Бойз.

— То есть ему ее дали? — уточнил Гилленборг.

— Ну, пока нет официального объявления, стопроцентной уверенности быть не может, но в этом году было только три претендента, и я слышал, что наш — первый в списке.

— Я так и думал, когда прочитал его Коберовскую лекцию. Ози говорил как человек, который знает, что пришел разбудить мир. Нам всем придется научиться думать по-новому. Экскременты — ежедневный барометр, показывающий, куда движется тело, а возможно, и душа, — к здоровью или болезни. Разумеется, Ози стоял на плечах Шелдона, но все мы стоим на чьих-нибудь предыдущих трудах.

— Именно в этом блеск и слава университета, —

сказал декан. — А не в каких-то там ужасных нарушениях естественного порядка.

— Вы всегда тяготеете к свету, господин декан. Возможно, для гармонии нужно и то и другое.

— Совершенно верно, — согласился декан. — Сознаюсь, я никогда особенно не любил Макварриша, но хорошая современная теология признает за каждым человеком право добираться в ад своим собственным путем.

Я слушал, и мне в сердце вползала печаль, явно с оттенком жалости к себе — той самой, которую я заклеймил сегодня в речи, обращенной к Холлиеру. Ну что ж, может быть, немного пожалеть себя не помешает, когда ни от кого больше жалости ожидать не приходится. И я отдался этому разнузданному чувству, которое, к моему облегчению, через несколько минут сменилось глубокой нежностью.

Vogue la galère, Мария. Да плывет твой корабль.